

Кац Элла Эльханоновна, Карнаух Наталья Леонидовна

Малый жанр в новейшей русской прозе. Опыт рецензирования. Пособие для 10-11 классов



Авторы-составители: Кац Элла Эльханоновна, Карнаух Наталья Леонидовна

Малый жанр в новейшей русской прозе. Опыт рецензирования. Пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений

Авт.-сост.: Э. Э. Кац, Н. Л. Карнаух. - М.: Мнемозина, 2006. - 237 с.: ил.

ISBN 5-346-00563-3

Авторы решают двуединую задачу: знакомят читателей с современным рассказом и формируют умение рецензировать литературное произведение. Книга содержит развернутую систему вопросов и заданий, которые помогут глубже понять прочитанное произведение и оценить его, краткие сведения об авторах и критиках, словарь-справочник терминов, перечень литературных премий. Пособие адресовано учителям и учащимся, может быть использовано для проведения уроков литературы в старших классах, факультативов и элективных (по выбору учащихся) курсов, поможет также в организации самостоятельного чтения старшеклассниками.

УДК 373.167.1:882.091+372.888.2.09.046.14

ББК 84(2Рос-Рус)я721.6+74.268.3

© «Мнемозина», 2006

© Художественное оформление. «Мнемозина», 2006

Все права защищены

Оглавление

| | |
|--|-----|
| Кац Элла Эльханоновна, Карнаух Наталья Леонидовна..... | 1 |
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 5 |
| ИЗ ИСТОРИИ РАССКАЗА | 8 |
| УЧИМСЯ РЕЦЕНЗИРОВАТЬ | 10 |
| Григорий Бакланов (1923) | 14 |
| Нездешний..... | 14 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 27 |
| Дополнительные вопросы..... | 30 |
| Валентин Распутин (1937) | 31 |
| Изба..... | 31 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 55 |
| Дополнительные вопросы..... | 55 |
| Владимир Маканин (1937)..... | 57 |
| Ключарев и Алимешкин | 57 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 77 |
| Дополнительные вопросы..... | 78 |
| Людмила Петрушевская (1938) | 79 |
| Дядя Гриша..... | 79 |
| Слова..... | 82 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 85 |
| Дополнительные вопросы..... | 86 |
| Людмила Улицкая (1943) | 87 |
| Цю-юрихь | 87 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 107 |
| Дополнительные вопросы..... | 107 |
| Евгений Попов (1946) | 108 |
| Тихоходная барка "Надежда" | 108 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 113 |
| Дополнительные вопросы..... | 113 |
| Татьяна Толстая (1951) | 114 |
| Соня | 114 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 120 |
| Дополнительные вопросы..... | 120 |
| Александр Хургин (1952) | 121 |

| | |
|---|-----|
| Виолончель Погорелова..... | 121 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 125 |
| Дополнительные вопросы..... | 128 |
| Юрий Буйда (1954) | 130 |
| Китаб Мансура | 130 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 136 |
| Дополнительные вопросы..... | 136 |
| Марина Москвина (1954)..... | 138 |
| «Куда бежишь, тропинка милая...»..... | 138 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 143 |
| Дополнительные вопросы..... | 143 |
| Марина Вишневецкая (1955) | 144 |
| Брысь, крокодил!..... | 144 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 171 |
| Дополнительные вопросы..... | 172 |
| Андрей Дмитриев (1956) | 173 |
| Пролетарий Елистратов | 173 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 192 |
| Дополнительные вопросы..... | 193 |
| Петр Алешковский (1957) | 193 |
| История о прекрасной Зинаиде, капитане Федотове и курсанте Котельникове | 194 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 201 |
| Дополнительные вопросы..... | 202 |
| Алексей Слаповский (1957)..... | 203 |
| Чернильница..... | 203 |
| Смысл жизни..... | 204 |
| Комната смеха. | 205 |
| Скрипка Страдивари | 206 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 209 |
| Дополнительные вопросы..... | 210 |
| Николай Кононов (1958)..... | 211 |
| Микеша..... | 211 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 215 |
| Сергей Солоух (1959) | 217 |

| | |
|---|-----|
| Поединок | 217 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 221 |
| Дополнительные вопросы..... | 222 |
| Ольга Сульчинская (1966) | 223 |
| Настоящее..... | 223 |
| Игра в метро | 225 |
| Нигде не сказано | 226 |
| Любовь..... | 228 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 229 |
| Виктор Пелевин (1962) | 231 |
| Жизнь и приключения сарая номер XXII..... | 231 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 238 |
| Дополнительные вопросы..... | 239 |
| Рамиль Халиков (1969) | 243 |
| Желтое платье | 243 |
| Рыжая Вера..... | 249 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 253 |
| Дополнительные вопросы..... | 254 |
| Андрей Геласимов (1966) | 255 |
| Нежный возраст | 256 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 264 |
| Роман Сенчин (1971) | 266 |
| В обратную сторону..... | 266 |
| Читаем, анализируем, рецензируем..... | 282 |
| Дополнительные вопросы..... | 283 |
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА..... | 285 |
| ЛИТЕРАТУРНЫЕ САЙТЫ..... | 286 |
| СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ | 286 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее пособие включены произведения малых жанров разных прозаиков, созданные и опубликованные в конце XX - начале XXI века.

Авторы стремились решить две задачи: во-первых, познакомить читателей с прозаическими произведениями современных писателей, во-вторых, сформировать умение рецензировать литературное произведение.

Как известно, в России в 80—90-е годы XX века произошли коренные социально-политические, экономические изменения.

Это время стали называть «перестройкой».

В те годы в литературе наверстывалось упущенное: печатались давно написанные, но неизвестные широкому кругу читателей книги, среди них произведения Б. Пастернака, М. Булгакова, Н. Клюева, А. Ахматовой, О. Мандельштама, философские статьи В. Соловьева, П. Флоренского, С. Булгакова, Н. Бердяева, А. Лосского и многих других. Были опубликованы также произведения русских писателей, которые в 60—70-е годы вышли на Западе (В. Ерофеева, Г. Владимова, Ф. Искандера и др.).

В 90-е годы литература уже не боялась никаких тем: ни социальных, ни политических, ни религиозных.

В пособии современная проза — многослойная, разностильная — представлена как авторами, продолжающими модернистские искания начала XX века, так и приверженцами классической традиции, «не схожими во всем, — по словам критика А. Немзера, — кроме твердой уверенности: словесность нужна мне, а значит, и кому-то еще... потому и писать можно по-разному — люди, слава Богу, не на одно лицо».

В данной книге собраны произведения, созданные писателями разных литературных направлений и стилей и разных возрастов.

Открывают пособие представители старшего поколения (прозаик-фронтовик [Г. Бакланов](#) и классик-деревенщик [В. Распутин](#)), затем следуют произведения писателей, получивших известность еще в доперестроечные годы ([В. Маканина](#), [Л. Петрушевской](#)) и авторов, писавших до перестройки, но ставших известными лишь в 80-90-е годы ([Т. Толстая](#), [Е. Попов](#)).

Вы познакомитесь с писателями, которых причисляют к так называемому «среднему» поколению ([П. Алешковским](#), [Н. Кононовым](#), [А. Слаповским](#), [С. Солоухом](#) и др.). В книгу вошли произведения как художников слова, отмеченных различными литературными премиями ([Ю. Буйды](#), [А. Хургина](#), [М. Москвиной](#), [А. Дмитриева](#), [Р. Сенчина](#), [М. Вишневецкой](#) и др.), так и начинающих свой творческий путь авторов ([О. Сувчинской](#), [А. Геласимова](#), [Р. Халикова](#)). Современные авторы живут не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в русской провинции и ближнем зарубежье. Ю. Буйда — из Калининграда, А. Слаповский — из Саратова, С. Солоух — из Кемерово, А. Геласимов — из Якутска, Р. Сенчин — из Тывы, А. Хургин — из Днепропетровска.

Авторы пособия надеются, что книга поможет наполнить словосочетания «новейшая проза» или «проза нового тысячелетия» конкретным содержанием и откроет читателю новый пласт современной культуры.

Обучение рецензированию — вторая задача пособия, поэтому в него вошли статья, рассказывающая о рецензии как о жанре, биографические и справочные сведения о писателях, литературоведах, образцы рецензий, созданные критиками, читателями и школьниками.

В книгу включены вопросы и задания, которые помогут написать рецензию на выбранное произведение современного прозаика.

Завершается пособие словарем-справочником, содержащим информацию о понятиях и терминах, которые могут вызвать затруднение, а также сведениями о литературных премиях.

Пособие может быть использовано как основа для проведения спецкурсов (элективных курсов) по обучению рецензированию на материале новейшей прозы в классах гуманитарной направленности, факультативов, при подготовке старшеклассников и абитуриентов к выпускным и вступительным экзаменам, а также поможет заинтересованному читателю составить свое представление о современной прозе малых жанров.

ИЗ ИСТОРИИ РАССКАЗА

Жанр рассказа по своему происхождению восходит к первичным формам народного творчества: мифу, легенде, притче, сказке, анекдоту.

Многие теоретики разграничивают понятия «рассказ» — небольшое эпическое произведение с ограниченным числом персонажей, объединенных единым событием — и «новелла» — краткое повествование с острой фабулой и неожиданной развязкой.

На протяжении столетий в литературе расширялись жанровые возможности рассказа. В зависимости от характера рассказчика произведения приобретали стилевые особенности — сословные, профессиональные, местные, фантастические, сатирические.

Реалистичность, поэтичность при внутренней остроте социального содержания — качества русского рассказа, идущие от «Записок охотника» И. Тургенева. С творчеством Н. Лескова в рассказ пришла тонкая языковая стилизация, лежащая в основе сказа — такого принципа повествования, в котором писатель стремится передать непосредственное впечатление. Для этого в монологах используется стиль какой-то исторической, этнографической среды. Реформу «малого» жанра осуществил и А. Чехов, усиливший психологизм прозы, внешнюю отстраненность автора.

В начале XX века рассказ был одним из господствующих жанров. Накануне Первой мировой войны в литературе появились разные направления (символизм, акмеизм, футуризм и др.), объединенные термином «модернизм» (от французского слова «moderne» — современный). Мир воспринимался последователями модернизма как хаос, где человек обречен на бессмысленные и безысходные страдания. Основной мотив модернистского ощущения — отчуждение — преодолевался в сфере искусства, открывая новые пути изображения мира и человека.

В русском рассказе одновременно с модернизмом (Л. Андреев, А. Белый, А. Ремизов, Ф. Сологуб) сохранялось и влияние реализма (И. Бунин, М. Горький, А. Куприн и др.)

Рассказы, создаваемые в это время, разнообразны в жанровом отношении: некоторые близки к короткой сюжетной повести, другие представляют собой ряд динамических сцен и живые очерки «с натуры», третьи — романтические аллегории.

После революции расцветают романтические и героические произведения. Метафорическая манера отличает первые рассказы И. Бабеля, Б. Лавренёва, Б. Пильняка, М. Шолохова. Героика в произведениях 20-х годов сочеталась с изображением суровой правды быта.

Новые черты приобретают также сатирические и юмористические рассказы (М. Зощенко, М. Булгаков, И. Ильф и Е. Петров, В. Катаев). Героические и сатирические рассказы объединила повышенная экспрессивность, резкость, контрастность характеристик героев.

В середине XX века отличительной особенностью рассказа становится интерес к осмыслению вечных тайн бытия, смысла человеческой жизни. В это время обновляется традиционная новелла, где решающую роль играла событийная структура и психологический драматизм (В. Шукшин, В. Распутин и др.).

В то же время характерным становится обращение к притче, мифу, житию (Ф. Абрамов, С. Воронин, Ю. Казаков, Ю. Нагибин, В. Маканин и др.). Житийный рассказ позволял авторам на сравнительно ограниченном пространстве малого жанра представлять сюжет-судьбу (В. Астафьев, Е. Носов, П. Нилин и др.).

Так складывался разнообразный спектр русских рассказов, создававшихся многими писателями: А. Грином, К. Паустовским, А. Платоновым, Ю. Олешей, С. Антоновым, В. Тендряковым, Г. Троепольским, В. Богомоловым, В. Беловым и другими.

В конце XX — начале XXI века рассказ чутко отражал динамику общественных переживаний, показывал ту роль, которую играла русская литература в прогнозировании будущего.

Рецензируя современные произведения, вы познакомитесь с разными типами малого жанра: встретите рассказ с фантастическим сюжетом, сказ, житийный рассказ, притчу и др. Выполняя дополнительные задания, сможете понять, как связаны творческие поиски современных художников слова с произведениями авторов предшествующих эпох.

УЧИМСЯ РЕЦЕНЗИРОВАТЬ

В данной статье речь пойдет о рецензировании литературных произведений.

Рецензия (от латинского «recensio* - разбор, оценка) — это анализ и оценка научного реферата, учебника, диссертации, художественного произведения, кинокартины, театрального спектакля, ученического сочинения и др.

Рецензия, прежде всего, особый вид информации о новинках, предназначенный для воздействия на читателя, создания у него определенного отношения к произведению.

Следовательно, рецензия — это оценочная информация. Рецензент стремится убедить читателя. Он аргументирует свою точку зрения в процессе анализа произведения.

Рецензирование новинок литературы предполагает возможность неодинаковой оценки одних и тех же произведений разными рецензентами. Каждый из них выражает свои взгляды и вкусы, соотносит прочитанное с собственными представлениями о жизни и литературе.

Композиция рецензии традиционна: вступление, основная часть, заключение.

Во вступлении могут быть сообщены сведения о вышедшем в свет произведении, месте и времени его публикации, названа тема, определены проблемы, поставленные писателем. Могут упоминаться другие его произведения, сообщаться некоторые сведения о биографии автора. Нередко дается краткая характеристика времени создания конкретного произведения, литературного направления, к которому принадлежит автор.

Рецензия не предполагает всестороннего анализа художественного произведения, поэтому в сжатой форме могут быть выделены те его аспекты, которые далее будут рассматриваться подробно. Также во вступлении могут быть определены нравственно-эстетические позиции рецензента.

Приведем примеры вступлений из современных рецензий, опубликованных в литературно-художественных журналах «Знамя», «Звезда», «Новый мир», «Октябрь» и др.

Фрагмент из рецензии Игоря Ефимова на книгу Александра Гениса «Довлатов и окрестности»:

«Писательский талант Гениса несомненен. Яркость стиля, непредсказуемость сюжетных ходов, парадоксальность взгляда на описываемый предмет — все это делает чтение его книг занятием увлекательным. Но Генис обладает еще одним качеством, в наше время почти забытым. Он писатель глубоко идейный. В течение вот уже почти двадцати лет он хранит верность главным идеям своей юности и проводит их во всех произведениях».

Из рецензии Никиты Елисеева на книгу А. Эткинда «Толкование путешествий»:

«Александр Эткинд — наследник 20-х годов, не идеологический, не идейный, но эстетический. Он знает толк в резком зачине, в хлестком замахе, после которого не без интереса принимаешься читать книгу».

Владимир Губайловский о романе С. Гандлевского <НРЗБ>:

«Авторитет Сергея Гандлевского настолько устойчив сегодня, что обязательное внимание привлекает к себе любой его опубликованный текст, будь то лирическое стихотворение или эссе о литературной новинке, что же говорить о романе...»

В романе Гандлевского отразилось и преломилось отношение целого поколения к литературе, жизнь нового поколения в литературе и в некотором смысле итог определенного ее этапа».

В основной части рецензии реализуются ее главные функции: критический анализ произведения, его оценка, убеждение читателя.

Рецензент истолковывает прочитанное произведение, определяет его нравственно-философское содержание, анализирует сюжет, компоненты формы. Причем затрагиваются лишь те аспекты, которые кажутся рецензенту наиболее существенными.

Например:

«Лексика стихов Николая Звягинцева взята из обыденной жизни, окружающей каждого из нас, летняя рожица, большие кошки, шоколадная фольга, кожура мандарина. Но автор тщательно подбирает себе окружение. На самом-то деле он довольно избирателен, и не всякая вещь будет удостоена вхождения в круг его внимания. Он не изучает существующее вокруг него, он вбирает свое окружение по звучанию, сходству, усиливая согласованность произношением. Он проговаривает те места, которые посещает. Его взгляд — взгляд пешехода или пассажира из окна пригородной электрички. Его стихи — непрерывное движение, путешествие вдоль...» (Т. Ермолина)

Особое место занимает в рецензии трансформированный пересказ, нужный для погружения читателя в мир художественного произведения. Это трудное искусство. Вялое, растянутое изложение сюжета в рецензиях убивает интерес читателя к статье и произведению, о котором она написана. Вот как воспроизводит Майя Кучерская сюжет романа Н. Кононова «Внутренности кузнечика»:

«Бабушку разбил паралич, дни ее сочтены. Повзрослевший герой вместе с мамой ухаживает за ней. Тур-то и выясняется, что прежде такую любимую, родную, ту самую бабушку, с которой связаны светлейшие страницы детских лет, теперь, когда она превратилась в «дышащий труп. любить почти невозможно, любить немисливо. Потому что любить приходится не совсем бабушку, не ее бессмертную душу, улыбку,

голос, а ее брэнное тело, поскольку душа не реагирует на внешние сигналы, бабушка уже не отвечает на обращенные к ней жесты, крики, слова. Все, что осталось от нее, - это именно тело, почти безжизненное дурно пахнущее, вызывающее отторжение, чужое. И потому, когда бабушка умрет и нужно будет отдать ей «последнее целование», герой не в состоянии будет этого сделать. Так и не сможет поцеловать ее в лоб».

Передавая сюжет произведения, можно цитировать или пересказывать отдельные эпизоды, сопровождая комментариями, раскрывающими позицию писателя и отношение к ней автора-рецензента.

В основной части обычно более основательно, чем во вступлении, определяется место произведения в творчестве конкретного писателя и в общем литературном процессе. Называются, например, культурные традиции, которым следует автор, фрагмент из рецензии Г. Балла на книгу Д. Давыдова «Опыты бессердечия» (изд. 2002 г.):

«...проза Бабеля, поселяющая эпитет в документ, почти в кинодокумент, где все видно и слышно, и зощеновский сказ, держащийся за нерв события, — предметы вдумчивого изучения нынешней литературы. Память об этих текстах живет в новых произведениях не идеологически, а, возможно, как-то акустически».

Из рецензии на роман О. Постникова «Страх»:

«Несложно распознать, из каких источников Олег Постников черпал свое вдохновение, обдумывая замысел «Страха» и отбирая нужные художественные ходы. Борхес упомянут у него только один раз и как бы между делом, но с подчеркнутой почтительностью к «великому аргентинцу».

Мимходом упомянут и Набоков...

«Времена, когда подобные парады цитат считались неизменным условием, прошли. Велик ли выигрыш в том, что мы опять покажем свою сопричастность Европе, опоздав на десяток лет?»

Как же может строиться аргументация сделанных рецензентом выводов?

Можно на протяжении всей статьи развивать тезис, определенный вначале.

Можно, прибегая к сравнению, сопоставлять разные произведения, явления общественной жизни.

Можно вести полемику с представителями иного точки зрения на явления, проблемы, о которых говорит рецензент.

Характер же аргументации во многом определен направленностью рецензии. Один автор рассматривает новое эстетическое направление и подтверждает его появление конкретного произведения. В центре внимания другого окажется нравственно-социальная проблема. В любом случае рассуждения критика должны соответствовать реальному художественному содержанию книги, иначе его публицистический «запал» повиснет в воздухе.

Оценка, выражающая точку зрения рецензента на все произведение или какой-то его аспект, может быть как рациональной, так и эмоциональной. Так как критик хочет выразить свою точку зрения и в то же время заинтересовать читателя, эти виды оценки обычно сочетаются.

В рецензии возможно использование образных выражений, но они должны быть понятны большинству читателей:

«По-моему, главное достоинство книги прозы Даниила Давыдова в ее хорошо продуманной импульсивности. Описание не успевает за событием и так сделано специально. Персонаж отворачивается, жизнь перепрыгивает через ступеньку. Она перебегает из текста в текст и возвращается обратно». (Г. Балл об «Опытах бессердечия» Д. Давыдова, 2002 г.)

Привлекая внимание читателя, убеждая его, рецензент может прямо обратиться к нему «читатель», «любитель», «знаток», «ценитель», «поклонник», сопровождая эти слова эпитетами: «вдумчивый», «внимательный», «неравнодушный».

В заключении формулируется вывод, делается обобщение, подтверждается главная мысль. В нем может быть указан круг читателей, для которых данное произведение представляет интерес.

«Иными словами, эта проза нравственна — и, по-моему, это главное и основное ее достоинство. Эта проза нравственна, но она еще не родилась. Есть тема, есть сострадание, есть боль — нет языка, нет подходящей формы, в которую можно отлить это вполне состоявшееся содержание. Перед нами зародыш с признаками будущего гения, кузнечик, пока что раздавленный косноязычием и грудой лишних слов. Проснется он или дело снова закончится похоронами — покажет время». (М. Кучерская о романе Н. Кононова «Внутренности кузнечика».)

Уважаемые читатели!

Мы хотим помочь вам научиться рецензированию на примере рассказов, помещенных в этой книге, предложив вопросы и задания, которые позволят проанализировать произведение и выработать собственную точку зрения на него. Этой задаче посвящен основной раздел хрестоматии.

Для удобства работы в нашем издании, после текста произведений, даются следующие подразделы:

— *основное задание («Читаем, анализируем, рецензируем»);*

— *дополнительное задание («Дополнительные вопросы»).*

Григорий Бакланов (1923)

Бакланов Григорий Яковлевич родился в Воронеже в семье интеллигентов, рано потерял родителей, его и старшего брата (погиб в 1941 г.) вырастили родственники. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, служил рядовым. После окончания артиллерийского училища (ускоренный выпуск) командовал взводом. Воевал в Украине, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, был тяжело ранен. После Великой Отечественной войны учился в Литературном институте имени А. М. Горького, писал очерки, рассказы, сценарии для кино, работал для театра, много ездил по стране. Повести «Южнее главного удара» (1957), «Пядь земли» (1959), «Мертвые сраму не имут» (1961), «Навеки — девятнадцатилетние» (1979) и многие другие посвящены военной теме. Произведения последних лет — «Меньший среди братьев» (1981), «Свой человек» (1990). Г. Я. Бакланов — автор эссе, воспоминаний о писателях А. Твардовском, С. Орлове, Ю. Трифонове.

С 1986 по 1994 год Г. Я. Бакланов возглавлял журнал «Знамя», многое сделал для его развития.

Г. Я. Бакланов — лауреат Государственной премии (1982), и премии «Венец» Союза писателей Москвы (20005).

Нездешний

Они играли в шахматы, лежа на полу. Старший подолгу задумывался, подперев голову, вздыхал, стряхивал пепел в блюдечко.

— Ну чего ты? Ходи! — торопил младший. Он уже расставил ловушку, просчитал на три хода вперед.

Брат посмотрел на него, будто не сразу узнав, будто просыпаясь. Он лежал на животе, тапки с ног скинул.

— А чей ход?

— Да твой же, твой! Ты, правда, какой-то нездешний вернулся. Ты играешь или не играешь?

— Играю...

Женщина в черном платье сидела на земле, изогнувшись тонким телом. Поднятые вверх руки держала на затылке. Ноги босые. Про нее было известно: снайпер. И вроде бы не чеченка, украинка. Расспросить ее не подпускали, оператор снимал издали: ее и солдат, обступивших полукругом, выражение их лиц. Вместе с ранеными ее отправили вертолетом в Моздок. Рассказывали, будто в воздухе раненые выпихнули ее за борт. А он видел и видел вновь, как в окружении солдат она сидит на земле с поднятыми за голову руками.

— Ну, ходи, — ныл Димка.

Желтые от табака пальцы вытянули коня из-за строя пешек, подержали на весу, поставили неуверенно. Димка вскочил на ноги, запрыгал, захлопал в ладоши.

— Кажется, я тебе тут что-то прозевал. Ладью?

— Прозева-ал... Не прозевал! Ты вон сколько думал.

— Ладно, сдаюсь.

— Нет, доиграем. Бери уж, так и быть, ладью обратно. Можешь переходить.

Старший брат поднялся с пола, потянулся до хруста в суставах, почесал спину о косяк двери.

— Там в ванной щетка есть такая с длинной ручкой. Жесткая. Почеши мне спину.

И лег лицом вниз на диван, задрал рубашку до плеч. Младший работал щеткой.

— У тебя уже вся спина красная.

— Еще разок. И бока. И поясницу.

Потом пригреб младшего брата к себе, и они лежали рядом на диване.

— Ты в каком теперь классе? В шестом, в седьмом?

— В седьмом. Ты что, забыл?

— Забыл.

А вот родной запах брата не забыл. Хорошо было вдыхать его.

— Помнишь, мы с тобой рыжую собачку подобрали? Морда, как у лисички. Голодная была. А пожила у нас, чесаться стала. Мы еще к ветеринару возили. Это, говорит, диатез у нее пошел. От хорошей пищи. Вот и у меня вроде того. Искупаюсь, все тело чешется. Какие вы теперь прически носите!..

Он взъерошил брату волосы. Тот вывернулся из-под руки:

— Давай доиграем!

— Успеем.

— Да-а...Сейчас эти приедут. Тебе охота ехать?

— Не-е.

— А чего едешь?

Старший не ответил. Лежал, закрыв глаза. Вот если б Димка не возился, полежал тихо, он подремал бы рядом с ним. Тепло его чувствовать, слышать его дыхание. Там он засыпал мгновенно, хоть сидя, хоть стоя: пять минут, да — твои. А дома тихо, хорошо, а он среди

ночи встает курить. Когда смотришь в темноте на уголек сигареты, опять все перед глазами. И то, чего видеть не хочется. И мысли всякие.

Отец у них — человек твердых взглядов, знает, что есть что, и знает неколебимо. Ему рассказывать — себе дороже: послушает, послушает с улыбкой превосходства и тебе же начнет объяснять, как все это понимать надо. Домашний политрук. А мать жаль. Она давно уже привыкла не сама думать, говорит его словами, не то, что сердце ей говорит. Она и назвать его не смогла, как хотела, из роддома написала отцу: “Смотри, какое хорошее имя Мишенька. Давай нашего сыночка так назовем...”. Но отца звали Пал Палыч. И деда звали Пал Палыч. И сын должен быть Пал Палыч. Недавно брал интервью у командующего, у генерал-полковника. Тот видит его впервые и вдруг: “Это ты, что ли, Пал Палыч?”

А Димка, скосив глаза на шахматную доску на полу, мысленно доигрывал партию за него и за себя. И раздался звонок в дверь.

— Ну вот, говорил, не успеем доиграть.

— А ты сохрани на доске, вернусь — доиграем.

Шлепая тапочками по полу, Паша пошел открывать дверь. Открыл и предстал во всем домашнем: в джинсах старых, протертых, в рубашке линялой навыпуск.

— Нет, глядите на него — в тапочках! Там уже столы накрыты, а он как бы в тапочках...

Все пятеро они, теснясь, вступили в крохотную переднюю, обдав духами и морозным воздухом: Олег с женой, с Галкой, она — в норковой шубе до пят; Генка с очередной подругой, она — в норковой шубейке. А еще одна — без шапки, вся навороченная, в распахнутой телячьей шубе: рыжая шкура белыми пятнами. Точно такого теленка, бело-рыжего, убило там при бомбежке, лежал, вытянув морду, из ноздрей натекла кровь, рога только-только обозначились. Они варили потом в ведре его мясо.

— Слушай, что там у тебя делается перед домом? Не припарковаться, топали черт-те откуда.

Девушка в телячьей шубе тем временем подала влажную теплую ладонь:

— Мила.

Резкий запах ее духов он чувствовал на своей ладони, когда спешно, под руководством Олега собирал сумку в дорогу.

— У тебя что, желтого галстука нет? Как же быть? Там купим? Впрочем... — Олег на миг озадачился. — Бабы в длинных вечерних платьях, мы с Генкой — в строгих, как бы черных костюмах... Нас ждут, ты ж понимаешь, в ярких пиджаках, а мы удивим: в строгих черных костюмах. А ты — в джинсах и свитере. Гениально! Ты оттуда, ты еще весь там.

А из комнаты, где они играли в шахматы, — голос Милы, детский, но с хрипотцой:

— Мальчик, ты в каком классе?

— Ни в каком.

— Ты не учишься? Что же ты делаешь?

— Газетами торгую. У светофора. Миллионером буду.

— Ах, обманщик! Ах, шалунишка!

— Руку! — рявкнул Димка.

Молодец. Потянулась, наверное, потрепать его по волосам.

— Учти, девка отвязанная, — Олег снизил голос. — Завалимся туда, оттянемся по полной программе.

— А у Генки опять новая? — спросил Паша. — Скажи хоть, как зовут?

— Зовут? Зовут, зовут, зовут... Дина!

— Дина была, когда меня еще осенью отправляли.

— Да? Ну, значит — Зина, — Олег хохотнул. — А я ее по старой памяти Диной зову. Откликается.

Вот чего Паша не мог понять: Генка — урод, цирковой клоун таким себя не нарисует. И ток-шоу его — для дебилов. Но — успех, девки западают на него. Вчера на лотке у метро видел в глянцево-м журнале: горнолыжники. Среди них Генка с подружкой, с этой самой: Диной? Зиной? Написано было: с подружкой. Успел уже свозить ее в Австрийские Альпы. Горы, солнце, небо, снег слепящий. Яркие на снегу костюмы, очки в пол-лица. Он было хотел купить этот журнал, и продавец заметил: “Самый свежий номер. Только что получили”. Но сопоставил, посмотрел, когда подписан в печать. Примерно в это время наши десантники попали в засаду в горах: туман был сильный. Они лежали мертвые на снегу, а единственный уцелевший, раненый, взятый в плен, ковылял среди трупов и что-то говорил. С чеченцами был французский оператор, он подробно снял все.

— Ну, понеслись! — Олег подхватил его сумку.

В дверях, обернувшись, видел Димкин взгляд. Димка что-то ворчал. Он ворчал: “Какие крутые! Три минуты варились, уже — крутые!..”. Но Паша этого не слышал.

По шоссе мчались двумя машинами: впереди — Генка на новой “volvo”, цвет металлик, следом — они четверо: Олег с Галкой, а на заднем сидении Мила и он. Мила курила, пепел сигареты стряхивала в коробочку, свернутую из бумаги.

— О тебе легенды ходят, — Галка обернулась к ним меж двух кресел, лицо загорелое зимой. Вот правда: не родись красивой, а родись счастливой. Олега вся страна знает, рейтинг у его музыкальной программы стабильно высокий, и сам парень видный, морда симпатичная, девки по нему сохнут от Москвы до самых до окраин. Вот, думают, у кого жена красавица. А Галка... Нет, когда привыкнешь к ней — вполне ничего, глаза,

например. А уж умна, как бес, держит его в горсти: “Галочка, Галочка...”. А у Галочки нос смотрит в рот. Это в Болгарии, на Золотых песках, был он там однажды, все поражался: мужчины — красавцы, женщины — глядеть не на что. Откуда тогда такие красавцы берутся?

— Рассказывают, ты там в атаку всех повел за собой.

— С чем бы это интересно, Галочка, я бы в атаку ходил, например? Журналистам вообще оружие не полагается.

— Скромничает, скромничает, — бормотнул Олег, одновременно резко сигналив, не давая черной “волге” вклиниться между ними и Генкой, — скромность, Паша, самый первый шаг в неизвестность. Сам себя не похвалишь, как оплеванный сидишь.

Это поучение Паша слышал от него не раз.

— Мы, Галочка, при начальстве состоим. Начальство врет, и мы вам врем. Это две разные войны: для солдат и для тех, кто про войну рассказывает.

— Не приbedняйся. Мы еще устроим вечер воспоминаний, напряжем его. Правда, Мила, напряжем? — Олег в зеркало заднего вида подмигнул.

— Элементарно, — приопустив стекло, Мила выбросила окурочек сигареты, ветром смахнуло его.

На виражах валило их друг к другу, он чувствовал ее бедро, сильную ее ногу. И взгляд Галкин недоуменный, поощряющий ловил. Что-то надо было хотя бы сказать, но ему как наступили на язык. Она сама взяла вожжи в руки:

— Представляю, какой вы там испытали неуют.

Голос из души в душу. Дура ты, прости господи: неуют. Казалось, он уже весь пропах ее духами.

— Да нет, ничего. Вши только одолели.

Она сделала испуганные глаза. Но тут же и расхохоталась веселой шутке. Он не на нее, он на себя злился. А чего ехал? Он знал, чего и почему. Они все — на ты, все вроде бы — одна компашка. Но это — внешне, каждый знает свое место. Олег — один из... А таких, как он, набрать можно, свистни только. Но позвали как равного. Нечто загородное, пятизвездочное, туда раньше одних иностранцев возили. Польстило, себе-то уж врать не будет.

Мелькали, мелькали по сторонам шоссе избы старые, и сто, и двести лет назад стояли такие же. Только те были под соломой, эти — под шифером. А среди них и в глубине — дворцы новые, краснокирпичные. Башенки. Медные крыши... Вдруг бор сосновый распахнулся. Сосны попеременно с елями, снег нетронутый, ни птичьего, ни заячьего следа, шоссе летело навстречу, как стрела, над ним и неба не видно, сомкнулись вершины. Представить себе не мог, что есть, уцелели такие леса заповедные под Москвой.

Через два шлагбаума — Олег опускал стекло, называл свою фамилию, охранник шел в стеклянную будку сверяться, и шлагбаум подымался — въехали в мир иной. Домики бревенчатые, как игрушечные, все новенькие, дочиста размеченные дорожки, и еще ездит на ярких автокарах обслуга с лопатами, с метлами. Мужчины борцовского вида в штатском прогуливаются с рациями под незажженными фонарями.

Они оставили машины на площадке у главного входа среди им подобных иномарок, с сумками в руках, с чемоданами на колесиках шли по выброшенному со ступенек на снег зеленому, как трава весенняя, синтетическому ковру, стеклянные двери сами разъехались перед ними. Входили, утомленные славой, а от столиков бара, от стойки администратора как ветром поворачивало головы. И всего-то вошли, а на лицах людей — праздник. И рассказывать будут: видел, как вас...

В просторном холле — мрамор, дикий камень, темное дерево — играл квартет: три скрипки и виолончель. Спинами к незажженному камину пожилые музыканты в черном беззвучно водили смычками по струнам, взрывы хохота в баре заглушали тонкие голоса скрипок.

Перед лифтом Олег взглянул на часы:

— Так... До обеда — полчаса. Как раз дамы пописают...

— Олег!

— Галочка, это не я, это все Генка. Дамы, говорю, приведут себя в порядок, за тобой, Пал Палыч, зайдем.

Паша шел по ковровой дорожке среди деревянных панелей, вертел в руке пластиковый магнитный ключ от двери: черт его знает каким концом всовывать в замок. Но у его номера стояла каталка с горами белья, дверь открыта. Горничная вытирала пыль, сразу начала извиняться:

— Не успела прибраться. Отсюда только что выехали. Вы располагайтесь, я только постель перестелю.

Паша поставил сумку, повесил куртку:

— Я скоро уйду.

Дверь в ванную, в белое сияние, была распахнута. Сиял кафель, никель, мраморный стол с углубленным в нем умывальником и множеством расставленных флакончиков. Ждали белые халаты в целлофановых чехлах на стене, белые тапочки под ними. И все это повторялось в огромном зеркале. А сама ванна, как чаша фарфоровой белизны. Только на дне шершавые полосы, наверное, чтоб не поскользнуться спьяну. Он вымыл руки, полотенца такой белизны, что страшно прикасаться. Глянул на себя в круглое увеличивающее зеркало для бритья. Ну — рожа! Скулы обтянуло, шершавые какие-то стали.

Он закурил, прошел в номер, сел на диван к маленькому столику. Сбросив на пол простыни, горничная стелила свежее тончайшее белье на две широченные кровати,

натягивала без складочек, нагибалась, чтоб подоткнуть, а он смотрел на нее. Она чувствовала это.

— Вчера здесь банк справлял годовщину, — засмеялась. — Гуляли всю ночь. Вот так махнут рукавом, фужеры — на пол. Утром подхватились, а этого забыли разбудить. Матрасы у нас хорошие, спится.

И рукой чуть придавила матрас, руку подкинуло. В ситцевом платье-халатике голубыми и белыми полосами, вся отглаженная, у шеи белый воротничок. В голых по локоть полных ее руках подушки летали, как живые, она вдевала их в наволочки. И опять дотягивалась, нагибалась, застилая кровати атласным одеялом. И — мысль шальная сквозь дым сигареты: интересно, сколько они здесь берут? Сто, полтора ста долларов?

— А я вас видела, — сказала она, — по телевизору.

— Это — не меня. Меня всегда с кем-то путают. Похож. У каждого человека есть двойник. Вот и у меня вроде того.

Она заметила, что ему некуда стряхнуть пепел, принесла керамическую пепельницу:

— Вот пепельницы обязательно прихватывают с собой. На память. И ручки шариковые.

Она была не так молода, как показалось издали: лет под тридцать, а может — все тридцать пять.

— Да уж нет, не спугала, я вас сколько раз видела. Говорите в микрофон, а там, позади, страсть какая...

И голос жалостливый. Паша встал, вдавил сигарету в пепельницу. Он терпеть не мог, когда его жалеют.

Внизу, в ресторане — зимнее солнце сквозь стеклянные стены. Вровень с полом белый снег снаружи, молодые голубые ели на снегу, тени и солнце, а здесь — белые крахмальные скатерти, в белых кокошниках царевны-официантки. Одна стояла при входе за конторкой. Он назвал номер своей комнаты, она отметила карандашиком.

— А за тобой Мила пошла.

Вдоль шведского стола с закусками шла Галка с тарелкой в руке. Он тоже взял тарелку из стопки. Какая рыба всех сортов! И осетрина, и семга, и еще какая-то, похожая на змею. А ветчины, колбасы, салаты, фрукты... А хлеб какой! И булочки в плетеных корзинках, и черный, и серый, и тминный. И еще на доске, чтоб самому взять салфеткой и отрезать ножом-пилкой. Свежий, пахнувший, хрустящий. Нагулявшие аппетит молодые пары не спеша, чередой обходили стол, выбирали придиричиво. От всех веяло здоровьем, даже от седенького старичка и разрумянившейся на морозе старушки в спортивных брюках. А уже Олег издали махал рукой, звал. И как только Паша подошел, сел, Олег щелкнул пальцами над собой, подал знак, и через зал пошла официантка с рюмкой водки на крошечном подносе. И уж чего вовсе не мог ожидать Паша — остановилась перед ним:

— Это — для вас. От фирмы.

Паша встал неловко, у всех на виду. И Олег, и Галка, и Генка с Зиной, и подошедшая усаживающаяся Мила хлопали в ладоши, снизу вверх, как на свое создание глядели на него. Он выпил, руку к сердцу приложил. Он понял: им, вернувшимся оттуда, угощают сейчас. За другими столами ресторана тоже хлопали одобрительно, и Олег, всеми uznанный в лицо, победительно оглядывался, сверкал глазами-сливами, собирал аплодисменты.

Вечером в охотничьем домике жарко пылал огромный камин. Из тьмы и мелькания света — красного, синего, зеленого, желтого, — из грохота музыки, топота ног вываливались к столам потные, задыхающиеся.

— Слушай, что тебя напрягает? — Олег распустил галстук, покрутил мокрой шеей. Он был уже без пиджака, в белой прилипшей рубашке, дышал тяжело.

— Галка твоя здорово пляшет, — сказал Паша.

— Чо ты как бы напрягает, Пал Палыч? Кто тебе ежа пустил за воротник?

Подошла Мила, поставила перед ним тарелку: золотящаяся от жира нога жареного молочного поросенка.

— Ешь. Пьет только, а не ест.

Серебристое платье на ней в обтяжку, вся переливается, искрится на свету. Искрится бедра, плоский живот. Она еще и повела бедрами.

Кто-то уже утащил Олега. У стены из гладких бревен за сдвинутыми столами пели немцы. А может — не немцы. Положили друг другу руки на плечи, раскачивались в отсветах пламени из камина, а что поют, за грохотом музыки не разобрать.

— Ешь, — Мила кормила его с вилки. — Ешь, а то опьянеешь. Пошли плясать.

Он встал, налил водки в фужер. Хотел полный налить, Мила отняла бутылку:

— Что из тебя толку будет, трепетный?

Он выпил залпом.

— Пошли!

В тесноте, в толкотне плясал Паша отчаянно, ноги сами что-то выделявали. И руки, и плечи. Разноцветные прожектора полосовали во тьме по головам, выхватывая лица. И Мила переливалась в мелькающем свете, манила, манила к себе. Она была теперь в черном. Когда переделась? И мощные груди подскакивали в пляске. И бусы скакали на них.

Мила сидела за столом. Одна. Злая. И опять вся серебряная. А в черном кто был? Одно из дву-ух?

— Принеси мне пирожных. Там, в предбаннике, на столах. И — чаю!

Он только сейчас увидел близко: а глаза-то у нее — белые. Расширенный черный зрачок, черный ободок и — не карие, не серые, не голубые — сплошь белые. И белыми от ярости глазами глядела на него:

— Ну!

В предбаннике, в первом от входа рубленном из свежих бревен маленьком зале, сверкал огромный самовар. А на столах — подносы с пирожными. Вдоль них ходят, высматривают, выбирают. Кто-то позвал Пашу. Но он, держась рукой за перила, спускался вниз, в гардероб. Среди множества шуб никак не мог отыскать свою куртку. Вдруг уткнулся: рыжая с белыми пятнами телячья шкура распята на плечиках. И свою куртку рядом узнал.

На крыльце четверо мужиков в белых рубашках, в галстуках курили, остужаясь. Кто-то из них кинулся к нему подхватить, когда Пашины ноги разъехались на скользких ступенях. Но Паша выправился, устоял. В распахнутой куртке, концы шарфа отдувало ветром, шел твердо, прямо, фонари только чуть-чуть покачивались. На одном из поворотов лед блестел под электричеством. Лед выскользнул из-под ног, и увидел Паша небо над собой. Хотел было подняться, завозился в сугробе, но так хорошо было лежать, так дышалось просторно. Он лежал, дышал, трезвел. Лежал, пока не пробрало до дрожи.

Перед входом, вблизи стеклянных этих дверей, Паша почистился, сам на себе обтряхнул куртку. Тут только и обнаружил: а шапки-то на голове нет. А может, ее и не было? В шапке он ехал сюда или без шапки, вот в чем вопрос. Или она там, под фонарем, осталась? Черт с ней, с шапкой, искать не пошел.

Внутри, обдуваемый жилым теплом, пока шел холлами-коридорами, пока в номере шарил в темноте по стенам, искал выключатель и, так и не найдя, сел на диван, закурил, тут только и почувствовал, как холод с дрожью выходит из него. Вдруг дверь сама открылась, косяком лег свет из коридора, вспыхнуло электричество в обоих торшерах, в настенных бра.

— Ой!.. Напугали до смерти. Что ж в темноте сидите?

— А где он у вас тут, выключатель?

— Да нету выключателей. Как входите, сюда надо ключ вставить. Вот сюда, видите? Вошли, вставили, и свет зажегся. Ваш-то ключ где?

— В куртке. Вон куртка висит. В кармане там.

Она поискала. Свет на миг погас, вновь вспыхнул: вместо своего она вставила его пластиковый ключ. Засмеялась:

— Надо же... Это за границей придумали из экономии. А уходите, ключ вынули, и пожара без вас не будет. Я только постель расстелить на ночь. Думала, вас нет.

— Вода тут у вас имеется где-нибудь? — спросил Паша. — Или только из-под крана?

У него все горло зачерствело, все пересохло до нутра.

— А вот в баре.

Она открыла дверцу шкафа под телевизором, поставила на столик перед ним высокий стакан, хотела и бутылку пластиковую поставить, но глянула на него и, отвинтив пробку, сама налила в стакан шипящую, с газом, воду. Рука у нее была сдобная. Паша выпил, перевел дух, еще налил.

В золотистом свете торшеров она двигалась бесшумно. Сложила атласное покрывало, взбила подушки, отвернула белый уголок одеяла. Когда шла к дверям, он взял ее за руку, голую по локоть:

— Останься.

Она улыбнулась и от улыбки, от одной улыбки своей помолодела лет на десять:

— Вон вам конфетка на ночь положена. Шоколадная. На тумбочке лежит.

— Останься, — тупо повторил Паша.

— Спи.

— Придешь?

Не ответила. Он так и заснул при свете. Он спал на спине, не слышал, как она вошла, а она стояла и смотрела на него. И он почувствовал ее взгляд, вздрогнув, проснулся.

— Что ж ты, сам звал, а сам спишь?

— Ой, срам какой жуткий! Прости.

Он потянулся к ней.

— Свет погаси. Весь свет. Ладно, я сама.

И шепнула под одеялом:

— Мне долго нельзя. Меня могут хватиться.

Она гладила его лицо над собой, гладила его затылок, плечи, все сильнее прижимала к себе:

— Жалкий мой...

И целовала его глаза, чтоб не смотрел.

— Чего ж это я жалкий? — спросил Паша, еще не отдышавшись, но уже закуривая. Он понял ее слова по-своему, потому не лег рядом с ней, а сел на край кровати.

— А ты маму свою спроси, легко ей было отправлять тебя, такого молоденького? Я своего сына ни за что не отдам.

— Ин-те-рес-но!..

Но от души у него отлегло.

Снежный звездный свет светил им сквозь шторы, и он видел рядом с собой на подушке большое лицо не знакомой ему женщины.

— Интересно, как же это ты его не отдашь?

— Не отдам, и все.

— Тебя и спрашивать не станут. Заберут — и будь здоров, Иван Петров.

— А вот пусть что хотят со мной делают, а я не отдам.

— Чем же это он лучше всех остальных?

— Для меня — самый лучший. Я его одна всю жизнь растила, кто о нем вспомнил хоть раз, а подрос, да чтоб его забрали у меня...

— Сколько ему лет вообще?

— Двенадцать.

Паша свистнул:

— К тому времени, когда ему призываться, война сто раз кончится.

— Да вот что-то не кончается. Небось, когда ты родился, мать тоже надеялась... А тут из войны — в войну, из войны — в войну...

— Вообще-то ты права. Только что ты про эту войну знаешь? Если вам рассказать, что там на самом деле и как... — он потянулся закурить, пачка была пуста. — Когда-нибудь расскажу.

— Я тебе принесу сейчас. Там, в баре, сигареты есть.

Он видел, как она присела у тумбочки под слабо мерцавшим телевизором, видел в темноте белую ее спину.

— Ничего вы не знаете. Да и хотите ли знать? Он пришел туда человеком, а побыл, глянешь на него... Ладно!

И то ли ей, то ли себе самому сказал:

— На войне закон один: кто пожалел, тот и погиб.

В коридоре раздались голоса, в дверь застучали:

— Паша, ты здесь? Открой!

Она как сидела под телевизором, так и осталась сидеть, затаясь. Снаружи дергали ручку двери.

— Паша!

— У горничной должен быть ключ.

— Ты видела, куда он ушел?

— Видела... Ничего я не видела.

— Внизу, в рецепции взять можно.

Генка предложил:

— Я схожу вниз, вы здесь обождите.

— Пал Палыч, ты живой?

— Что там? Кто? — спросил Паша сонным голосом.

— Жив роднулечка. А ну открывай быстро!

— Сплю я, ребята.

— Но ты все же как бы пусти нас, — настаивал Олег. — Есть интересная информация.

— Сплю. Все. Утром встретимся в бассейне. Сплю.

Информация сказала обиженным голосом Милы:

— Да ну его. Пусть спит... Он вообще какой-то... трепетный очень.

Они еще постояли, посоветовались, подергали дверь. Ушли. Только тогда она перевела дух. Кинула ему пачку сигарет, быстро стала одеваться, шепнув:

— Не смотри!

Он щелкнул зажигалкой, затянулся пару раз глубоко. И — тоже шепотом:

— В джинсовой куртке, в шкафу — деньги в кармане. Сама возьми.

Одетая она подошла к нему:

— Зачем обижаешь? А то не приду больше.

И, наклонясь, мягкими губами нежно, будто мать на сон грядущий, поцеловала в щеку. И рукой стерла свой поцелуй. Свет из коридора на миг полоснул по стене, дверь закрылась бесшумно.

Рано утром, все еще спали, Паша спустился в ресторан. Уже стояла за тумбочкой-конторкой дежурная: белая кофточка, черный бантик-шнурок под горлом. Столы, накрытые белыми скатертями с расставленными на них приборами, были еще пусты. Набрав закусок на тарелку, Паша сел к столу, и сразу подошла белая царевна с кофейником в руке:

— Вам чай? Кофе? Можно заказать горячий омлет. С грибами. С беконом. С сыром.

— Кофе. И — покрепче.

Она налила в чашку, подвинула сливки, поставила кофейник. Ах, как хорошо пахло кофе. Он отхлебнул.

В ресторане в этот час был только он, да еще за одним столиком женщина в возрасте, как ему показалось по виду и обращению, не мать, а скорей всего — нянька, пока молодые господа спали, она кормила с ложечки младенца, тот, повязанный белым нагрудником, сидел в высоком стуле. Но уже вышла к арфе арфистка. В ресторане было прохладно и еще прохладней от вида синего снега за стеклянными стенами. Но арфистка в длинном платье была с голыми плечами, белые пальцы ее ласкали струны, будто плескалась тихо вода в фонтане.

Паша поел наспех, поднялся в номер, захватив сумку, подошел внизу к администратору расплатиться, сдал ключ. Она проверила по компьютеру:

— Все оплачено. За два дня. А вы уже уезжаете?

— Да, дела... Я там брал в баре сигареты вот эти, бутылку воды... Вроде бы больше ничего.

Он расплатился, с сумкой в руке вышел наружу. Поздно проснувшееся, встало за деревьями ледяное красное солнце, оно слепило на ветру до слез. И как раз когда он стоял в раздумье, как выбраться отсюда, подъехала черная машина. BMW. Оттуда вылез строгий господин в золотых очках и вся в мехах дама. Шофер нес за ними чемоданы.

У первого шлагбаума похаживали двое охранников, поигрывали полосатыми жезлами-дубинками в руках. Оба — в летних меховых куртках. Паша решил ждать за поворотом. Стоял, грел уши ладонью. И не ошибся, показалась машина, та самая, в ней — только шофер за рулем. Паша поднял руку.

Здесь, на юге, была уже весна. Но деревья стояли еще голые. И под ними в крошечном лесочке на палой листве сбились жители села с детишками, с пожитками, какие смогли унести и увезти, со скотиной, она мычала, голодная. Стояли и смотрели, как уничтожается их село. Били танки прямой наводкой из длинных стволов, устремлялись сверху вертолеты, от них отрывались огненные ракеты, и взлетали, взлетали на воздух дома. А они стояли и смотрели, все еще на что-то надеялись.

Это чеченское село взято было без боя: вышли к командованию старики в высоких шапках, пообещали, мол, сами выгонят боевиков, те уйдут мирно. И правда, ушли. Бои гремели в горах, а здесь жгли уже ботву на огородах, сгребали и жгли прошлогоднюю ботву, готовя землю под новый урожай, и горький дым стлался в сыром весеннем воздухе. В селе осталась только военная комендатура и милиционеры. Но в одну из ночей вошел в село полевой командир, известный еще с прошлой войны, с ним — триста боевиков. А кто говорил — двести, кто — четыреста. И вот уже не первый день шли бои.

Чеченец, бежавший отсюда, рассказывал, что захваченных милиционеров и солдат, совсем молодых ребят, резали, как скот. “Как скот резали!” — повторял он, а односельчане, стоявшие в лесу, смотрели на него косо. Чеченец был дерганый, какой-то вертлявый и — на одной ноге. Другая нога ремнями привязана к деревяшке, он в нее упирался коленом,

подогнув обрубок. Он говорил, что двоих солдат прятал у себя на чердаке, но Паша ему не верил. Вот интересно, где он эту ногу потерял? И — когда? И оператору сказал не снимать его, хотя это мог быть выигрышный сюжет.

А все, как всегда, — случай. Они вдвоем с оператором должны были ехать сюда на броне, но в последний момент их тормознули, в сущности, из-за пустяка. Не отозвали бы их, лежать бы им тоже в кювете. Он после видел этот БМП, опрокинутый взрывом, сгоревший. Вот к чему Паша привыкнуть не мог: только что был человек и — нету... Он еще поговорил с механиком-водителем перед дорогой. Хороший парень. Со шлемом в руке стоял он около своей грозной машины, щурясь от солнца, ветер шевелил волосы на его голове. Таким он и остался у них на пленке. Последний миг жизни.

Из всех времен года больше всего любил Паша раннюю весну. Лес еще голый, только-только освободился из-под снега. Бывало, Димку — в охапку, и вместе — за город.

— Ты чего такой сумрачный, Пал Палыч? — спросил оператор. — Дома побывал, радоваться должен, а ты вернулся как будто контуженный.

— Нет, — сказал Паша не сразу, звук голоса долго шел до него. — Нет. Это тебе показалось.

Но чувствовал он себя постаревшим на много лет.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Что значат слова «здесь», «здешний» в произведении Бакланова? Почему герой назван «нездешним»?
2. Для чего в первые эпизоды рассказа введен образ ребенка?
3. Как связывает автор внутреннюю жизнь героя с внешним миром?
4. Какие стороны жизни современного общества оказываются в центре внимания писателя? Каким образом выражает он свое отношение к ним?
5. В чем особенность композиции рассказа Бакланова? Помогает ли она понять идею рассказа?
6. Вспомните произведения русских писателей, в которых говорится о войне на Кавказе. Что думают писатели XIX века и Г. Бакланов, писатель XX века, о влиянии этой войны на людей, втянутых в нее?
7. Напишите вступление к рецензии на рассказ «Нездешний». В нем может быть дана характеристика времени, в котором создавалось произведение, или определены проблемы, рожденные в обществе войной на Кавказе; могут быть сообщены сведения о жизни автора, написавшего с двух войн. Те, кто читал другие произведения Бакланова, вероятно расскажут о темах и проблемах, интересующих писателя.

8. Прочитайте рецензию критика Д. Рудановской на рассказ Нездешний». Выскажите свое отношение к ней.

Главный герой рассказа Бакланова «Нездешний» — журналист, вернувшийся в отпуск из горячих точек домой. На протяжении всего повествования описывается, как Паша вновь встречается со старыми друзьями, родственниками и новыми глазами смотрит на мир. В конце рассказа он снова возвращается в Чечню «будто контуженный», как говорит ему коллега-оператор.

Когда только начинаешь читать рассказ, не сразу понятно, о чем идет речь. Два брата играют на полу в шахматы, и младший замечает: Ты, правда, какой-то нездешний вернулся». Нам, читателя становится окончательно ясно, кто же такой Паша, только где то в середине рассказа.

Произведение Бакланова имеет несколько планов. Первый - это московская жизнь, где вновь очутился Паша; второй Чечня; третий — мир главного героя, который со стороны наблюдает за всем происходящим, сначала глазами человека, побывавшего в горячих точках, потом наоборот, с точки зрения вернувшегося из Москвы журналиста.

Рассказ построен очень необычно. Сначала мы попадаем в какую-то квартиру, где идет своя жизнь, в которую мы как бы неожиданно вторгаемся. Потом постепенно начинает проступать тот самый второй план: читатель понимает, что Паша вернулся из Чечни, где все было совсем по-другому.

Бакланов рисует необычную картинку, на которой изображена женщина в черном платье, сидящая на земле, «изогнувшись тонким телом. Поднятые вверх руки держала на затылке. Ноги босые. Про нее было известно: снайпер. И вроде бы не чеченка, украинка». Подобные вставки будут присутствовать далее во всем рассказе. Например, когда Паша подходит к журнальному лотку и смотрит дату на одном из журналов, в его голове проносится следующая мысль. «Примерно в это время наши десантники попали в засаду в горах: туман был сильный. Они лежали мертвые на снегу».

По такому принципу построен весь рассказ: описываются сценки из московской жизни, и иногда, следуя порой за самыми неожиданными ассоциациями, воспоминания уносят Пашу в Чечню.

Хотя рассказ ведется от третьего лица, большая часть описаний дается глазами главного героя. Когда Паша встречает своих друзей, то он видит следующую картину: «Олег с женой, с Галкой, она в норковой шубе до пят; Генка с очередной подругой, она — в норковой шубейке. А еще одна — без шапки, вся навороченная, в распахнутой телячьей шубе: рыжая шкура белыми пятнами. Точно такого теленка, бело-рыжего, убило там при бомбежке...» Паша смотрит на них равнодушным изучающим взглядом, и у него в голове сразу же вырисовываются чеченские военные сцены.

Конечно, друзья сразу замечают: Конечно, друзья сразу замечают: «Ты оттуда, ты еще весь там». Кажется, будто Паша не узнает и себя: «Ну — рожка! Скулы обтянуло, шершавые какие-то стали». И опять говорит эти слова не герой рассказа, а автор.

Благодаря введению несобственно-прямой речи описания обретают особый смысл: все окружающие люди и предметы воспринимаются нами, читателями, как сквозь какую пелену, отстраненно. Автор, Паша и мы за ним следом будто бы по-новому изучаем мир, стараемся узнать в знакомых людях старых друзей, в родственниках — близкие понимающие души. Но сделать зло не получается: все стало чужим и далеким, и с ужасом во время застолья Паша понимает: «Им, вернувшимся оттуда, угощают сейчас».

Слово «оттуда» в данном случае имеет двойной смысл. Бакланов неслучайно не говорит, например, «вернувшийся из Чечни». В рассказе постоянно встречаются такие слова, как «нездешний», «оттуда», «там». Этот словесный ряд вырисовывает какой-то мистический образ неведомого места, вряд ли на самом деле существующего. Понятно, что Чечня — реальное место, которое мы каждый день видим по телевизору, но так, по крайней мере, кажется, когда читаешь Бакланова.

В рассказе даже появляется такое понятие, как «двойник», тоже невольно ассоциирующееся в голове с чем-то мистическим. Паша говорит горничной в гостинице: «Меня всегда с кем-то путают. Похож. У каждого человека есть свой двойник». Он не хочет отождествлять диктора с экрана телевизора с собой.

Паша — чужой, будто пришелец с какой-то неведомой планеты. Так воспринимают его и окружающие. Даже одежду он надевает не соответствующую обстановке: джинсы и свитер, когда все остальные — в костюмах. Для него обыкновенные человеческие условия оказываются будто бы неприемлемыми. Паша и ванну принять не может потому что у него начинает чесаться все тело. «Он вообще какой-то... трепетный очень», — говорит про него одна из героинь.

Читая рассказ, невольно задаешь себе вопрос: если нездешний, то какой же тогда? Откуда он прилетел?

В конце произведения Бакланов пишет: «Здесь, на юге, была уже весна». Из этих слов можно было бы сделать следующий вывод: если «нездешний», то есть «немосковский», то значит «здешний» — «чеченский». Но и так тоже сказать нельзя: Паша и на этот мир также смотрит отстраненно, глазами наблюдателя. Он, действительно, за все это время стал каким-то нездешним, то есть неземным. Он слишком быстро постарел, он наблюдает за всем сверху вниз, даже человеческий голос слышит с каким-то запозданием: «звук голоса долго шел до него».

Пашу не ранило, когда он был в Чечне, но контузило его, когда он гостил в Москве. Не случайно образ телячьей шубы появляется в рассказе дважды — в самом начале и в середине, когда он видит рыжую с белыми пятнами телячью шкуру, «распятую на плечиках». Паша видит в этом образе не одежду, а убитое животное, но, как ни странно, смысл жертвенности эта шкура обрела не в Чечне, а в России. Поняв это, Паша уже не мог оставаться прежним молодым человеком, он понял больше, чем все окружающие его люди, он стал нездешним.

Рассказ может быть адресован читателям разных возрастов.

Дополнительные вопросы

Прочитайте произведения других современных авторов, обращающихся к военной теме: рассказы В. Дёгтева «7,62» (в сб. «Крит». М., 2003), О. Ермакова «Колокольня» (в сб. «Зимой в Афганистане». М., 2001), «полевые» зарисовки о чеченской войне А. Бабченко «Десять серий о войне» («Октябрь», 2001, № 12), трилогию Н. Прокудина «Постарайся вернуться живым» (СПб). Удалось ли писателям, на ваш взгляд, передать, что чувствует человек, находящийся среди смерти и потерь? Позиция кого из авторов близка и понятна вам? Обоснуйте свой вывод.

Валентин Распутин (1937)

Распутин Валентин Григорьевич родился в поселке Усть-Уда Иркутской области, после окончания школы поступил на историко-филологический факультет Иркутского университета, окончив который, начал работать в местной газете «Советская молодежь», был специальным корреспондентом на крупнейших стройках 60-х годов XX века.

Тогда же появились первые произведения, в 1966 году - сборник рассказов и очерков. Повести «Деньги для Марии» (1967) и «Последний срок» (1970) принесли славу молодому прозаику.

Автобиографическому воссозданию прошлого посвящены рассказы 0-х годов «Вниз и вверх по течению: Очерк одной поездки» (1972) и «Уроки французского» (1973), повесть «Живи и помни» (1974).

Мировое признание получили «Прощание с Матёрой» (1976) и «Пожар» (1986).

Рассказы 90-х годов («В ту же землю», «Нежданно-негаданно» и др.), повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» воспринимаются многими критиками как переход от так называемой «деревенской прозы» к изломам и проблемам современного городского человека.

Писатель считает своими учителями в литературе Ф. М. Достоевского и И. А. Бунина.

В. Г. Распутин — лауреат Государственной премии СССР (1977) премии имени А. Солженицына (2000), премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за 2003 год.

Сайт писателя: <http://vgrasputin.ru>

Изба

Изба была небольшой, старой, почерневшей и потрескавшейся по основным бревнам невеликого охвата, осевшей на левый затененный угол, но оставалось что-то в ее поставе и стати такое, что не позволяло ее назвать избенкой. Без хозяйского догляда жилье стареет быстро — постарела до дряхлости и эта изба с двумя маленькими окнами на восток и двумя на южную сторону, стоящая на пересечении большой улицы и переулка, ведущего к воде, прорытого извилисто канавой и заставленного вдоль заборов поленницами. Постарела и осиротела, ветер дергал отставшие на крыше тесины, наигрывал по углам тоскливыми голосами, жалко скрипела легкая и щелястая дверь в сенцы, которую некому и не для чего было запирать, оконные стекла забило пылью, нежить выглядывала отовсюду — и все же каким-то макармом из последних сил изба держала достоинство и стояла высоконоько и подобранно, не дала выхлестать стекла, выломать палисадник с рябиной и черемухой, просторная ограда не зарастала крапивой, все так же, как при хозяйке, лепили ласточки гнезда по застрехам и напевали-наговаривали со сладкими протяжными припевками жизнь под заходящим над водой солнцем.

Считалось, что за избой доглядывает сама хозяйка, старуха Агафья, что это она и не позволила никому надолго поселиться в своей хоромине. Мнение это, не без оснований державшееся в деревне уже много лет, явившееся чуть ли не сразу же после смерти Агафьи, отпугивало ребятишек, и они в Агафьином дворе не табунились. Не табунились раньше, а теперь и некому табуниться, деревня перестала рожать. Заходили сюда, в большую и взлобисто приподнятую ограду, откуда виден был весь скат деревни к воде и все широкое заводье, по теплу старухи, усаживались на низкую и неохватную, вросшую в землю чурку и сразу оказывались в другом мире. Ни гука, ни стука сюда, за невидимую стену, не пробивалось, запустение приятно грело душу, навевало покой и окунало в сладкую и далеко уводящую задумчивость, в которой неслышно и согласно беседуют одни только души. «Ходила попечалиться к старухе Агафье», — не скрывали друг перед другом своего гостеванья в заброшенном дворе живые старухи. Ко всем остальным из отстрадававшегося на земле деревенского народа следовало идти на кладбище, которое и было недалеко, сразу за старым аэродромом, поросшим теперь травинной, а к старухе Агафье в те же ворота, что и при жизни. Почему так сложилось, и сказать нельзя.

Агафья до затопления нагретого людьми ангарского берега жила в деревне Криволицкой, километрах в трех от этого поселка, поднятого на елань, куда, кроме Криволицкой, сгрузили еще пять береговых деревушек. Сгрузили и образовали леспромхоз. К тому времени Агафье было уже за пятьдесят. В Криволицкой, селенье небольшом, стоящем на правом берегу по песочку чисто и аккуратно, открывающемся с той или другой стороны по Ангаре для взгляда сразу, веселым сбегом, за что и любили Криволицкую, здесь Агафьин род Вологжиных обосновался с самого начала и прожил два с половиной столетия, пустив корень на полдеревни. Агафья в замужестве пробыла всего полтора года — за криволицким же парнем Ефимом Мигуновым, прозванным за бесстрашие Чапаям, грубоватым, хорохористым, во все встречающим, с лихостью выкатывающим на всякое приключение свои круглые зеленые глаза на белобрысом лице. Его взяли в армию, там он задолго до войны и пропал смертью, может быть, и храброй, но бестолковой. От него осталась дочь, названная Ольгой, девочка затаенная, самостоятельная, красивая, в пятнадцать лет сразу после войны она уехала в город в няньки, в семнадцать устроилась на конфетную фабрику, перешла квартировать в общежитие и попала под безжалостные жернова городской перемолки. Сладкая ее жизнь возле конфет, которой так завидовали криволицкие девчонки, скоро стала горькой: прижила без замужества девчонку, закружилась в бешеном вихре, пока не сошла красота, и спилась... еще одно доказательство того, что у одного стебля корни дважды не отрастают. В то время это было редкостью, а для деревни и вовсе невиданное дело — бабье пьянство. От боли и работы Агафья рано потускнела и состарилась, похоронила вскоре друг за другом отца с матерью, одного брата убила война, второй уехал вслед за женой на Украину, сестра тоже вышла замуж за дальнего мужика и уехала — к сорока годам осталась Агафья в родительском доме одинешенька.

Была она высокая, жилистая, с узким лицом и большими пытливыми глазами. Ходила в темном, по летам не снимала с ног самошитые кожаные чирки, по зимам катанки. Ни зимой, ни летом не вылезала из телогрейки, летом, закутываясь от мошкар, от которой не было житья, пока не вывели ее, чтоб не кусала наезжих строителей Братской ГЭС. Всегда торопясь, везде поспевая, научилась быстро ходить, прибежкой. Говорила с

хрипотцой — не вылечила вовремя простуду и голос закрипел; что потом только ни делала, какие отвары ни пила, чтоб вернуть ему гладкость — ничего не помогло. Рано она плюнула на женщину в себе, рано сошли с нее чувственные томления, не любила слушать бабьи разговоры об изменах, раз и навсегда высушила слезы и не умела утешать, на чужие слезы только вздыхала с плохо скрытой укоризной. Умела она справлять любую мужскую работу — и сети вязала, и морды для заездков плела, беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала, и ставила в сенокосы зароды, и стайку могла для коровы срубить. Только что не охотилась, к охоте, даже самой мелкой, ее душа не лежала. Но ружье, оставшееся от отца, в доме было. Невесть с каких времен держался в Криволуцкой обычай устраивать на Ангаре гонки: на шитиках от Нижнего острова заталкивались наперегонки на шестах против течения три версты до Верхнего острова и дважды Агафья приходила первой. А ведь это не Волга, это Ангара: вода шла с гудом, взбивая нутряную волну, течение само себя перегоняло. На такой воде всех мужиков обойти... если бы еще 250 лет простояла Криволуцкая, она бы это не забыла.

Но дни Криволуцкой были сочтены. Только-только после войны встали на ноги, только выправились с одежкой и обушкой, досыта принялись стряпать хлеба, а самое главное — только избавились от мошки и коровы вдвое-втрое прибавили молока, а люди стянули с голов сетки из конского волоса и с надеждой заоглядывались вокруг, что бы такое еще сыскать для справно житья, — вдруг перехват всего прежнего порядка по Ангаре, вдруг кочуй! И все деревеньки с правого и левого берегов, стоявшие общим сельсоветом, сваливали перед затоплением в одну кучу.

Агафья хворала, когда пришло время переезжать. Болезнь у нее была одна — надсада, от других она выкрепилась в кремь. В те же годы накануне затопления впервые за всю ангарскую историю стали проводиться медосмотры, на специальном пароходе с красным крестом сплавлялись от деревни к деревне в низовья врачи и каждого-то поселанина в обязательном порядке выстукивали и высматривали. Агафью и выявили как больную. И все лето, как муха о стекло, билась она о больничные стены в районе, запуганная докторами, которые продолжали настаивать на лечении, страшая последствиями, но не меньше того снедаемая бездельем. Криволуцкая ставилась на новом месте своей улицей, но вставали дома в другом порядке, и этот порядок все теснил и теснил ее запаздывающую избу неизвестно куда. Агафья еще больше похудела, на лице не осталось ничего, кроме пронзительных глаз, руки повисли как плети. Вот это была надсада так надсада! Иногда она вскидывалась, пробовала бунтовать, но ее уже знали, знали, что на нее можно прикрикнуть, и тогда она, лишенная здесь всякой опоры, униженно распластанная на кровати, как на пыточном ложе, опять смирялась и умолкала. Здесь, в больнице, приснился Агафье сон, поразивший ее на всю оставшуюся жизнь: будто хоронят ее в ее же избе, которую стоймя тянут к кладбищу на тракторных санях, и мужики роют под избу огромную ямину, ругаясь от затянувшейся работы, гора белой глины завалила все соседние могилы и с шуршанием; что-то выговаривающим, на что-то жалующимся, обваливается обратно. Наконец избу на тросах устанавливают в яму. Агафья все видит, во всем участвует, только не может вмешаться, как и положено покойнице, в происходящее. Избу устанавливают, и тогда выясняется, что земли выбрано мало, что крыша от конька до половины ската будет торчать. Мужики в голос принимают уверять, что это и хорошо, что будет торчать, что это выйдет памятником ее

жизни, и Агафья будто соглашается с ними: труба и должна находиться под небом, по ней потянет дым. Там тоже согреться захочется.

На грубых тракторных санях, точно таких, какие снились, представлявших из себя настил на двух волочимых по земле бревнах, спереди затесанных, чтобы не зарывались в дорогу, и везла она разобранную избу на новопоселенье уже в конце августа, едва воротясь из больницы и еще не набегав залежавшиеся ноги. Но и когда было набегивать? На свою улицу она уже опоздала и за дурной знак приняла, что приходилось ей отпочковываться от криволуцких. День после сердитого холодного утренника был ярким и звонким, дорога шла меж лоскутных полей, засеянных ячменем и горохом, и развозюкана была такими же поездами широко и безжалостно — хоть пять саней выстраивай в ряд. Да и то сказать — в последний раз приносили урожай эти поля. Каждую выбоинку, каждый бугорок на них Агафья знала лучше, чем родинки и вмятинки на своем теле, — вручную пахала, вручную жала рожь и ячмень и крючила горох, вручную, обдирая и обжигая руки, тянула осот. Нет, родное скудным не бывает. И вот последнее, все последнее, и стыдно смотреть на золотистые переливы ячменя с пузатыми тугими колосьями, точно от него, от хлебного дела убегала деревня, сманенная заработками на лесе.

Есть события, которые человек не в состоянии вместить в себя осознанно, в которые он вталкивается грубо, неудержимо, как всякое малое в большое. Тупо сидела Агафья в кабине старого громыхающего трактора без дверок, тупо, оглушенно, высовывая и задирая голову, оглядывалась на ползущий позади, стянутый тросами воз с тем, что было ее избой и что оказалось теперь таким жалким и дряхлым, что и поверить нельзя было, как из этой груды хлама можно опять поднять дом. Тракторист, рябой мужик из Ереминой, из деревни с левого берега напротив Криволуцкой, что-то время от времени кричал ей, спрашивая, — она не слышала и не хотела слышать, тоже разбитая, бесчувственная, сдавленная во все тело грубыми стяжками, и только вздыхала часто, дыша одними вздохами, и рукой показывала трактористу, чтобы он не торопился. С трудом вспомнила Агафья его имя — Савелий Ведерников, и то лишь после того, как представила его избу, стоявшую с ангарской стороны улицы, возле ручья под двумя громадными темными елями, вспомнила, что жена его, баба задумчивая, снулая, принялась рожать поздно, к сорока, и при третьих родах умерла.

Так давно это было, что и веры нет воспоминаниям. Все было давно вплоть до этого дня, взошедшего с какой-то иной стороны, чем всегда.

Перебрались через речку, подъезды и дно которой уже без Агафьи были вымощены гатью, высоко запрокинув перед саней, ставя их чуть не на дыбы, вползли на умятый яр. Агафья с зачистившим и пропадающим сердцем запросила остановку. Савелий, не заглушая трактора, пошел в кусты, а Агафья взобралась на воз, пристально и бессмысленно глядя, как с плах и бревен стекает грязная вода, с той же бессмысленностью переводя взгляд на речку, которая никак не могла успокоиться и все гоняла и гоняла взбученную рваную волну поперек от берега к берегу.

Подошел Савелий, сладко зевнул, показывая, как у молодого, ровные крепкие зубы, завернув голову к солнцу, медленными движениями пополоскал в нем свои рябины, пятнавшие лицо. Заноса одни ноги, не прихватывая руками, как при всходе на бугор,

поднялся на сани и присел рядом с Агафьей. Был он старше Агафьи лет на пять, но был еще крепок, не истрепан жизнью. Про него нельзя было сказать, что он среднего роста, — рост в нем не замечался, а замечалась ладная, вытянутая точно по натягу фигура, ловкая и удобная. Ему, должно быть, близко было к шести десяткам, при шаге он заметно вдавливал ногу в землю, с головы не снимал брезентовой самошитой кепки пролетарского покроя, придающего вид мастера своего дела, вглядываясь, щурил глаза, имел привычку ладонями натирать лицо, взбадривая его, во всем же остальном, не показывая усталости, тикал да тикал как часы.

После удачной переправы и прогулки в кусты Савелий повеселел, его потянуло на разговор.

— Не попала, говоришь, на Криволуцкую улицу? — в который раз за дорогу спрашивал он, закуривая и заглядывая куда-то за Ангару.

— Не попала.

— По больницам отлеживалась? Че лечила-то?

— Не приведи больше Господь такой отлежки! — пусто, не впервые за последние дни одними и теми же словами отвечала Агафья, тоже глядя на Ангару; всю жизнь так бывало: поглядишь на нее, и силушки, терпения прибывает. — Не приведи Господь! Пошла туда с одной хворобой, там належала все десять. Нет, не по нам, парень, лечение. Кому, может, и лечение, а нам мученье. Мы люди нелечимые. Как кони.

— А че ж кони!.. Коней тоже лечат. Ветеринары-то на что?

— Много они калечили, твои ветеринары? — без охоты, думая о другом, о том, как изловчиться убежать на ночь обратно в Криволуцкую, в свою амбарушку, чтобы пускай в разоре, но в своем разоре, среди остатков родного духа хватить сна. — Ветеринары твои только и приучены, что поросят легчить да браковку делать. Ой, а надо мной-то чего вытворяли! — вдруг спохватилась и заговорила живей, отчаянней: — Че вытворяли! Я тебе расскажу. Вот несут вот этакую кишку, из резины, потертую, я уж потом догадалась, что жеванную... Несут — глотай! — на чужой голос требовательно вскричала она. — У меня глаза на лоб. Глотай! — кому говорят! А как ее глотать?! Как, гряд! Видала, как воробей червяка глотает? Маленький воробей большого червяка — р-раз! — и нету! И ты так. Воробей червяка может, и ты моги. Глотай! Да я-то не воробей. Я давлюсь, из меня свои кишки вон лезут.

— Для чего глотай-то?

— Сок из нутра качают. Там сок есть.

Савелий кивнул:

— Желудочный сок.

— Кишочный. Глотай! — приступают. Делай глотанья. Без твоего соку мы ниче опознать не можем. Они мне силой туды, я выдергиваю обратно. Они — туды, я — обратно. Все горло изодрали. Я после неделю ниче, окромя маненькой кашки, пропустить не могла.

— Проглотила кишку-то?

— С третьего разу затолкали. Как вомзили. Не шевельнуться. Я вся оmlела, сидю, и уж дыху не стаёт. Экая, думаю, смертушка мне выпала несуразная. Через каку-то пору выдерьнули, а он, кол-то, все стоит. Подымайся, грят, и иди, а я сдвинуться не могу. Охнуть не могу. Нет, парень, лутше рожать, чем глотать. — От мысли, что то и другое осталось теперь навсегда позади, она протяжно вздохнула, припомнив, что никакая боль, никакая беда не бывает последней, а только следующей да следующей. Припомнила и стала спускать ноги с вoза, пора было ехать.

Но Савелий не торопился. Агафьин рассказ остался незаконченным.

— Сок-то дала, че он показал? — спросил он, чудя, пристально, на вытянутой руке рассматривая, прищутив один глаз, окурок.

Посмеиваясь над своей простотой, Агафья сказала:

— А только меня и спрашивать, че он показал. Показал: че-то есть, че-то нету. Как ребятенка похвалили: ты, грят, баба сокастая. А боле ниче не знаю. Ты почто все время щуренишься-то? — спросила она, тоже невольнo припуская веки. — В глаз че попало?

— Попало. То-то и оно, что попало. Мушки маленькие в его залетели и никак не вылетят. — От улыбки, от приятного оживления рябинки на его круглом, подсушенном желтоватом лице тоже задвигались-заходили, сплясали плутоватый танец и затихли опять в ожидании. Было в этом местном мужике, никогда не выдавшем иной жизни, кроме войны, что-то неместное, податливое, мягкое. Агафья его знала плохо, знала больше по собраниям, на которые съезжался весь колхозный народ раз в году, помнила, что бригадир он в Ереминой, но земли на левом берегу были еще беднее, чем на правом, и теребился он на собраниях со взыском, критику принимал спокойно и даже как-то благодушно. Ни разу Агафья и не разговаривалась с ним больше нескольких слов, а, приглядевшись теперь, разговорившись, она бы, пожалуй, и удивилась ему сильнее, если бы не это общее светопреставление на Ангаре, на которое не хватало никакого удивления.

Но она догадалась:

— Боишься, что снимут тебя с машины с глазами-то?

— Могут. Леспромхоз усядется, комиссовку будут проводить.

Вблизи поселка, еще не поднятого в рост, неохватно, торопливо наваленного, пугающего своей бесформенностью, прокричал Савелий, перекрывая гуд мотора:

— Давай я тебя на ереминскую улицу завезу? А?

— Где я там буду?

— Рядом со мной. Я потеснюся, места хватит.

— Нет уж, парень, я свое буду обживать. Какое-никакое, а свое будет.

Агафину улицу, на которой собирались такие же, как она, отделенцы, не попавшие в свою деревню или приткнувшиеся совсем со стороны, быстро назвали Сбродной. Сбродная так Сбродная, в горячке востания в новую жизнь никого это не задевало. Скатывалась Сбродная под горку по правому боку поселка, если смотреть от Ангары, через четыре поперечные, широко распахнутые улицы-деревни — и в первую же весну шальная талая вода пробила по ней канаву. Сколько потом ни засыпали ее, сколько ни трамбовали, другого хода вода знать не хотела и каждую весну, каждое ненастье с грохотом выпетливала от забора к забору, но как-то не зло, не обрушивая городьбу и постройки. Поэтому оказалось у Сбродной еще одно название — Канавка, которое со временем, когда стало забываться, кто откуда наехал в поселок, сделалось единственным. Так и говорили: живу на Канавке. Машинный проезд по ней из конца в конец был невозможен, получился пеший проулок. Избы встали по углам, выходящим на большие улицы, а от угла до угла тянулись стайки да огороды.

Агафье повезло с огородом, ее огород попал на край колхозного поля и ни вырубков, ни корчевки не потребовал. Корчевки ей бы не одолеть. А ограда вся оказалась в пнях, она выдрала их только лет через пять, оставив один — матерый, от ели, по колена высотой, огромный, как столешница, вырисованный, как цветок, лепестковыми овалами, отростками от уходящих в землю могучих лап, взбугривающих пол-ограды. До самой смерти, глядя на этот пень, присаживаясь на него и отирая тряпочкой от грязи и пыли, жалела Агафья, что нет у нее внуков мал-мала меньше, которые с восторгом, криками и ссорами, отгалкивая друг друга, громоздились бы на пень и в конце концов умещались бы на нем все, сколько бы их ни было.

Привезли они избу, и та еще две недели непочатым возом лежала на волокушах. Походила Агафья, посмотрела, надрывая сердце, — везде стучат, у всех нескончаемая страда: кто поставил избу, надо ставить жило для скота, хлопотать баньку, огораживаться, класть в избе печь, раздирать огород, пятое, десятое, двадцать пятое. Все заново, все единым навалом, никаких рук не хватает, чтобы успеть. Деревней переезжать — все равно что без огня погореть, а уж когда вся волость, вся долина на полтысячи верст попятилась с насиженных мест в тайгу, бросая могилы и старину, — такое переселение и сравнивать не с чем. Подъем воды обещали через год, но ведь зима на год не отставится, она на носу.

Не раз припомнила Агафья, как говорилось про одиночек: захлебнись ты своим горем. Из глубокой старины пришли они, эти слова, а все никак в прошлое не отойдут. Все к каждой вдовушке подсватываются.

А ведь, проживши на свете пятьдесят лет, она захватила еще старину. Краешком, но захватила. Электричества в Криволицкой не было, жили с керосиновыми лампами, десятилинейная лампа считалась богатством. Но и керосинки завелись уже при ней, она хорошо помнит, как в детстве жгли лучину и полуночничали возле камелька, как трещало, брызгая искрами, смолье и по лицам, собиравшимся возле огня, играли колдовские всполохи. Ну как тут было на вечерках не подать начин песни, как было не подхватить ее, печальную и сладкую для сердца, и не растаять в ней до восторженного полуборморока, не губами, не горлом выводя слова, да и не выводя их вовсе ничем, а вызваниваясь,

вытапливаясь ими от чувственной переполненности. Ничто тогда, ни приемник, ни телевизор, этого чувства не перебивало, не убивало родную песню чужеголосьем, не издевалось над душой, и души, сходясь, начинали спевку раньше голосов. Считается, что душа наша, издерганная, надорванная бесконечными несчастьями и неурядицами, израненная и кровоточащая, любит и в песне тешится надрывом. Плохо мы слушаем свою душу, ее лад печален оттого лишь, что нет ничего целебнее печали, нет ничего слаще ее и сильнее, она вместе с терпением вскормила в нас необыкновенную выносливость. Да и печаль-то какая! — неохватно-спокойная, проникновенная, нежная.

В одной избе песня, а в другой, где собиралась ребятня, сказка да «ужасти», которые напрашивались сами собой под деревенскую ворожбу каминного огня. Чего только не придумывалось, чего не рассказывалось то затаенными, то гробовыми голосами, до чего только не доходило разыгравшееся воображение! Не будь этого живого сопровождения огня, то завывающего, то стонущего, то ухающего, да разве мог быть у историй, рассказываемых не Петькой или Васькой, а их оборотнями, и непременно выдаваемых за «правдашние», такой жуткий накал, такая непереносимая страсть! «Вот воротился без памяти дядя Егор и лег... не верите мне, спросите у дяди Егора... вот лег он вдругорядь и вдругорядь стук в окошко. «Выходи, дядя Егор!» — нечеловечьим голосом вызывают его. Он бы и рад не выдти, да как не выдешь! — в избе достанут, ребяташек до родимчика напугают. Перекрестил он детишек, а себя перекрестить забыл. Выходит. Выходит ни живой ни мертвый. Темень — глаз выколи! Чует: кто-то дышит над ухом. Вдруг ка-а-ак!...» — И тут из камина раздавался выстрел, пульей взлетал огнистый уголек и вырывался испуганный вскрик. И не раз вот так же от треска, от шорохов, от тяжелых вздохов, от мертвенно искаженных заревом лиц сердце обрывалось в пропасть, но и оттуда просило: еще, еще! — чтоб уж ахнуть, так от макушки до пяток!

Агафья помнила лучину, а отец рассказывал, что помнит не только бычьи пузыри на окнах вместо стекол, но и то, как печную трубу затыкали сверху, с крыши, и добавлял при этом с тяжелым недоумением: «Чего уж не могли догадаться изнутри заслонки делать, тут никакой особой хитрости не требуется».

Зато потом закипела такая смекалистая жизнь, что только успевай поворачивайся. И казалось Агафье, когда она раздумывала об этой жизни, что не похоже, чтобы ее и сто лет спустя можно было назвать стариной, что все больше выкореняется она, выходит на поверхность и не вниз ляжет, как века до нее, плотным удобренным пластом, а выдуются в воздух.

* * *

Надо было с чего-то начинать, чтобы не изнурить себя бездельем, — принялась Агафья таскать мох. Все равно пригодится, без мха, без конопати и стайка не ставится. Но вблизи уже подчистую выдрали его по речкам да по ельникам, на полтораста с лишним построек надо было его где-то набраться, и ходить пришлось далеко, с двумя туго набитыми мешками, один на плече, другой в обнимку сбоку, скатывающимися и сползающими, она ухайдакивалась не меньше, чем если бы встала за бревешки. Но прежде чем встать за бревешки, надо было положить вниз под венцы лиственничный оклад. Листвяки из лесу на плечах не доставишь. Делать нечего — пошла она опять к Савелию. Пошла уже в

сумерках и не застала дома. Обошла кругом его избу и не узнала ее. Изба Савелия, сдернутая со своего родного места, от речки с ее неумолчным серебристым говорком, из-под двух громадных елей, сказочно стоявших сторожами по углам, с поляны, которая заботливо вводила ее в свою глубину с проезжей дороги и выставляла картинкой — здесь, в общем ряду на солнцепеке теремок Савелия превратился сразу в почерневшую обдергайку с подслеповатыми окнами, откнувшуюся, где ей было велено. «А ведь он хозяин, у него руки золотые, — с тоской думала Агафья. — Что же у меняло будет?».

Не застала она Савелия и рано утром; потом выяснилось, что он плывал в Еремину и тоже маял там душу, уже чужим человеком глядя на уютный и величавый убор, среди которого жил, — и на осиротевшие сразу ели, и на скорбную, потерявшую вид, полянку. Даже речка лопотала теперь по-другому. Заночевал он в брошенном сеннике, от тоски видел во сне скончавшуюся давно жену, которая не захотела с ним разговаривать и все отводила глаза. Агафья подкараулила, когда затарахтел, сбиваясь на отрывистый больной кашель, трактор Савелия, вышла навстречу и остановила.

— Ну так че, — согласился Савелий, задумчиво выслушав Агафью. — Привезем. И валить не надо, я знаю, где мужики с эстакады берут. Оклад, ясно дело, нужно листвяковый. — И, прищурился по обыкновению левый глаз, вглядываясь в нее, помолчал и добавил с чуть заметным нажимом: — Съездим. Может, завтра и съездим. Приди вечером, я тебе верней скажу.

«Простота, — посмеивалась она потом над собой. — Он по-особому это сказал, можно бы и догадаться. Ой, простота с пустого куста».

Вечером Агафья, отворив калитку, которая на скорую руку запиралась бесхитростной вьюшкой, наткнулась на Савелия во дворе. Маленьким топориком с крашеным желтым топорщиком он вел по доске такую ровную стружку, что не надо и рубанка. И, оставляя дело, не воткнул топорик в чурку, а ласково положил поверх доски.

Все у него было уже на месте — высокое крылечко, и сени, заваленные всяким шурум-бурумом, среди которого Агафья рассмотрела конский хомут и детскую зыбку. То и другое едва ли могло пригодиться, но ведь жалко, жалко бросать! — И Агафья как укололась о хомут и зыбку, вспомнив, что хотела она оставить в Криволицкой красна. Им тоже, скорей всего, не бывать в деле — кто теперь садится за тканье! — да ведь не все же для рук, надо что-то и для сердца. Изба у Савелия изнутри смотрелась просторней, чем показывала с улицы, но и была она нараспах — ни заборки, ни печи. По полу чернели полосы от заборки, в левом дальнем углу, где стояла русская печь, сияли гладкой упругой белизной свежие половицы. Значит, и Савелий, как все почти в поселке, отказался от глинобитной печи, будет класть из кирпича. Железная кровать с панцирной сеткой, застланная лоскутным одеялом, стол, накрытый стершейся клеенкой, три табуретки — вот и вся обстановка. Возле стен навалом тоже шурум-бурум из лопоти, посуды, утвари, из того неисчислимого подручья, что запрягается и объезжается в доме постоянно.

— Вот, — растерянно и мрачно сказал Савелий, пряча глаза, — такая моя хоромина. Сверху, видишь, не капает, тепло будет. — Он вдруг удивленно хмыкнул, точно ему удалось увидеть себя со стороны, в одно мгновение переломил себя, скрываясь за

шутливой тон, весело предложил: — Перебирайся-ка ты сюда, дева. Чего мы будем втормую избу ставить!.. Перезимуешь... не поглянется — весной поставим.

- Ты, никак, меня сватать задумал? - от неожиданности растягивая слова, спросила она.

- Задумал. Сватаю уж...

- Ой, да ты куда это заехал? Из меня какая баба! Ты че это? Ни сварить, ни обшить. Я все на бегу. Я вся на бегу, - поправились она. - Ниче не умею. Ты че-то во мне не то увидал. Я выхолостилась уж не знай когда.

Это была не игра, не ломанье бабы, любящей узор и силу напора, сомневаться в этом было нельзя, и Савелию ничего не оставалось, как отступить. А ведь и не обидела даже баба. Он без натуги рассмеялся, прекращая "сватовство":

- Глаза плохо видят, вот и не увидал.

На другой день, когда поехали за листовками, Агафья расспросила подробно, с чем остался он, вступая в новую жизнь. Но говорили они не в продолжение вчерашнего разговора, о котором молчаливым согласием постановлено было раз навсегда забыть, а совсем отдельно от него, совсем самостоятельно. Попытку Савелия, сойтись постановлено было забыть, и все же, странное дело, после нее, ни к чему не приведшей, ничего не оставившей, кроме неловкости, стали они ближе, каким-то утешением, невесть откуда взявшимся, связались теснее, и все, что узнавала Агафья о Савелии, спрашивая его, укладывала она в свою душу поближе. Старшая его дочь по накатанной всеми деревенскими девчонками дорожке уже укатила в город, поступила в поварскую школу, младшая, четырнадцати лет, которой оставалось доучиваться в восьмиклассной школе год, вострила глаза туда же, а пока в учебные месяцы жила у тетки в райцентре. Старшая в мать, быстрая, легкая, смелая, а младшая тоже в конопушках, задумчивая, приземистая. И любит отца, и обижается на него за рябь на лице. Почти десять годочков помогала Савелию поднимать девчонок вместо матери взятая им за себя из райцентра, как он называл ее, "моя молодайка". Тогда, после войны, это было нетрудно привести в детную семью молодую вдовицу с мальчишкой. Агафья видела ее, помнила: высокая, волоокая, красивая, глаза поднимала лениво, смотрела в упор. И себя, и ребятишек, и избу содержала в чистоте, в деревенскую маяту впряглась без понукания, но к затянутой дремучими лесами Ереминой так и не привыкла. Еремина и из Криволюцкой смотрелась глухим углом, жизнь поживее шла правым берегом. Звали "молодайку" Пана. Умела она держать на расстоянии деревенских баб, за это они недолюбливали ее, но за ласковое обращение с девчонками прощали ей все, а за то, что водила она девчонок на могилу матери, еще и не удерживались от чувствительной слезы. Так и жила - не своя и не чужачка; должно быть, так же, как деревенских, держала она на расстоянии и Савелия. Как в отпуск, уезжала на неделю, на две на абарты в райцентр, возвращалась осунувшаяся, неразговорчивая, отмякала не сразу. Баба в ней тянулась к Савелию, к его спокойному и красивому нраву, к сильным и умелым рукам, а неуступчивая, тоскующая по чему-то другому душа тянула к разрыву. Как раз начался переполох с переселением, скovyриваемый народ заметался, еще за год до того уехал в город в ремесленное сын Паны, потом поехала старшая Савельева дочь - и однажды утром в начале лета встала

перед Савелием с окончательным решением и его "молодайка". Он ждал этого, чуял и удерживать не стал. "За десять лет возле девчонок я поклонился ей в ноги", - сказал он, и Агафья знала, что это не пустые слова, что так он и сделал; нет, было, было в нем что-то дальнее.

Теперь вот перебрался на людное место, а один. Жить ожиданием дочерей, которые изредка станут приезжать гостьями на показ родителю? Но еще будут ли приезжать? Едут к матери, там неодолимая тяга плода, помнящего вынашивающую, утробную колыбель, к отцу такой тяги не бывает. А одиночество мужик выдерживает недолго.

Доставили листвяки, намаившись с ними меньше, чем боялась Агафья, и в тот же вечер, не обрывая везенья, оконтурили гнездо для избы. Можно сказать, что зачали ее, голубушку, оставалось выносить да родить. Развернули хорошо: два окна будут смотреть на восход солнца и два - на дневной его ход. Впервые за последние месяцы, с той поры как угодила она в больни-цу, сердце ночевало у Агафьи на месте. И утром вскочила она весело, жадно, в нетерпении побежала к Савелию, чтобы раньше леспромхоза снять его на свою работу, застала его прежде чая, который только гоношил он на железной печурке во дворе, потом присела вместе с ним за стол и, подливая в кружки себе и Савелию, погружаясь в тепло от чая и от близости к нему, стала рассказывать:

- Я три дни назад на корову свою ходила поглядеть. Корову я ишо летом в общее стадо сдала... не насовсем, до подыма рук. Дом и корову в один обхват мне бы нонче не осилить. Я свою силу знаю. Ну и отвела, леспромхоз такое предложение сделал: кто на себя не надеется, ведите к нам, мы будем содержать ваших коров до новой травки, до тепла, а молоко в столовую, в Детский сад. Для меня это большое пособие вышло. Семь коров отвели, они на дальней елани стоят, гумно там под коровник приспособили.

Я пошла, перед коровой уж стыдно, что избавилась и глаз не кажу. Прихожу, у прясла стала. "Марта, Марта!" - зову, она у меня мартовская. Марта моя услышала меня, я вижу, что голос узнала. А стоит, не идет. Голову к земле пригнула, набычилась, в характер уперлась и никак, осердилась на меня, что я с хозяйства ее сняла. "Марта, Марта!" - Я к ней с лаской, а она отвернулась и пошла от меня в дальний угол. Вот какая честная корова! Нет, перезимую, даст Бог, и надо за стайку братья. Ой, да когда бы не эта беда, не больница, разве бы я счас такая была? У меня бы разве две руки было?!

В тот день уложили они оклад. На разделке провозились с лиственницами долго, пришлось подворачивать на подмогу проходившего мимо парня с полным ртом металлических зубов, прогуливавшегося по поселку в майке и высоких резиновых сапогах... Подворачивали на пять минут, только чтобы пособил надвинуть влипший в глинистую землю комель на слегу, а парень разохотился и остался часа на три. Когда лег оклад, как тут и был, и Савелий, отпыхиваясь, опустился на еловый пень и потянулся за папиросами, а парень, как показалось Агафье, в ожидании ходил вокруг сделанной работы и, постукивая по лиственницам топором, слушал с восхищением тугой звон, сказала Агафья виновато:

- А мне вас и угостить нечем.

- Нечем - обратно вытащим! - развеселился парень. - Обратно в лес увезем. Заводи, друг Савелий.

После этого Савелий пропал. Агафья не искала его, но ждала, распрямляясь на каждый стукоток мотора. Нету - значит, нету в поселке, значит, турнули куда-то вместе с трактором. Леспромхоз о садившихся на его землю бывших колхозниках не особенно горевал, они - как мухи: если и пристынут от морозов, так оттают, но у леспромхоза уходило время, чтобы поставить гараж, мастерские, пекарню, подвести электричество, пригнать, пока есть дороги, технику, а работнички расползлись все по собственным стройкам, и выковыривать их приходилось чаще всего облавой: кого поймали, того и запрягли.

И принялась Агафья ворочать бревнышки в одиночку. Попробовала ничего: тянем-потянем - вытянем. Она была уже не та, что воротилась из больницы: не дрожали мелконькой нутряной дрожью от натуги руки, пугающая эта дрожь не перебрасывалась на лицо, набралась терпения поясница. Эх, на десять бы лет пораньше, она бы эту избеночку в леготочку скатала, они, бревешки-то, высохшие в стенах лет за пятьдесят от солнца и русской печины, не упрямые. Но не упрямые для матерого мужика, а для бабы? "Какая я баба? одергивала она себя. - Одна затея бабья".

Еще поперед главного дела сколотила она каморку от дождя и зноя, пустила на нее старую драньевую крышу от избы. Савелий же подсказал, что крыша эта свое отслужила, в леспромхозе можно выписать тес, лесопилка пилит денно и ночью. Потом, позже, поставит Агафья в каморку железную печурку, чтобы погреться и сварить. Но ночевать она по-прежнему убегала в Криволицкую... ой, да не на ногах убегала, а лётом улетала. До упади изматывалась, но только нацелит ногу на Криволицкую дорогу - и себя не помнит, как добежит. Возле русской печи, брошенной под небом, и разбередится, и успокоится как на родной могилке. Все свои страхи убаюкает сном, вскочит, придет в память, а они, страхи-то, снова ворохом насаждают, и надо торопиться, чтобы укладывать их в стены. Зато как хорошо потом, насадив на свое законное место венец, сесть без сил подле, прислонясь спиной к бревешкам, вытянув ноги в кирзовых сапогах, и чувствовать, как тукает-тукает в спину легкими толчками: оживали бревешки, вращая в одну плоть, начинали дышать. "От своих-то рук теплее будет", - и не различить уже было, от нее шли эти слова или они шли к ней.

Вот уже и поката задрала она вверх и взялась за веревки: подтянет бревно с одного конца, закрепит и тянет за другой, помучится, насаживая выемкой на нижний слой, чтобы не сбить мох, покорячится, чтобы плотно легло оно в углах в замок, но уложит и порадует... Вот уже пошли на две стороны оконные проемы и способней стало наваливать из-под рук - от живота рывком вверх - и там! Вот уже и дверной проем, обороченный к Ангаре, поднялся Агафье в рост, и вот уже принялась она разбирать на две укладки, где потолочные плахи и где половые... Все на виду - ни огорожи, ни куста; торопится мимо мужик, наткнется глазами на бабу, муравьем тянущую на загорбке "щепку" втрое больше себя, выругается невесть на кого, но подворачивает и на час, на другой застрянет. А застряв раз, идет в другой раз проверить, как там ладится у отчаянной бабы, не завалилась ли она с надрыву, и опять застрянет... Ищет на закате солнца

холостежь место для сборища и приостановится в нерешительности, кто-нибудь побойчее крикнет:

- Что, тетка, пропустишь мимо своей стройки али нет? Какое будет твое указание?

Агафья оботрет пот со лба, ей и этот окрик в помощь:

- Седни-то уж, так и быть. Проходите, щ-щупайте своих девок... А завтра этак же гаркни меня, я вам здесь работу найду.

- Ты шибко-то не ищи. Мы малолетки.

- А малолетков дома на привязи держат. Поворачивай домой.

И уж потом дня не проходило, чтобы кто-нибудь не заглянул. Один плечо подставит, другой даст совет, третий пройдетя брусочком по топору и натешет клиньев и штырей, четвертый на ходу крикнет, чтоб звала ставить стропила, когда дойдет до них очередь, пятый везет мимо свежий лес и сбросит с машины с откинутым задним бортом несколько сутунков: "Это тебе на стояки под печку - будешь класть печку-то?", а Агафье до печки, до подполья и до стояков - еще как до второй жизни.

Но уже поверила она, что будет зимовать в своей избе. Упаси Бог вслух сказать об этом, она боялась даже ближние планы городить, все убывающее беспрестанно пространство до белых мух окидывая торопливо и суеверно - не сбилось бы что-нибудь в его ходе, не скомкалось бы... Зарядят, к примеру, проливные дожди - и нет недели, а то и двух. Всего боялась, а между тем сердце стучало все ровней и уверенней, все снисходительней к этим страхам, принимая их за выставляемую наперед по привычке защиту: где подстелена соломка, туда лихо не упадет. Погода стояла как на заказ, после колючих утренников разливалось во всю поднебесную тучное, ленивое тепло, с избытком оставшееся от лета, после обеда с низовой Ангары добродушно погромыхивал гром, но отводил дожди в сторону и стояло сухо, томительно-хорошо. Гром налачился греметь точно бой небесных часов, не могущих замедлить свой ход и поторапливаю-щих, поторапливающих... С Ангары ему откликались и вторили протяжными тоскливыми гудками суда, уходящие на зимний отстой.

У Агафьи перепутались дни, принялись, оттесняя ночи, наползать один на другой, и она не могла припомнить, спала ли, и где спала, и какая работа была вчерашней, какая сегодняшней. Все реже бегала она на ночевку в Криволуцкую, дотягивая до последней минуты, когда уже и бежать было незачем, и все чаще в темноте подогревала чай в старой закопченной манерке, прихлебывала его без вкуса, заливая саднящий, долго не остывающий огонь внутри, ненадолго задумывалась, а уж в щелястую дверь каморки опять пробивался свет. Она перестала чувствовать свое тело, оно затвердело в грубое и комковатое орудие для работы; нельзя было поверить, что еще полтора-два месяца назад она лечила это тело от какой-то надсады. Кроме своей избы, она больше ничего не видела, оглядываясь на поселок, где по-прежнему царил беспорядок, но подросший, тянущийся вверх, выкидывающий, как на грядках, одинаковые заостренные головки крыш; прислушиваясь к дробному, неумолчному стукотку топоров, визгу пил, она забывалась до того, что во всем ей мерещилась своя изба, двоящаяся, троящаяся, сотящаяся под

слепящим солнцем в усталых глазах, и везде слышался разносимый эхом свой стукоток. Никогда, ни в какую жару не потевшая, носившая свое сухое тело легко и быстро, она стала потеть, высохла еще больше и выострилась грудью вперед. Сама себе говорила голосом Савелия: "А ведь ты, девка, лопнешь, ежели не дашь себе продыху. Вот так пополам и лопнешь". И сама же себе отвечала: "Но-о, лопну! Я посередь воза никогда не лопну. Не имею такого права".

И вдруг, ночуя в Криволуцкой, не смогла утром подняться. Нигде не болело, внутри была одна пустота, не держали ноги, нечувствительными плетями повисли руки. Агафья лежала на деревянной кровати, грубо сколоченной еще ее Чапаем, которую она держала как память о нем, лежала, только и сумев толкнуть в улицу низкую амбарную дверку, и слышала, прислушиваясь к себе, как в пустоте ее тела от дыхания ходит ветер. "Вся, че ли, вышла?" - с ясностью думала она, совсем просто и коротко, без досады и страха. В амбаре было прохладно, стены завешены одежкой, углы завалены всяким скарбом, от чугунов и кринок до деревянной лопаты для хлебов, от керосинового фонаря до резиновых сапог - все это ждало переезда, все прежде поторапливало хозяйку, а теперь скорбно притихло. Отдаленно и кисло тянуло запахом от мышей - еще с той поры, как в амбаре были сусеки с мукой. Солнечный свет не заходил за порожек. Там, за порожком, стояла нежилая, погасшая тишина, быстро дичающая, горчащая от брошенных печей, потом опять несердито зарокотал гром, научившийся не взбивать грозу, а ограждать от нее, на этот раз словно окликающий Агафью - и она в ответ послала ему слабый и виноватый вздох. Закрыло солнце, дунуло коротким ветерком, зашумело сносимой листвой, и опять все стихло. Солнце не показывалось долго. Воздух в проеме стеклянно посинел, лес за ним стоял вогнутой искривленной стеной. И в дреме поплыла, поплыла от всего этого Агафья на другой берег, наклоняясь вперед и гребя руками, досадливо взмахивая, когда руки не доставали до воды.

Не поднялась она и на второй день, но полночи проспала в полном забытии и проснулась со слабой завывающей болью в теле. Вспомнив, что за сутки маковой росинки не брала она в рот, Агафья заставила себя спустить на пол ноги, заставила подняться, со стоном, кряхтением и кашлем сделала два шага до фанерного ящика, где давно черствела буханка хлеба, уже казенного, из пекарни, отломила кусок, зачерпнула из ведра ангарской воды и выпила полон ковшик. Хлебушек она хотела пощипать на порожке, но ни кусок не лез в горло, ни высидеть пяти минут не могла. Пришлось снова лечь - так, с куском хлеба на груди на темной мужской рубахе, и заснула опять, с особой остротой чувствуя во сне, как сереет, становясь пористым, небо и подкрадывается дождь. Просыпалась, убеждаясь, что и верно набухает видимый край неба над горой, и опять, неудержимо утягивалась в сон, снова просыпалась, слушала с минуту жесткое шуршание дождя о землю и крышу и еще стремительнее забывалась.

Изда к тому времени стояла у Агафьи под стропилами и был настлан потолок. Некстати свалилась она, некстати пошел и дождь, но когда ж в такую страду это вышло бы кстати? Дождь начался крупным и резким боем и точно взбил тепло от нагретой земли - через час не по-осеннему помякло, смиренно и скучно притихло и замаяло, занудило сверху липким сеевом. Промаяло сутки, затем подула холодная низовка, и дождь отступал уже злее, с белыми мухами. В Криволуцкую притархтел на своем тракторе Савелий и застал Агафью

сидящей на кровати. На полу валялись хлебные крошки, перевернутый ковш лежал на постели в ногах. Сидела Агафья склонившись вперед, опершись вытянутыми руками о колени, точно приготовившись к рывку. Обута в сапоги, на плечи накинута телогрейка. Лицо еще больше заострилось и в то же время разгладилось, доболела она до кости, на которой морщины не держатся. Савелий тотчас поставил диагноз:

- Надорвалась. Дурная ты баба!

- Споткнулася, - поправляя, сказала Агафья.

- Обо что споткнулася?

- А об эту кровать. Зачем было ложиться? Я до того сидючи спала. Р-раз! - и на ногах!

- Ты научись стоячи спать, - подхватил он. - Научись-ка! Как кобыла, которую не распрягают. Или того лутше - на ходу!

- Так а че... - неопределенно вздохнула Агафья, как будто и соглашаясь. - Я так-то не сонливая. Упаду да вскочу, упаду да вскочу. Я ни один сон, однако что, не досмотрела. А тут как в пропасть утянуло, как в болото.

- Встать-то сможешь?

- Вста-а-ну! Это мне нипочем. Седни же встану. А завтра на избу. Видал ты мою избу?

- Видал.

- Ну и че?

- Вся в хозяйку. Хвалится на всю округу, а ее, безголовую, бескрышую, во все дыры мочит. Ты, Агафья, баба храбрая. Но ты баба неумная, ты алчная до работы. Ты погляди: че ты за те дни сверх мочи из себя выгнала, за эти дни потеряла. Не выгадала, а прогадала. Избу свою ты, конечно, возвысила... А ведь все равно: там начать да кончить. Ты там здоровая нужна.

- Начать да кончить, это верно, - согласилась она, кивнув и надолго оставшись с мелко кивающей головой. - Это уж верней верного.

Утром она сумела подставить под себя ноги и в три приема одолела дорогу из Криволуцкой. После обеда Савелий привез на лесовозе тес, выгрузил его вместе с шофером лесовоза, напугав кинувшуюся помогать Агафью решительным окриком, но потребовалось обрезать доски, и уже она не менее решительно прикрикнула на Савелия, когда он попытался отнять у нее ножовку. Дул холодный порывистый ветер, в лицо бросало лиственничную хвою с недалеких лесов, и Агафья все вскидывала глаза, все вглядывалась с опаской, не снег ли опять. По небу быстро несло леденистые тучи, в поселке топились печи и с крыш сбивало в несколько дней полинявшие белесые дымы. Топилась железная печурка и в каморке у Агафьи. Савелий дважды в приказном порядке отправлял ее подогревать чай, шел вслед за нею, чтобы тут же не выскочила обратно, и мучился от безвкусной распаренной жидкости. Толку в чае Агафья не знала и подогревала его вместе с заваркой. Мучился и все больше убеждался, что, не умея угодить себе, не

угодила бы она в хозяйках и ему и что была она умнее его, не согласившись на общую жизнь.

На другой день, а день уже тихо, задумчиво, но прохладно и тускло золотился под солнцем, закрыли они избу. Тес был сырой, Савелий вздыхал со стыдом, набивая тяжелые молочнистые доски, - но когда же их было сушить? и набивал внакладку, ведя крышу сразу с двух боков. Агафья подавала тесины снизу, подпрыгивала, набрасывая их на потолок, и, когда Савелий спрашивал, не умаялась ли, радостно, возбужденно выкрикивала:

- С чего? С чего умяться-то? Ты уж меня совсем-то за клячу не принимай.

Сырой тес, а лег доска к доске на два блестящих, играющих белизной и новизной ската, как засиял уже в сумерках, когда, пристукнув в последний раз по крыше топором, спустился Савелий вниз, - будто свет заструился над избой, и встала она в рост, сразу вдвигаясь в жилой порядок. Шел мимо Кеша Осоргин, как он сам называл себя, "бессрочный старик", по той причине, что не знал своего года рождения, был, как всегда к вечеру, пьяненький, переживая невиданную славу, неслыханный спрос на себя: никогда еще не случалось, чтобы всем сразу потребовались печи, но тут так и вышло, а Кеша был печником, притом печником хорошим. Шел он и, наткнувшись на новую крышу на старых стенах, пронзительным голосом, соответствующим маленькому сухому телу, заявил:

- Как седло на корове!

- Зато какое седло! - не растерялся Савелий. А Агафье, сконфуженно посмеиваясь, сказал: - Через год почернеет, новое на старом старится скоро. Зато сейчас... сверху, с самолетов, будут глядеть: чья это такая бравая хоромина? Не иначе - большого начальника.

Агафья и ночью выходила постоять возле избы. Мелконько, притушенно мигали звезды, луна с поджатым боком устало продиралась сквозь дымную наволоку, в свинцовой неподвижности стыла Ангара, разворачиваясь вправо, к Криволуцкой... В глубоком сне лежал поселок, лес по горе чернел остистым и вытертым воротниковым опухом... А над ее, Агафьиной избой висело тонкое, прозрачное зарево из солнечного и лунного света. "Ну и поживу ишо, оброчно и радостно думала Агафья, соглашаясь с чем-то, пахнувшим на нее с такой легкостью, что не осталось и следа. - Ой, да че ж не пожить-то ежели так!.." Она поискала в небе - Стожары стояли еще высоко и ночи впереди было много; знобко зевнула, прикрываясь ладонью, похлопы-вая ею по рту, и вернулась в каморку, легла. И как в детской колыбели, чего не бывало давным-давно, унесло ее, как на мягких руках укачало - вскочила уже при солнце, непритворно заахала, набрасываясь на себя с попреками, но чувствовала уже, что выспалась не своим изношенным сном, когда вся ночь в заплатах да дырах, а сном свежим, здоровым, и выспалась впрок.

И опять она заторопилась, заторопилась. Зима подгоняла - это само собой, но и помимо того подхватил ее опьяняющий порыв, сродни любовному, какой бывает у девчонки, когда только одного она и видит во всем свете, только к одному и влечется, а вся остальная жизнь - как кружная дорога, чтобы переполниться тоской. Только одно и знала Агафья - скорей, скорей к избе, только там она и успокаивалась. Просыпалась среди ночи, пронзенная нетерпеливым толчком, и не могла дожидаться: "Где же это утро-то

заблудилося?", отрывалась от работы, чтобы сбежать в магазин за хлебом, а там очередь, хлеб из пекарни обещают "вот-вот", но десяти-пятнадцати минут не в силах она была выдержать и бежала обратно: "Че ж я, без обеда, че ли, не перетерплю?" Не успевала закончить одно дело, а руки уже просили другое, и чувствовала она, как придвигается к ней новая мера работы.

Савелия снова угнали надолго на лесосеку, но Агафья совсем без страха, даже с тайной радостью осталась одна на стройке. Она натаскала на потолок землю, отрывая одновременно яму для подполья, одна поставила дверную и оконные коробки, настелила черный пол, а потом и верхний, чистый, изредка зазывая с улицы кого-нибудь из мужиков для короткой подмоги и совета. И успокоилась, стала лучше спать, заставляла себя отрываться на варево, чтобы не ссохся желудок. В ясные вечера полюбила, одевшись потеплее и устроившись на высокий еловый пень, показывать себя рядом с избой, заговаривать с прохожими, узнавать у незнакомых баб, кто откуда, полюбила, греясь под вниманием, чтобы окликали и ее, но, упаси Господь, чтобы засиживалась она дольше, чем вскипеть чайнику.

Настал день, когда и чайник закипел в избе, куда Агафья перенесла из каморки железную печурку. Но к той поре она и в улицу выглядывала из застекленных окон. К той поре впритык к стене под окнами у нее уже был сложен кирпич, за которым гоняться не пришлось: услышал об отчаянной бабе, в одиночку собиравшей избу, директор леспромхоза и приказал доставить ей кирпич без очереди. Зато потом три дня ходила она за Кешей Осоргиным, зазывая его на кладку своей печи, терпела Кешино балагурство и пьяненькую похвальбу, уже на другой день обнаружила себя в подручных у него, замешивающей раствор и подающей кирпич, но при этом зорко высматривала, как ведет Кеша печные ходы, а, высмотрев, отстала и сложила печь сама.

Затопила она ее уже в ноябре. Уже остыло солнце, не грея, а глядя бледными лучами, уже налетали с низовой ветры в белых рядах и нещадно трепали оголенные леса, уже тускло опустилось небо, а по Ангаре несло шугу, когда пустила Агафья дым. Среди дня набрались сумерки, предвещая снег, из-за окон доносилось, с какой порывистостью дышит вступающая в мир зима. И гудела печь, выбрасывая из дверцы трепещущие блики. Агафья придвинула табуретку, села подле дверцы, протягивая к ней руки, и, ощутив первое тепло, пробежавшее по рукам и лицу, сказала в окно:

- Ты не обробела, да ведь и я, матушка, успела. Так-то.

Ночью она лежала без сна, слушала, как кряхтят в углах набирающие тепло стены, как тяжело отдыхивается после топки печь, вспоминала детские страхи от рассказов о леших и домовых и хозяйской, ничего не упускающей мыслью решила: "Ниче, я сама буду домовым".

Прожила Агафья после этого без одного года двадцать лет. Безвылазная работа никого не щадит, и Агафья состарилась рано, но не так, как в себя впускают старость каплю за каплей, а точно переодевшись в нее однажды раз и навсегда и дотаскивая до последней мочи. И верно - ходила она постоянно в темном, обходясь двумя-тремя длинными юбками и двумя кофтами фабричной вязки под телогрейкой, тонкие кожаные чирки после

переезда заменила на кирзовые сапоги, бессменные в сушь и грязь, с головы не снимала подвязываемого под подбородком то ситцевого платка по теплу, то шерстяного. Лицо у нее тоже потемнело и выткалось бисером частых и тонких морщинок, по которым, умей кто читать, прочитались бы однообразные подробности жизни. Руки в те короткие перерывы, когда они не были заняты делом, держала Агафья у живота, в укладку, давая им покой. До последних дней ходила быстро, прямя высокую сухую фигуру, с поднятой головой, и никогда не говорила "пойду", только "побегу". Не жаловалась ни на глаза, ни на зубы, перед нею выставляли три мелкие иголки кряду, и она в мгновение нанизывала их на нитку. Сначала пугалась, а потом привыкла к приступам "лихоманки", которая налетала на нее раза два в году и подсекала безжалостно, так что Агафья не в состоянии была подняться ни к корове, ни к печи. В первые годы после переезда она пробовала работать в леспромхозе и пошла на лесосеку жечь сучья, пока нехватила ее однажды "лихоманка" в лесу. Позднее пожалели Агафью и снова взяли на лесосеку, на этот раз в кашевары, да, попробовав Агафьиных каш и раз, и другой и видя искреннее простодушие, с каким не понимала она, чего от нее хотят, нагрузили ей в откуп полрюкзачка тушенки и уже навсегда проводили из леса. Пришлось садиться на колхозную пенсию в 24 рубля.

Она держала корову, каждую весну брала двух поросят и кормила их до поздней осени. Под стайки на другое лето после избы успела вывезти из Криволицкой сначала свой амбар, а потом и чужой, совсем худенький, брошенный. Опять катала бревешки, опять тянула жилы, подтаскивая из леса то жерди, то сляги, вытягивая из грязи вокруг мастерских и гаража бесхозные доски. Разодрала огород и загородила его, в первые годы накапывала картошки по пятьдесят - шестьдесят кулей. Поставила ограду - тыновую, высокую, что тебе крепостная стена. Все из-под Агафьиных рук выходило не по линейке, вразной и вразнохлыст: столбы не держали строя, тын то приседал, то вытягивался - зато прочно: те же столбы уходили в землю на полтора метра, сени смотрелись жилым пристроем. Экономить силы она не умела, но каким-то загадочным круговоротом они возвращались к ней, и, не мешкая, она устремлялась на новую цель. Да ведь и обиходный круговорот со скотиной и огородом, с избой и тайгой шел беспрерывный. Один сенокос чего стоил! Ни одной копенки ни разу она не прикупила, всегда обходилась своим и каждую осень два зародчика вставляли за стайками в огороде, будто там и росли. А тайга! Агафья не охотница была до ягод, но за десять-пятнадцать верст, пока носили ноги, бежала колотить кедровую шишку, в три раза далее того по криволицкой тропе шла брать чистую рыбу в Илеме, потому что в подпруженной Ангаре добрая рыба вывелась, рвала черемшу, ставила петли на ушканов, покуда не распугали их леспромхозовской войной против леса.

Агафья не была скупой, напротив, считалась простушей и могла не пожалеть последнего, но к деньгам у нее было старинное отношение, не дающее им воли. Ей удавалось продать понемножку то молоко, то мясо, реже картошку, но, с другой стороны, и хлеб надо было теперь покупать, а не из квашонки наставлять в русскую печь, и за простенькой мануфактурой отправляться в сельпо, а не шить из самотканой холстины, и сено из-за хребта, где сенокос, на лошадаках теперь было не привезти, потому что вывели тех лошадаков, и расчет пошел на бутылки. Не добыть комбикорма, не засветить электричество после шквального ветра, замкнувшего провода, не забить борова, не раскряжевать на дрова хлыст... Воду и ту, качая ее из скважины, стали привозить за деньги. Тут деваться

некуда, тут хочешь не хочешь, а расплачивайся. Но с удивлением и стыдом смотрела Агафья на мужика, покупающего в магазине топориче, или на разевшуюся, поперек толще, бабу, нанимающую работницу копать на трех сотках картошку. Не карман этого мужика и этой бабы она жалела, а сами деньги, попавшие в несерьезное место, где им не знают цены. Полоруких развелось - через одного, и, как всегда, когда полость обнаруживается в неполюженном месте, в другом неполюженном месте появляется у человека язвенный нарост, вроде пьянства. Никаким новым обычаем было не сбить Агафью: деньги должны идти только на нужду, быть только пособием в недостатке, все, что сверх того, пользы не принесет.

Со своим хозяйством колхозных 24 рублей Агафье хватало вполне, из этого же прихода она умела выкроить избыток, который два раза в году отправляла по почте дочери в город. Дочь в ответ откликалась на Рождество открытками. Прочитать их было невозможно ни грамотному, ни безграмотному! Агафья узнавала руку, выводившую три или четыре короткие и размашистые волнистые линии, подолгу изучала цветную картинку на обороте, отдаваясь этому занятию с приливающей нежностью к чему-то неизведанному, прошедшему мимо ее жизни, с неясным вздохом укладывала открытку сверху в ту же пачку, что и все остальные, хранившуюся на посудной полке за горкой фарфоровых тарелок. Дочь не изъявляла желания приехать, а Агафья и не звала, не зная самого простого - как звать и зачем? В молодости она умела писать, научившись рядом с дочерью, когда та бегала в школу, потом забыла. Читала тоже с трудом и по печатному, печатными же заученными буквами крупно выводила половину своей фамилии, когда требовалось расписаться за пенсию.

У Савелия, пока он оставался в поселке, бывала часто. Угощаться не любила, она и вездето, в любом доме чувствовала себя за столом стеснительно, а усаживалась у Савелия подле дверей на лавочке, ревниво убеждалась, что обихожена изба мужиком лучше, чем ею, бабой, и начинала разговор с одного и того же:

- Ну, так че решил?

Савелий долго жил в раздумье, переезжать или не переезжать в райцентр. После перетряски ангарского народа там, в райцентре, оказались у него два двоюродных брата из ереминского рода, там жила свояченица, младшая сестра умершей жены, не переставшая считать его за близкую родню, звавшая особенно настойчиво, оттуда было ближе до дочерей, там подворачивалась подходящая избенка для купли, вполне по карману, если здесь продаст он свою в леспромхоз. Со всех сторон выходило, что прямой резон ему, одинокому и стареющему, перебраться. Но он медлил. Медлил еще два года и после того, как ушел на пенсию. Присмотренную им избенку продавали, находилась другая продавали и ее, и он, ругая себя, но и успокаиваясь, снова и снова застревал. Сойдя с трактора, взялся Савелий столярничать, попробовал себя в тонкой работе, которая ведома краснодеревщикам, и смастерил себе буфет на загляденье, не надо и фабричного: точно пойманный по размеру и рисунку, аккуратный, ладный, светящийся отшлифованной белой доской, игриво пестрящий, под хозяина, конопушками сучков, сверху с остекленными узкими дверцами, снизу с дверцами глухими, но изукрашенными по краям лепной змейкой. Смастерил и поставил его в чистой комнате в красном углу. Агафья, увидев красавец-буфет в первый раз, так и ахнула:

- Нет, парень, тебе в рай-ён надо, в рай-ён. - "Рай-ён" выговаривался у нее с таким почтением, точно указывалось прямо на райское обитание. - Об таких руках тебе тут делать нечего... - и несколько раз за вечер подходила погладить буфет, понежить руку.

Агафье Савелий заменил на новые все табуретки и лавки, вся изба пропахла сладким смоляным духом. Потом, не спрашивая, привез курятник. Агафья к той поре решила не знаться больше с курицами - возни и без них доставало. Но привез Савелий курятник - с широкой столешницей, на которой удобно вести стряпню, с узорной, радующей глаз решеткой, с длинным и узким корытцем, долбленным из березы, придерживаемым березовыми же красиво раскоряченными лапками, с двумя круглыми седалами внутри, одно выше, другое ниже, - ну и что? - ну и запросил у клохчущей от растерянности бабы курятник куриц, ну и завозились они опять, как при старом житье, ну и не вышло куриного облегчения.

Уезжал Савелий поздней осенью, когда сбило лист, индевели по уграм совсем по-зимнему заморозки и до колючей пустоты высветился воздух. Только что пробрили наконец дорогу по горе вместо старой, затопленной, а до того шесть лет водой и тайгой были отрезаны от мира. Савелий взял в леспромхозе бортовую машину, еще с вечера загрузил ее, оставив на ночь в своем дворе, и уже в темноте постучал Агафье, чтобы она зашла попрощаться.

А она и не знала, что он наизготовке, что осталась последняя ночь.

Ярко светила голая лампочка под потолком, освещая пустые углы, о нее с бешенством бились злые последние мухи. Изба была хорошо вытоплена и чисто прибрана в своей пустынности. Чай пили за кухонным столиком, вынесенным в прихожую, этому столику отказано было в переезде. На плите тягучею мирною песней посапывал чайник ветеранского, закопченного вида, тоже никуда не собиравшийся. К печке после приборки прислонены веник и совок, рядом горка дров, на полке справа от печи несколько туесов с каким-то припасом. Как в таежном зимовье перед уходом, чтобы следующий путник мог почувствовать гостеприимство.

Агафья угощалась карамелью, наваленной на столе, хрумкала и вздыхала, хрумкала и вздыхала. Савелий, оставив возле двери сапоги с коротко обрезанными голенищами, ходил в толстых шерстяных носках и в толстой же, навывпуск, старой вытертой рубашке, сшитой из шинельного сукна; лицо изжелта-красное, сквозь дряблость разогретое, беспокойное. Он подливал себе чаю и рассказывал о двух молодых учительницах, приходивших днем, которые будут жить в его избе. Одна показалась ему совсем ребенком, и, на износе своей жизни разучившись угадывать, где шестнадцать лет и где давадцать, он удивлялся:

- Ручки тоненькие, ножки тоненькие, личико вострое, как у зверушки... Конфорку с плиты подняла и чуть не всю головушку туды затолкала. Францужанка, ребятишек будет не по-нашему обучать. Я говорю: у меня печь жаркая, вы трубу не торопитесь закрывать, не дай Бог угорите. А вторая, посерьезней будет, поглаже... эта арихметику будет давать. "Вы, говорит, эта-то, говорит, - сколь раз на дню, ежели по зиме, печку топите?" - "Когда мороз, два раза топлю, а чуть отпустил мороз - одного раза хватит". Францужанка, из себя вся тоненькая, а голос ниче, голос с натягом, говорит: "Каковая, значит,

продолжительность топки?" - "Продолжитель-ность топки, отвечаю, до ломоты в кости". - "Нам леспромхоз, - они мне докладывают, должен бесплатно топливо доставлять... мы, значит, интересуемся, сколь кубометров заказывать..." - "Э-э, - говорю, - девоньки, у меня дров года на четыре наготовлено, вам эстолько и вполовину не сжегчи. То ли обзамужитесь, то ли ишо какой поворот. Вам леспромхоз свою обязанность не успеет оказать. Живите со спокойем".

Агафья смотрела на Савелия печально: он не был разговорчивым, и, если разговорился, да еще как-то не по-мужицки, с подробностями, стало быть, не по себе ему. Только-только начали привыкать к новому месту, только разобрались, что впереди, что позади, - снова срывайся и кочуй, снова вместо прямого хода жизни завал в сторону. Агафье этого ни за что бы больше не вынести. Но про Савелия Агафья считала, что ему надо переезжать. Из местных, из корневых, был он как-то не по-местному одинок и грустен. Мужики в деревне горазды драть горло и на баб, и на ребятишек, на скотину, на тяжелую лесную работу, на самих себя, но если бы таким же макаром, выбрасывая зло, хоть раз крикнул Савелий, кругом онемели бы от неожиданности.

- Там тебе климатней будет, - сказала и на этот раз Агафья.

- Везде хорошо, где нас нету.

- Это так, - согласилась Агафья, наблюдая, как Савелий разворачивает уже третью конфетку и оставляет их нетронутыми. - Во мне, парень, скажу я тебе, Криволицка по сю пору стоит. Здесь я не дома. И мало кто, кажется мне, дома. Я как эта... как русалка утопленная, брожу здесь и все кого-то зову... Зову и зову. А кого зову? Старую жисть? Не знаю. Че ее, поди-ка, звать? Не воротится. Зову кого-то, до кого охота дозваться. Когда бы знала я точно: не дозовусь - жисть давно бы уж опостылела.

- Там тебе климатней будет, - сказала и на этот раз Агафья.

- Везде хорошо, где нас нету.

- Это так, - согласилась Агафья, наблюдая, как Савелий разворачивает уже третью конфетку и оставляет их нетронутыми. - Во мне, парень, скажу я тебе, Криволицка по сю пору стоит. Здесь я не дома. И мало кто, кажется мне, дома. Я как эта... как русалка утопленная, брожу здесь и все кого-то зову... Зову и зову. А кого зову? Старую жисть? Не знаю. Че ее, поди-ка, звать? Не воротится. Зову кого-то, до кого охота дозваться. Когда бы знала я точно: не дозовусь - жисть давно бы уж опостылела.

Ни одному-то сердечному делу она не научилась. Не сумела и попрощаться с Савелием. Только и сказала обвисшим голосом, мелкими шажками отступая к порогу:

- Я русалкой-то бродить здесь буду, кого-нить ишо покличу.

Через два года из райцентра дошло известие, что Савелия уже нет в живых. В несколько месяцев его загрыз рак. Агафья решила: "На мягких, на покладистых людей и болезни накидываются легче. Они и для болезней слаще". И без жалости подумала о себе: "Ты-то вся из одной людской запусти, на тебя и там спросу нету".

Много спустя, уже когда умерла дочь и где-то торилась и для нее самой дорожка к отбытию, приснился ей сон, поразивший ее откровенным своим смыслом. Сон такой: у себя в избе сидит она на полу, неловко подвернув ноги на одну сторону и крелясь на другую, и сморит, сморит неотрывно перед собой, ничего не видя... Справа от нее лежит дочь, слева Савелий.

- Ты, мама, лежишь? - спрашивает дочь.

- Нет, сидю.

Чуть позже голос Савелия слева:

- Ты легла, Агафья?

- Ишо сидю.

Через полгода под самый Покров, укрывающий землю белым саваном, накрыли и Агафью в домовине белым полотном и снесли на погост, поставили над нею тяжелый листовничный крест. Скончалась она со спокойным лицом. Скончалась ночью в постели, а утром разгулялся ветер и громко, внахлест бил и бил ставнем по окну, пока не обратили внимания: что ж это хозяйка-то терпит? Стали окликать ее, а она уж далеко.

Изба осталась сиротой, наследников у Агафьи не оказалось. Зиму простояла она безжизненной - ни дымка, ни огонька, с закрытыми наглухо окнами, оцепеневшая, безуходная, холодная, скорбная. Снег завалил ее снизу и сверху, только ставнями и чернела она, уткнувшись в сует. Люди отводили от нее глаза и, избегая ненужных размышлений, торопились пройти мимо. Ходило над нею холодное солнце, выли метели, с грохотом проносились по улице лесовозы, звучали голоса ребятишек, возвращающихся из школы, - ни на что Агафьиная изба отозваться не могла, умершая безмогильно, наводящая на живых тяжелую тоску. Соседние избы невольно отжимались от нее, нахоженная по снегу тропка по переулку делала стыдливый отворот.

Где жизнь, туда и весна приходит раньше. Уже всю бежала капель, булькали по улицам ручьи, уже и канава в переулке вздыхала томно и нетерпеливо оседающим снегом, а Агафьиная изба по-прежнему коченела все в той же стылой неподвижности. Она и на избу перестала походить - так, строение, выпятившееся на глаза, неуместное, отягощенное собою, вызывающее неловкость.

Потом кто-то догадался открыть ставни. Всего-то и надо было - дать свет в окошки. И задышала изба, очнулась, натянулась вся, подставила солнцу маленькие ослепшие глаза, заслезилась, принимая тепло, и за два дня скинула с себя смертный вид.

- Господи! - крестились бабы, оборачиваясь на избу. - Будто Агафья воротилась.

В те годы леспромхоз был в силе, работники зарабатывали хорошо, и ни парни, ни девки из поселка не убегали. Летом в Агафьиной избе поселилась молодая семья Горчаковых с годовалым парнишкой, решившая жить самостоятельно, отдельно от родителей. Вася Горчаков, сутулый неразговорчивый парень с длинными, постоянно тревожными руками и с втянутой в плечи большой головой, был золотой работник в лесу, на трелевке, но не

лежали у него руки к чужой избе, которая требовала то доски на замену оторванной, то поправы завалинки, а то просто молотка. Дождь мочил в сенцах, непогода бухала чем-то на крыше; пол-огорода запустили сразу же, стайки, сарайки оказались вовсе без надобности, курятник, тот самый, от Савелия, выбросили. У молодых были свои вкусы, а от курятника пахло. С месяц пролежал он на боку под открытым небом, пока кто-то не пожалел и не прибрал. Стеша, Васина жена, мясистая и медлительная 18-летняя деваха, не нажившая еще привязанности к своей семье, какая-то отвлеченная, часто уходившая с ребенком ночевать к матери, и не пыталась наводить уют в этом временном и случайном жилье. Только покрасили полы, у Агафьи они были не крашены, Агафья по старинке скребла половицы косарем и натирала песочком. И все равно держался в избе какой-то древний, словно бы и не человеческий, пропитавший стены, острый даже в своей угаслости, мускусный запах, вызывающий у Стешы аллергию.

- Смертью, что ли, пахнет? - Постоянно морщилась она, напрягая большие открытые ноздри и вздрагивая чутко, по-животному, с пробегающей по всему телу дрожью.

Она и не заметила, не пытаясь привыкнуть к избе, что в сенцах перестало мочить. Вася заметил. "Затянуло чем-нибудь дыру, - решил он. Обошлось без меня". И забыл. Но однажды, уже осенью, когда Вася ночевал один, его разбудил среди ночи стук - будто в чьих-то руках молоток погуливает по крыше. Он не поленился, вышел - никого, в мозглом сыром рассвете, как в трясине, едва проступали очертания домов, стояла вязкая тишина. Приблизни-лось. Но ложился обратно в постель Вася с мыслью, что надо сегодня же, не откладывая, поговорить со Стешей и соглашаться на половину двухквартирного дома, который скоро достраивают, не ждать, как они собирались, следующего, получше.

Но и этот, первоочередной, сдали только к лету. Последние два месяца Стеша доживала у своей матери, Вася у своей. Не слепилось гнездо в Агафьиной избе - ругались, болел парнишка, Вася сломал ногу, притом совершенно по трезвому делу, направляясь к теще за молоком; Стеша давилась воздухом, не могла спать. Съехали. Въехали, не спросившись, и съехали, не поблагодарив, не прибравши за собой, как положено, хлопнув дверью... Вздохнула Агафьиная изба, прощаясь, - так тяжело и больно вздохнула, что заскрипели все ее венцы, вся ее изможденная плоть.

Следующие постояльцы прожили года три. Эти - пили. Пили зло, беспощадно и тихо. Неведомо где провели они первые свои жизни, каждый по отдельности, отвели, должно быть, вторые и третьи, и только после этого судьба столкнула их и направила сюда. На работу их здесь уже не брали, изредка нанимались они то картошку окучивать или копать, то наколотые дрова складывать в поленницы, в пожарных случаях, когда уходит сенокосная страда, зазывали их на гребь. Летом ходили за ягодой и продавали, зимой искали мелких поручений: воды с берега на чай принести, потому что из скважины вода в чае была невкусной, выбросать из стайки из-под коровы шевяки, отгрести снег. На ежедневное истребление зелья заработков от такой работы не могло хватать и в десятой доле - выручал большой пьющий поселок. Тихие, всегда страждущие, безымянные (за неразлучность звали их в насмешку Катя-Ваня), собачьим нюхом они чуяли, где собирается компания, наперечет знали каждого загулявшего, держащегося подальше от дома. Мужики из куража поиздеваются, но нальют, а потом командируют в магазин, и не однажды. На одни бутылки, засеянные на обширных леспромхозовских владениях,

выпадали безбедные недели. Летом они собирали их в лесу, на берегу, вокруг клуба, гаража и в особенности много вокруг нижнего склада, куда свозился с лесосек лес. Считалось за последний грех и позор работающему мужику сдавать порожнее стекло, подмигнет он Кате-Ване и ведет разгрести кладовку.

Чем не жизнь! - так и жили Катя с Ваней возле добрых людей, слыли за безвредных, чем-то навсегда испуганных, нуждающихся в сочувствии, доили с краешку, с трех-четырех грядок, Агафьин огород, разобрали у нее на дрова стайки и сенник, и все темнели и темнели изнутри их покорные лица, превращающиеся от постоянного жара в головешки, все мельче, запинистей становился шаг, когда, наваливаясь друг на друга, выкатывались они на улицу. Любое тягло требует отдыха, а это, которому подчинились они, не давало ни дня покоя. Долго такой жизни они выдержать не могли.

В ноябрьские праздники, всегда отличающиеся застольным изобилием, но и тем еще, что на них выпадали первые крепкие морозы, воротились Катя с Ваней в Агафьину избушку в беспамятстве и свалились на свои дерюжки. Глухой ночью кто-то из них взялся растапливать печку. Растапливал тоже без памяти, печная дверца потом оказалась распахнутой. Изба загорелась. Не над тем долго судачили затем в поселке, что загорелась, а над тем, что сама же и управилась с огнем. Полностью выгорела заборка, отделявшая кухню от прихожей, не уцелела и стоявшая возле нее деревянная кровать. Катю с Ваней нашли в сенцах, едва живых, долго не приходивших в себя от ожогов и хмеля. Они лежали кулями, вытянуто, будто кто волочил их. Из районной больницы они не вернулись.

С тех пор Агафьина изба пустовала. Для поселка начались другие времена - лес брать становилось все труднее, везли его издалека, заработки упали. Есть предел и Божьему, если выбирать его без меры. Одной зимой делали возле нижнего склада сплотку прямо на льду, переложили тяжелой лиственницы, и весь плот в тысячу с лишним кубометров ушел весной на дно. Это как знак был: осторожней! - и его не распознали. И стала год от года ужиматься в поселке жизнь: меньше давала тайга, безрыбней становилась распухшая, замершая в бестечье Ангара, все реже стучали топоры на новостройках. А потом и вовсе ахнула оземь взятая ненадежно жизнь и покалечилась так, как никогда еще не бывало.

Агафьина изба встречала и провожала зимы и лета, прокалялась под жгучей низовкой с севера стужею, стонала и обмирала до бездыханности и опять отеплялась солнышком. Заходили в ограду люди - изба стояла как на пупке, и видно от нее было на все четыре стороны света. Особенно хорошо был виден разлив воды в понизовьях - могучий, широко раздвинувший берега и какой-то захлебисто мерклый, без игры и радости. Тут, в Агафьиной ограде, было над чем подумать, отсюда могло показаться, что изнашивается весь мир таким он смотрелся усталым, такой вытершейся была даже и радость его. Здесь можно было и вволюшку повздыхать и столько здесь скопилось невыразимых вздыханий, что тучки на небе задерживались над этим местом и наполнились ими, унося с собою жатву людских сердец.

Если же кто из проходящих заглядывал в избу, то замечал, что изба прибрана, догляд за ней есть. Обугленный после пожара возле печки пол и закопченные стены обтерлись, точно в особую красу, в печальный цвет, гарь как будто даже поскоблена, головешки и

хлам от постояльцев вынесены, печка ничуть не пострадала, окна, как у всякого живого существа, смотрят изнутри. Дышится не вязко и не горкло, воздух не затвердел в сплошную, повторяющую контуры избы, фигуру. И в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют и, кажется, отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Как вы считаете, почему автор не вынес в название произведения имя героини?
2. Подумайте, что заставило В. Распутина после смерти героини «не поселить» в ее доме других людей.
3. Определите содержание понятий «жизнь» и «житие». Жизнь Агафьи, по-вашему, жизнь или житие?
4. С какой целью в ткань художественного произведения вводятся сны Агафьи? Дополняют ли они друг друга?
5. Что можно сказать об особенностях языка этого произведения? Чем они объясняются?
6. Как разрабатывается в произведении тема городской жизни? Что вы думаете об отношении к ней писателя?
7. Какие аспекты человеческих отношений интересуют автора? На какой стороне жизни сосредоточено внимание автора в данном произведении? Перечитайте фрагменты текста из середины и конца рассказа.

«Плохо мы слушаем свою душу, ее лад печален оттого лишь, что нет ничего целебнее печали, нет ничего слаще ее и сильнее, она вместе с терпением вскормила в нас необыкновенную выносливость».

«И в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют и, кажется, отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры».

Как вы оцениваете выводы писателя об особенностях национального характера?

Дополнительные вопросы

1. Если вы читали рассказ А. Солженицына «Матрёнин двор», сопоставьте образ Матрены с образом Агафьи. Как относятся писатели к своим героиням?
2. Прочитайте другие рассказы В. Распутина последних лет: «Нежданно-негаданно», «В ту же землю», «Женский разговор» (В ту же землю. М., 2001). Напишите рецензию на понравившееся вам произведение.

3. Познакомьтесь со «Словом» А. Солженицына, произнесенным 4 мая 2000 года при вручении премии его фонда В. Распутину («Новый мир», 2000, №5).

Владимир Маканин (1937)

Маканин Владимир Семенович родился в г. Орске, окончил механико-математический факультет МГУ, работал в Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского. Учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров при Институте кинематографии, работал редактором, вел семинар прозы в Литературном институте им. М. Горького.

В 1965 году напечатал первую повесть «Прямая линия», автор многочисленных рассказов, повестей, романов. Член Русского ПЕН-центра.

Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь».

В 1984 году был награжден орденом «Знак почета». В 1993 году удостоен Букеровской премии за повесть «Стол, покрытый сукном и с графином посередине». Отмечен премиями журналов «Новый мир» (1995), «Знамя» (1998, 2000), Пушкинской премией Фонда А. Тёпфера (1998). В 1999 году В. Маканин получил Государственную премию России.

Сайт писателя: <https://makanin.com>

Ключарев и Алимускин

1

Человек заметил вдруг, что чем более везет в жизни ему, тем менее везет некоему другому человеку, — заметил он это случайно и даже неожиданно. Человеку это не понравилось. Он не был такой уж отчужденный, чтобы праздновать праздник, когда за стеной надсадно плачут. А получалось именно так или почти так. И ничего переиначить и переменить он не мог, потому что не все можно переменить и переиначить. И тогда он стал привыкать.

Однажды он не выдержал и пришел к тому, к другому, человеку и сказал:

— Мне везет, а тебе не везет... Это меня угнетает. И мешает мне жить.

Тот, которому не везло, не понял. И не поверил.

— Ерунда, — ответил он. — Это вещи, не связанные между собой. Мне и впрямь не везет, но ты тут ни при чем.

— И все-таки меня это мучит.

— Ерунда... Не думай об этом. Живи спокойно.

Он ушел. И продолжал жить. И отчасти продолжал мучиться, потому что тому, другому человеку делалось все хуже. А ему везло. Ему всегда светило солнце, улыбались женщины, попадались покладистые начальники, и в семье тоже была тишь и гладь. И тогда он затеял мысленный разговор с Богом.

— Это несправедливо, — сказал он. — Получается, что счастье одному человеку выпадает за счет несчастья другого.

А Бог спросил:

— Почему же несправедливо?

— Потому что жестоко.

Бог подумал-подумал, потом вздохнул:

— Счастья мало.

— Мало?

— Ну да... Попробуй-ка одним одеялом укрыть восемь человек. Много ли достанется каждому? — И Бог улетел. Бог исчез и не дал ответа или же дал такой ответ, который ничего не значит. Он как бы отшутился.

И тогда человек перестал думать об этом — в конце концов, сколько можно думать об одном и том же? В конце концов, это утомляет. Вот, собственно, и вся история. Но тут важны подробности... Ключарев был научный сотрудник, кажется, математик — да, именно математик. Семья у него была обычная. И квартира обычная. И жизнь тоже, в общем, была вполне обычная — чередование светлых и темных полос приводило к некой срединности и сумме, которую и называют словами «обычная жизнь».

Из этой «обычности» Ключарева выделяло, пожалуй, то, что он был несколько манерно шутлив. Однажды по дороге с работы домой он нашел на тропе, в снегу, кошелек с десятью, что ли, рублями. Он тут же сказал самому себе:

— Поздравляю. Ради этого стоило жить.

Улыбаясь, Ключарев здесь же написал обычное объявление — так, мол, и так, кошелек найден, потерявший — приди. И дописал внизу свой адрес. Бумажку эту он нанизал на гвоздик доски объявлений ближайшего дома. Была зима — чтобы написать и нанизать бумажку на гвоздик, ему пришлось поставить портфель в снег. Нанизанный листочек трепался на ветру, но держался крепко. А в том, что ни сегодня, ни завтра по объявлению никто не пришел, удивительного не было — куда удивительнее было то, что на следующий день начальник отдела, брызга, зажимщик и явный недоброжелатель, предложил вдруг Ключареву поместить статью в крупный научный журнал. При этом в соавторы начальник не напрашивался. Именно поэтому Ключарев, вернувшись домой, уже с порога сказал жене:

— У меня началась полоса везения.

А жена Ключарева была женщина тихая и скромная, и потому везенья, какого бы то ни было, она стеснялась и даже пугалась. Она, например, очень переживала, когда никто не явился за кошельком.

Вечером, чуть позже, жена сказала Ключареву, что у нее есть новость. Она о ней забыла, но теперь вспомнила.

— А-а, — засмеялся Ключарев, — звонила твоя подруга?

— Да.

— Правда, я смышленный? — Это был шуточный выпад. Выпад был нацелен в некую женщину, с которой жена когда-то работала и дружила и которая до сих пор по инерции считалась подругой жены. Уже давным-давно они работали в разных местах, и уже давным-давно жена ее не видела. Однако время от времени женщины перезванивались по телефону. Они говорили о детях. Или о покупках. Они перезванивались все реже и реже. Под влиянием времени этот остаток женской дружбы скоро должен был совсем сойти на нет и умереть, но до поры он жил, скрученный в телефонном шнуре.

Жена замолчала — ей было досадно, что дружба с подругой сходит на нет и что над их телефонным общением уже подсмеивается муж. Чтобы смягчить, Ключарев переспросил:

— Что же за новость?

И тогда жена сказала, что у Алимущкина на работе неприятности. И вообще Алимущкин погибает, так говорят...

— Алимущкин? — Ключарев никак не мог вспомнить, кто это такой. Он только пожал плечами. Он, в общем, уже привык, что его хлопотливая жена готова заботиться о ком угодно. Но потом вспомнил этого человека. Он видел его дважды. — Алимущкин — это тот, который был такой остроумный и блистательный?

— Тот самый, — сказала жена.

И тут же она добавила: может быть, Ключарев как-нибудь сходит к нему домой, навестит, вот она записала специально его адрес. Голос жены был вполне серьезен. И даже трогателен. Ключарев машинально взял бумажку с адресом и не сдержался, фыркнул. Женщины — прелесть. Только они могли додуматься до такого. Прийти к малознакомому типу и сказать: «Привет, родной, говорят, ты погибаешь?..»

— Но с какой стати я пойду его навещать? Я видел его два раза в жизни.

— А я видела только однажды.

Что и говорить, это был веский довод.

— Согласись, — продолжала атаку жена, — лучше и удобнее, если его навестит мужчина.

— Лучше или хуже, а я не пойду. Некогда.

Ссоры не случилось. Ключаревы были дружной парой.

Жена даже признала, что хватила, пожалуй, лишнего, посылая Ключарева бог знает куда и зачем. И они заговорили о сыне-девятикласснике: сын делал большие успехи в спорте, а точнее, в спортивной гимнастике.

2

Ключарев забыл бы о странной просьбе жены, но этим же вечером случился еще один телефонный разговор. На этот раз сам Ключарев звонил своему приятелю по имени Павел.

Как это часто бывает, фраза из одного разговора переходит и кочует в другой. Жизнь фразы коротка, и похоже, что фраза тоже хочет пожить подольше. И вышло так, что вместо приветствия Ключарев шутливо спросил своего приятеля:

— Ну как жизнь — не погибаешь?

Павел ответил — нет, не погибаю, с чего ты взял?

Ключарев засмеялся, пришлось пояснить, что это шутка, это просто так, модное слово. У них есть, к примеру, некий Алимускин, который погибает.

— Алимускин? — переспросил Павел. — А я с ним вместе работаю.

— Да ну? (Тесен мир.)

— В смежных комнатах трудимся. — И Павел добавил, что Алимускин мужик неплохой, но в каком-то загоне. Что-то с ним стряслось. Совершенно не может работать.

— Почему?

— А шут его знает. Он молчун. Я, честно говоря, молчунов обхожу стороной.

Тут они вполне сошлись, Ключарев тоже не любил молчунов.

— Уж лучше пьяницы, — сказал Ключарев. И тут же вновь вспомнил про Алимускина:

— Но, послушай, какой же он молчун, он же был блистательный малый! Он же был так остроумен!..

Павел ответил на это вздохом. А потом ответил глубокой и вечной истиной:

— Был, да сплыл.

В этот же вечер, уже перед сном, Ключарев вышел побродить возле дома — он называл это «проветриться». Он ходил по утоптаным снежным тропинкам, а в голове вертелось: «Был, да сплыл». Возникла вдруг странная мысль: а что, если ему стало везти за счет этого Алимускина? Он вспомнил о предложении начальника написать статью. Вспомнил о кошельке. И усмехнулся. Мысль, разумеется, была глуповатая. Мысль была секундная и, в общем, игрушечная. Стоял мороз. Над головой были звезды. Он шел, глядя вверх, и думал, что звезд полным-полно, и небо огромно, и звезды эти видели и перевидели столько человеческих удач и неудач, что давным-давно отупели и застыли в своем равнодушии. Им, звездам, наплевать. И не станут они вмешиваться и посылать кому-то удачу, а кому-то неудачу.

* * *

Однако и на следующий день выбросить из головы эту мысль Ключареву не удалось, и вот почему. Он был в гостях у Коли Крымова. Уже в прихожей, снимая пальто, он слышал, как там и сям вспархивали такие вот фразы: «Как? Вы не слышали о новой любви Коли Крымова?» — или так: «Сейчас придет новая любовь Коли Крымова», — или даже так, с оттенком балаганного и шутливого окрика: «Поставьте рюмки. Не трожьте бутылку и потерпите. С минуты на минуту должна явиться новая любовь Коли Крымова», — такие

вот носились в воздухе шуточки. Мужчины и женщины были лет тридцати пяти, все они считали, что самый лучший способ общаться и веселиться — это подтрунивать над хозяином. Коля Крымов не возражал, ему даже льстило. И вот она пришла. Фамилия ее была Алимущкина. Она была очень красивая женщина.

Ключарев среди общего шума и гама застолья спросил у Коли — не собирается ли тот жениться? Они были друзьями. Коля Крымов (а Алимущкину в это время на перебой угощали, и какой-то поэт надписывал ей свою книгу стихов) ответил: да, собираюсь. Коля Крымов любил четкие формулировки. Он сказал, что лишний раз завести романчик — это похоже на разврат. А лишний раз жениться — это похоже на поиск... Как раз выяснилось, что один из гостей перебрал спиртного, и Коля Крымов отправился проводить его и пристроить в такси. Так случился короткий разговор Ключарева с Алимущкиной.

Они сидели близко, и меж ними был пустой стул Коли Крымова. Ключарев заговорил с ней от нечего делать. Никаких таких мыслей или мыслишек у него не было. Он спросил:

— Ну что ваш Алимущкин?

— Да ну его, — ответила красавица, — твердит одно и то же: погибаю, погибаю...

— Ноет?

— Ныть не ноет, но молчит часами.

Алимущкина была как-то дерзко красива. В ней было нечто вызывающее, таких красивых женщин Ключарев не знал никогда, — он видел их, правда, иногда на улице, и они всегда были с кем-то, кто их сопровождал. А иногда сопровождающих было двое.

Получилась пауза, и Алимущкина заговорила снова. Ей это ничего не стоило. Язычок у нее был хоть куда, и глядела она смело.

— Сказать вам правду — я разлюбила его. Живу у подруги. Живу сама по себе. Хожу по гостям и развлекаюсь.

Ключарев увидел близко ее глаза. Он спросил:

— А может быть, сначала вы стали жить у подруги и развлекаться, а уже потом он стал погибать?

— Ну что вы! — сказала она. — Как раз наоборот.

И было видно, что она говорит правду. Больше они не разговаривали, и теперь Алимущкина говорила с соседом слева. А Ключарев опять вспомнил ту свою мысль. Он думал так: если бы мне и впрямь везло за счет Алимущкина, его жена сегодня бы положила на меня глаз. Случай удобный. Но она положила глаз на Колю Крымова. К сожалению.

Он ушел с вечеринки несколько подвыпившим и несколько потерянным. Настроение было ни то ни се. Он думал о том, что скажет теперь жене — он ведь не предупредил ее, что задержится. Он вытащил бумажку с адресом Алимущкина — это было близко — и...

поехал к нему, чтобы иметь хоть какое-то оправдание. Алимушкин спал. Было начало ночи. Приезд, разумеется, был странен, и Ключарев не знал, о чем говорить.

— Спишь?.. А люди говорят — погибаешь, — сказал он как бы даже с укором.

Алимушкин молчал, он стоял совершенно заспанный. Он зевнул. Ключарев почувствовал некоторую неловкость и перешел на «вы»:

— Вы меня, надеюсь, помните. Мы ведь знакомы. В библиотеке виделись. И однажды в компании сидели. Алимушкин кивнул:

— Я вспомнил.

Он был совсем сонный. Спohватившись, он добавил:

— Может, чайку?

— Нет. Я на миг. — Ключарев ответил, улыбаясь. Он улыбался как можно дружелюбнее.

— Какой там чай. Я и без чая полон по самые уши.

После этого Ключарев ушел.

Когда дома жена стала упрекать, что от него слишком уж несет спиртным, Ключарев рассердился:

— Ну, знаешь! Разве не ты сама меня посылала — разузнай да разузнай?.. Дался мне этот Алимушкин!.. Из-за него я два часа торчал у Коли Крымова (Ключарев более или менее гибко расположил факты), а потом еще пришлось ехать к Алимушкину — малый оказался жив и здоров. В пол-лица румянец. И спит как сурок.

Ключарев шел по коридору, он отключился от работы на минуту, или на две, или даже на десять минут; он считал, что от этого свежеют мозги, и потому шел легким и звонким шагом. Он проходил мимо дверей большого и хорошо обставленного кабинета — и как раз у дверей стояли сам и зам. Директор НИИ держал шляпу в руках. Зам был чем-то обозлен и что-то доказывал. А директор посмеивался.

Зам случайно скользнул взглядом по проходящему мимо. И сказал:

— Вот вам Ключарев — и способный, и трудолюбивый, и кандидат наук. А вы все еще держите его в научных сотрудниках.

— Может, это вы его держите, — парировал директор. Он посмеивался.

— Я?

— Конечно, вы, — посмеивался директор.

Ключарев встал в шаге от них. Он не навязывался. Он, в общем, шел своим путем. Однако уйти или пройти мимо, когда о тебе говорят вслух и на тебя смотрят, было как-то неудобно.

— Не надо спорить, — сказал он им сдержанно и не громко. — Это я сам себя держу.

Те заулыбались. Им понравилось, что он не навязывается. Директор сказал:

— Я спешу. Ей-богу, я очень спешу, — и пошел к выходу.

Зам догонял его и говорил:

— Ключарева давно пора сделать начальником отдела.

— Ну и сделайте, — отвечал директор.

Часом позже — и это никак не было связано с разговором директора и его зама, это было совсем с другой стороны — Ключарев узнал, что его статья принята журналом и вскоре будет опубликована. А дома вечером жена вновь сказала: «Звонила подруга. Есть новость», — и новость эта состояла в том, что беднягу Алимущкина бросила жена. Она совсем ушла от него. Разменяла квартиру. Воспользовавшись тем, что Алимущкин погибает («Он совершенно безволен! Он все время как заспанный!»), красавица выменяла себе милую однокомнатную квартирку, а полуспящего Алимущкина загнала в какую-то сырую комнатуху. Там он и живет. Там он и погибает, сказала жена, и Ключарев не мог не отметить, что его удачи и неудачи Алимущкина по-прежнему идут бок о бок.

На следующий вечер по телефону пришла еще новость: беда не ходит одна — Алимущкина выгнали с работы. Он что-то там напутал или что-то сделал не так и в придачу выбросил важные бумаги в корзинку для мусора. Они вполне могли отдать его под суд, но пожалели. Они его просто выгнали. Дело было, по-видимому, не в важных бумагах и не в корзинке для мусора, — вялость и бездеятельность Алимущкина осточертели уже всем и каждому, а капля переполнила чашу.

— Чем же он живет? — спросил Ключарев. Он не имел в виду духовный мир Алимущкина. Он имел в виду — на какие деньги.

— Не знаю, — ответила жена. И именно потому, что не знала, она попросила Ключарева зайти к Алимущкину и еще раз проведать. Зайди, сказала, ну что тебе стоит. И напонила: когда-то давно они вместе видели Алимущкина в какой-то компании, и Алимущкин был самый живой среди всех, он был такой остроумный и блестящий.

Ключарев спросил у жены:

— А если бы он не был остроумный и блестящий, ты бы его сейчас — когда он в беде — не жалела?

— Не знаю.

Ключарев тут же отметил это неуверенное «не знаю» и не без удовольствия сказал:

— А ведь это плохо, моя радость. Ты жалеешь избранных.

Однако женским чутьем она и тут нашла выход. Она ответила:

— Не знаю... Если бы он не был остроумным и блестящим, он был бы каким-то еще. Например, тихим и сентиментальным — такого человека тоже жалко.

И уже утром зам предложил ему стать начальником отдела. Зам предложил это просто и без всяких условий, а Ключарев отказался — он ответил, что не хочет спихивать начальника, с которым плохо ли, хорошо ли, однако много лет работал вместе. Это было правдой. Однако еще большей правдой было то, что Ключарев не хотел сейчас суетиться — он и без того чувствовал, что он в полосе везения и что блага от него не уйдут. У него было ясное, хотя и необъяснимое ощущение, что кто-то свыше крепко и уверенно натянул вожжи и правит вместо него, Ключарева, и, уж разумеется, этот, который свыше, промаху не даст, он свое дело знает.

— Странно, — переспросил зам, — значит, не хотите быть начальником отдела? Бойтесь ответственности?

— Да, без хлопот легче. Я и так много работаю.

— Мы это знаем.

— Я много работаю, а большего пока не хочу. — Ключарев позволил себе отвечать резко. Он словно пробовал и проверял на прочность свою удачу. В конце концов, он завтра может сказать: а вот теперь хочу. Дозрел. Согласен.

Он пришел к Алимущкину. Первое, что он спросил, — как это, друг милый, ты попал в такую конуру? Зачем соглашался разменивать квартиру?.. Алимущкин не ответил. Выглядел Алимущкин плохо. Он был вял и бездеятелен и явно нездоров. Он промямлил, взглядываясь в лицо Ключарева:

— Я... вас не помню.

Потом отвернулся и стал смотреть куда-то в сторону. В точку.

— Помнишь не помнишь — какая разница. Как ты согласился жить в такой конуре?

Алимущкин не ответил. Мозг его работал с некоторым запозданием. Он только-только сообразил и припомнил лицо гостя:

— Вы... Ключарев?

— Да.

Ключарев тем временем огляделся. Он, в общем, знал, что вялый Алимущкин разменялся не лучшим образом, но он и думать не думал, что живого человека могут запихнуть в такую дыру. Комнатушка была мала, ободрана, вся в потеках и без мебели. Поржавевшая кровать да стол. Да один стул. В соседней комнате, как выяснилось, жил одинокий старик, у старика была такая же жуткая комната. Старик был болен, необщителен и глух как пень.

— Он и на кухне со мной не здоровается, — вялым голосом сообщил Алимущкин. — Молчит.

— Ты тоже не слишком говорлив.

— Да...

Пауза получилась долгая и тягостная.

— Так и живешь?

Он кивнул — да...

— Куда-нибудь ходишь?

— Никуда.

— Но, прости, на какие деньги ты ешь и пьешь?

— Остались какие-то рубли. Я их доедаю.

— А дальше?

Пауза получилась еще более долгая. Наконец Алимущкин вместо ответа тихо сказал:

— Я, — и он посмотрел на Ключарева (не станет ли тот смеяться), — я шахматами занимаюсь...

Ключарев не засмеялся, он сказал:

— Это хорошо.

— Вот. — Алимущкин показал глазами на маленькие шахматы. Доска была потертая. Фигурки были расставлены. — Я когда-то играл. В детстве...

— А с кем играешь?

— Ни с кем. Я так... Сам с собой. Анализирую.

Ключарев предложил сыграть, говорить было не о чем. Алимущкин играл очень слабо. Ключарев сыграл с ним несколько партий и ушел. Настроение было паршивое: Ключареву было бы легче, если б Алимущкин играл хотя бы средне.

3

Случилась там и такая минута — это была минута особенная. В одну из тягостных пауз Ключарев подумал: как же это так вышло, что жизнь человеческая пошла под откос ни с того ни с сего?.. Ключарев был неглуп и понимал, что случившееся с одним может случиться и с другим. Люди именно так и рождаются. Люди именно так и умирают... Он спросил Алимущкина:

— Скажи, как с тобой все это стряслось?

Алимушкин молчал, он не совсем понимал, о чем речь. Но потом постарался понять (на лице его было заметно усилие) и ответил Ключареву: нет, ничего особенного не случилось и не произошло, почувствовал, что погибаю, вот и все.

— Это началось, когда ушла жена?

— Нет... Раньше.

— А-а, — как бы оживился Ключарев, — это началось у тебя с неприятностей на работе.

— Нет...

— С чего же началось?

— Не помню.

Ключарев проявил нетерпение. Несколько раздраженно он заговорил:

— Но не может же все рушиться ни с того ни с сего. Вспомни. Напряги память. Это и мне важно. Это и всякому важно — с чего началось?

Алимушкин потер лоб. Поморщился:

— Нет... не помню.

Пора было уходить, потому что пауза теперь шла за паузой. Ключарев искал там и сям взглядом — чайник был. Но в баночке рядом было так мало заварки, что о чае он не заикнулся. Вот тут он и предложил Алимушкину сыграть в шахматы. Ключарев легко выиграл раз, другой и третий. И поднялся, чтоб уйти.

— Пока...

Алимушкин тупо смотрел перед собой. Потом вяло потянулся за ручкой — он хотел записать последнюю партию и поискать свои ошибки.

— Говорят, это полезно, — промямлил он.

Он именно так и промямлил: «Говорят, это полезно», — и эти слова, подчеркивая его общую куда большую бесполезность и пустоту, повисли в ушах у Ключарева. Слова были неотвязны. И потому, когда Ключарев пришел домой, он решил не говорить жене правды. Это удалось без труда, потому что жена была занята сыном и дочкой — она вправляла детям мозги за какие-то прегрешения. Ключарев сказал как бы между прочим:

— Был у Алимушкина. Ты знаешь — он совсем не так плох. Разговорчив. И совершенно спокоен.

— Да?

— Он решил всерьез заняться шахматами. Чуть ли не посвятить себя им.

— Слава богу, я за него рада.

— Скоро мы услышим о гроссмейстере Алимускине.

Когда тебя слушают непридирчиво, говорить легко. И Ключарев сказал еще, на всякий случай не без торжественности в голосе:

— Уважаю людей, которые начинают жить сначала.

Везенье продолжалось, и теперь оно напоминало вора наоборот. Антивора. Ты прикрываешь левый карман, а оно сует тебе в правый: «Бери, дорогой, не жалко; бери, этот час твой». На работе все охотно заговаривали и охотно улыбались Ключареву. О нем говорили — перспективный человек. И зам улыбался. Зам сказал, так, мол, и так: повысим мы вам, Ключарев, оклад на восемьдесят рублей.

— Спасибо.

— Я сам за вас ходатайствовал. Директор поддержал. Для начала повышаем оклад на восемьдесят рублей.

— Спасибо.

— Мы ценим хороших сотрудников. Тем более скромных.

И зам добавил (доверительно — не всякому так скажет):

— Некоторые люди расталкивают других локтями. Интригуют. Лезут по головам, чтобы сесть в мягкое кресло. Я не люблю таких.

Получасом позже позвонила Алимускина, она каким-то образом узнала служебный телефон и сразу попала на Ключарева. Позже она сказала, что списала телефон потихоньку у Коли Крымова. Ей почему-то казалось, что это нужно сделать потихоньку.

Она поздоровалась и пригласила Ключарева в гости. Она не очень церемонилась, потому что она была красивая женщина и знала это. Она не слишком подбирала фразы, не смущалась:

— В тот вечер, — и она сделала паузу, это была характерная пауза современной женщины, — вы мне приглянулись.

— Да ну?

— Честное слово. Приходите, пожалуйста, ко мне в гости. Сегодня.

Он пришел и вовсе не обалдел от ее голоса и от ее глаз: он не любил красивых женщин, он их никогда не знал. Так ему было легче и удобнее жить. Он сидел в кресле и рассматривал ее квартиру — квартирка была миленькая. Мебель тоже была чудо. Ключарев спросил:

— Разве вы не выходите замуж за Колю Крымова?

Этот вопрос значил: «Вы меня позвали — это ваша прихоть или же маленькая тайна за спиной Коли Крымова, и вообще, что это за такая игра, которую мы начали?» Но Алимушкина ответила просто:

— Нет. Замуж я не выхожу.

— Почему?

— Он мне не нравится. Он никакой. Он никчемный.

— Сделайте его таким, каким надо.

— Не хочу тратить силы. Зачем?

Ключарев не начал милый и шуточный разговор, который привел бы куда надо и куда прийти ему, в общем, хотелось. Вместо всей этой ясности Ключарев повел себя неясно. Он повел себя незапрограммированно. Он вдруг рассердился на Алимушкину — сказал ей довольно грубо, что Коля Крымов очень даже «кчемный» человек. И что брошенный Алимушкин тоже «кчемный» человек. И что ей надо выходить замуж, а не дурить самой же себе голову. Он говорил и сам понимал, что говорит глупости и чепуху. Как-никак она была женщина, и у нее было право выбора.

В портфеле, который он не открыл, лежали две бутылки вина. Он принес их специально. И знал, зачем принес. Но на него нашло и накатило, и вот он говорил теперь глупости. Он талдычил ей одно и то же — выходите замуж. И она была абсолютно права, когда сказала (он уже уходил и стоял в дверях):

— Какой вы скучный — помереть с вами можно.

От слишком большого везенья жена Ключарева тоже была несколько не в себе. Она испугалась. В ней это выразалось в затаенном ожидании каких-то бед или неприятностей, которые вот-вот могут нагрянуть. Она (не называя, словом, истинной причины) решила вызвать свою мать — стало быть, тещу Ключарева, — пусть, дескать, погостит. Пусть поживет у нас. Вдруг кто-то заболеет. Или еще что-то случится, проговорила она.

— Но почему должно что-то случиться? — засмеялся Ключарев.

Ключарев смеялся, он опять был прежним, веселым и шуточным. Ему было смешно и забавно, когда он вспоминал, как он вел себя и что говорил у красивой женщины, пригласившей его домой. «Эх, ты!» — подсмеивался он. Он вспоминал ее щеки и губы, и по позвоночнику полз сладкий холод.

Жена позвонила ему на работу (со своей работы):

— Ты слушаешь? Только что звонила моя подруга. Опять об Алимушкине.

— Погибает?

— Перестань дурачиться.

— Что-то очень долго он погибает — мне уже иногда кажется, что он бессмертный.

— Перестань... — И жена заговорила в трубку шепотом. Она смутно чего-то побаивалась и потому шептала мужу: — Милый, будь осторожнее. — И еще шептала: — Милый, не говори о людях небрежно, милый, если бы ты хоть чуточку больше думал о людях, — я знаю, ты добр и искренен, но если бы ты еще думал о людях... — Так она шептала. Кончилось это просьбой — еще раз навестить беднягу Алимущкина, такая вот вновь возникла у нее мысль.

А у Ключарева возникла совсем другая мысль — как бы это заткнуть рот подруге жены: чего она без конца треплется, чего она лезет?..

— Привет, — сказал Ключарев. После работы он (так уж и быть) пришел к Алимущкину, но на приветствие никто не ответил. Ключарев вошел в комнату — и лицо у него вытянулось. Лицо у него приняло выражение, соответствующее беде, потому что Алимущкин лежал в постели. И потому что рядом с ним белым пятном стоял человек. Врач.

— Не разговаривайте с ним, — сказал врач. — Он не может разговаривать. У него инсульт.

Врач пояснил — инсульт, или «удар», не из самых сильных, но все же это инсульт. Он сказал, что нужен покой. Нужна тишина. Нужен уход.

— Нет-нет, — прикрикнул врач, — вы, Алимущкин, молчите! Вы уж не разговаривайте. Все равно не получится.

Ключарев спросил:

— Отнялась речь?

— Временно.

— И передвигаться не может?

— По стеночке до уборной он доберется, но никак не дальше.

Ключарев подошел к Алимущкину ближе, он шел и осторожно ставил ноги, потому что по полу сновали тараканы. В комнате было мрачно. Алимущкин улыбнулся — улыбка у него была половинчатая, на одну сторону, мышцы лица на другой стороне бездействовали... Ключарев подморгнул: привет, эх тебя угораздило. Алимущкин протянул ему руку. Ключарев пожал.

Врач был, вероятно, из «скорой помощи». Он рылся в бумагах на столе. Потом сказал:

— Помогите-ка мне. Вы ведь его приятель?

— Да.

— Здесь, в этих бумагах, должен быть адрес его матери.

— Матери? — удивился Ключарев.

— Должен же за ним кто-то ухаживать.

— А больница — почему не в больницу?

— Больница ничем особым ему не поможет. Да и транспортировать его в таком состоянии бесполезно.

Ключарев кивнул: понятно. Как и все люди, Ключарев полагал, что с врачами не спорят. Он переспросил:

— Значит, вы вызовете сюда его мать?

— Не я. Вы. — И врач, словно он тоже считал, что Ключарев виновен перед беднягой своими удачами, сурово посмотрел на него. Так Ключареву казалось. Хотя это был обычный взгляд загнанного и задержанного за сутки врача. — Вы вызовете. А мне надо идти. Я дважды уже присылал сюда сиделку. Сейчас она дежурит у более тяжелого.

Ключарев кивнул. Он нашел адрес и отослал многословную телеграмму в Рязанскую область. Почта, на счастье, оказалась в двух шагах, и никакой такой очереди у окошка не было. Ключарев отметил с горькой усмешкой — везет, мол, этому Алимускину.

Когда Ключарев вернулся с почты, врача не было. Алимускин извинился за возникшие хлопоты, извинился жестом руки: прости, дескать, пришлось тебе похлопотать. Жестом же он предложил: давай, мол, в шахматы, если не торопишься. Алимускин сам дотянулся до них рукой, шахматы стояли у изголовья. Ключарев почти не глядел на доску. Он передвигал фигуры и глядел на пол, где бегали лакированные тараканы.

Сразу же после Алимускина Ключарев зашел к подруге жены — он ее отыскал. Адрес был записан на листочке: Малая Пироговская, 9, кв. 27. Этот адрес Ключарев нашел в записной книжке жены. А записную книжку он потихоньку выудил у жены в сумочке... Теперь он пришел и назвал себя: здравствуйте, я Ключарев. Вы ведь дружны с моей женой много лет — верно? — а с вами мы, как ни странно, незнакомы.

Такой у Ключарева был тон, почти дружеский. На самом же деле он был сильно раздражен, и это вот-вот должно было всплыть на поверхность. Пока еще было начало разговора.

— Очень приятно, — сказала подруга жены. Она была полная, даже пышная медлительная женщина. Ключарев подумал, что ей только и сидеть у телефона сутками напролет. С такими формами и с таким задом. Это он уже начал раздражаться.

— Извините меня, но я буду с вами резок. Мне надоела ваша телефонная суэта.

— Что? — Она не понимала. Она была медлительна.

Ключарев, стараясь сдерживать себя, пояснил:

— Прекратите звонить моей жене насчет этого несчастного Алимущкина. Перестаньте ее нервировать и дергать. Имейте совесть. Имейте снисхождение к обычной и в меру счастливой семье, которую незачем перегружать всеми бедами и всеми горестями, какие только есть вокруг.

— Но я не думала, что эти звонки...

— А думать нелишне. Это так просто понять — вы же не даете ей жить спокойно.

Подруга жены молчала, она растерялась. Ключарев еще раз извинился за резкость. Потом спросил:

— Вы к нему заходите, к Алимущкину?

— Очень редко.

— Вот и продолжайте его иногда навещать. А нас оставьте в покое — ясно?

Подруга жены была заметно обижена. Медлительная и толстая женщина, она обожала говорить по телефону, а теперь у нее отнимали такой повод для звонков. К Алимущкину она была вполне равнодушна, но ведь должны же люди, и тем более подруги, о чем-то говорить, и должны же они общаться.

Ключарев объяснил ей еще раз:

— Поймите, из-за ваших звонков жизнь моей жене не в жизнь и радость не в радость. Человек хочет жить и радоваться жизни, а вы мешаете. У нас и без Алимущкина полным-полно друзей и родственников, которые тоже болеют...

Он все сказал. И теперь ждал ответа. Наконец та, поджав губы, выговорила:

— Больше я не буду звонить.

— Э, нет. Так дело не делается.

— А как же?

— Вы позвоните ей еще раз и успокойте. Сочините ей что-нибудь приятное. Скажите, что Алимущкин выздоровел, что он бодр и весел. Что все хорошо. И что Алимущкин уезжает... ну хоть на Мадагаскар в длительную командировку.

— На Мадагаскар?

— Ну например. Чтобы закрыть, так сказать, тему. Чтобы моя жена больше о нем у вас не спрашивала, — вы меня поняли?

— Да.

— Я уйду, а вы ей позвоните, — вы меня действительно поняли?

— Да.

— Всего вам хорошего.

Он ушел. На улице сыпал снег. Снег сыпал теперь и утром и вечером.

Когда Ключарев пришел к нему на другой день после работы, Алимускин уже лежал пластом — без движения и без языка. Увидев Ключарева, Алимускин начал хватать ртом воздух — он хотел сказать что-то приветственное, а улыбнуться не мог. Теперь и полуулыбка у него не получалась. «Удар у него опять был. Врач сказал, сильный», — лепетала суетившаяся возле Алимускина тихая рязанская старушка. Это была его мать, прибывшая по телеграмме. Ключарев утешал ее. И еще он дал ей некоторую сумму денег на всякие там расходы. Старушка закивала головой, как болванчик, и заплакала: «Спаси тебя бог, милый». Ключарев ушел, а она осталась сидеть возле сына. На голове у нее был белый платок в горошек. Старушка сидела как застывшая. Она не понимала, что же это за беда и что же это за горе такое, если ее сын, такой сильный и такой веселый и «уже выучившийся на инженера», лежит теперь пластом и не может сказать ни слова.

Ключарев вовсе не хотел избавить себя от того, что бы думать и помнить об Алимускине. Он хотел избавить от этого жену. Она была слишком уж нервной и слишком чуткой. Ключарев решил, что болезнь затяжная, и решил, что будет время от времени Алимускина навещать, а жене не скажет.

Он не сказал, и его не спросили, потому что в доме были шум, и гам, и суета, и сторонние разговоры: приехала теща. Она прибыла довольно торжественно. Был подарок жене Ключарева. Был подарок сыну Ключарева. Был, разумеется, подарок и дочери Ключарева. Подарки были не очень дорогие, но выбранные с любовью.

А на другой день лукавить с женой нужды уже не было. Потому что она сама сказала:

— Прости, что я тебе надоедала и посылала к нему...

— К кому? — поинтересовался Ключарев.

— К Алимускину...

И жена радостно сообщила, что звонила подруга и что наконец-то новости хорошие — у Алимускина все наладилось. Алимускин опять бодр. Алимускин опять остроумен... Жена стала рассказывать подробности. Эти подробности были любопытны и даже в некотором роде изысканны, потому что подруга — любительница телефона — постаралась на совесть. Она вложила душу, и старание, и даже талант в последний всплеск темы, которую приходилось закрыть. И теперь жена Ключарева эти подробности пересказывала. Она была радостна. Она улыбалась. Она говорила и говорила. А Ключарев слушал. Он слушал вполне заинтересованно. И даже переспросил:

— Куда, ты сказала, он отбывает в командировку?

— На Мадагаскар...

И теперь Ключаревы заговорили о другом, тем более что тема была и волнующая, и куда более близкая. Сын-девятиклассник на соревнованиях взял первое место почти на всех снарядах. На перекладине он получил девять и семь — удивительный результат для юноши. Им заинтересовались известные тренеры. Молодого Дениса Ключарева собирались послать на общесоюзные соревнования.

— Молодец, сын! — так сказал Ключарев.

Жена конечно же восторгов не проявила, более того, в глазах ее мелькнул знакомый Ключареву испуг — как бы чего не случилось? Перекладина — снаряд опасный. Но сын тут же вмешался в разговор и успокоил ее: не робей, мама, зачем мне, мамочка, срываться с перекладины, у меня же за это два балла снимут? И засмеялся. Он держался гордо. И в то же время весело. О нем так и хотелось сказать — Ключарев, сын Ключарева.

4

В пятницу Ключарев дал согласие заму. Он дал согласие в общих словах, но по существу это уже значило «да». И вот зам водил Ключарева из комнаты в комнату: ну, как вам будущие сотрудники? Нравятся?

— Нравятся, — отвечал Ключарев. В институте формировался новый отдел: он получался из слияния двух лабораторий и еще каких-то разрозненных научных сотрудников. Отдел формировался заново, и Ключареву, чтобы сесть в начальники, не надо будет кого-то спихивать или через кого-то перешагивать.

Сейчас он думал именно об этом. А зам говорил о том, какой это будет замечательный отдел. Мощный. Современный. И, надо полагать, дружный, — вы слышите, Ключарев?

Ключарев сказал:

— Как же не слышать, вы это в третий раз говорите.

— Я и в сотый скажу, — зам засмеялся. — Я вас соблазняяю.

— Я уже соблазнен.

— А я вас соблазняяю и дальше, чтобы не передумали.

— Справлюсь ли?

— Ну-ну. Перестаньте!

Продолжая фразу, зам на ходу пожал руку одному из сотрудников и добродушно подмигнул: работайте, дескать, работайте, я вас отвлекать не буду. Он кивнул еще двум сотрудникам. И еще одному пожал руку. Они с Ключаревым шли вдоль рабочих столов и негромко разговаривали:

— Подберите себе хорошего секретаря. Видите вон тех трех девушек?

— Да.

— Обратите внимание на ту, рыженькую.

— Та, что с постным лицом?

— Да. Умненькая. И старательная. Все дела и все бумаги у вас будут в полном порядке.

— Спасибо.

Они разговаривали негромко. Потом они вышли в коридор.

— А теперь в шестую лабораторию, — сказал зам.

По пути в шестую лабораторию Ключарев на минуту остановился и закурил. Он хотел «что-то» сказать и считал, что лучше это сказать сразу. Лучше раньше, чем позже.

— Маленькая справка, — так он начал. — Когда человека кто-то двигает вверх, то потом этот кто-то садится своему выдвиженцу на шею. Со мной это не пройдет.

Зам засмеялся:

— Вот и прекрасно. Будь самостоятелен.

— Я не шучу.

— И я не шучу.

Зам потрепал Ключарева по плечу:

— Не робей заранее. К тебе на шею никто не метит. Во всяком случае, не я.

Зам был веселый и шуточный человек. Ключарев тоже был веселый и шуточный человек. Такие люди всегда договорятся. Просто Ключарев считал, что в эту минуту ему надо быть начеку.

Когда Ключарев вернулся домой, здесь уже все всё знали, — и в прихожей, и в комнатах почти физически ощущалось настроение небольшого семейного праздника. Звонил уже Коля Крымов и поздравлял. Звонил Павел, тоже поздравлял. Выяснилось, что и Коля, и Павел, и другие знакомые сегодня нагрянут в гости. Теща сияла. Ей нравилось, что Ключаревы пошли в гору.

— Накормлю вас сегодня пищей богов! — объявила теща. И действительно, она смоталась в «Дары природы» и привезла оленью ногу: это выглядело очень внушительно. Зажаренная, истекающая соком, багряно-красная нога на белом огромном блюде должна была произвести неотразимое впечатление. В духовке ногу жарили минут сорок. Перед этим ее целиком обмазали сливочным маслом, чтобы выступающая от жара оленья кровь образовала румяную и бередящую душу корочку. Нога была готова. Ключарев сходил за вином. Он вернулся, и как раз позвонила Алимущкина.

Теща была недовольна. Ключарев пошел к телефону, а она считала, что он должен натереть пол и, уж во всяком случае, должен открывать бутылки — это же первейшее мужское дело.

Алимушкина сказала:

— Хочу вас поблагодарить. — И она объяснила, за что именно она благодарит Ключарева: за то, что он дал ей совет не разбрасываться и выходить замуж. Она действительно как бы прозрела и уже нашла симпатичного мужчину, он доктор наук и не очень стар. Он очень добр. И очень ее любит... Она говорила с еле уловимой иронией, и Ключарев понимал, куда дует ветер. Это было нетрудно понять.

Он сказал:

— Рад за вас.

В это время теща сказала:

— Что это он без конца треплется по телефону!

А жена объяснила:

— У него дела, мама.

— Знаю я эти дела.

— Мама!

Ключарев продолжал:

— Рад за вас. — И он засмеялся. — Стало быть, я больше не нужен?

— Ну почему же?.. — В голосе красавицы появились дергающиеся нотки. — Вы меня щелкнули по носу и правильно сделали. Я это оценила. Я даже поумнела. Но ведь в будущем... мне могут понадобиться и другие советы.

— Мои?

Теща сказала:

— Он думает, я не догадываюсь, о чем у них идет речь.

— Мама, не будь мнительной.

— А ты не защищай его. Чего он треплется — лучше бы полы натер.

— Мама!

Алимушкина сказала:

— Я бы очень хотела иметь умного друга. И тут нет ничего особенного — просто умный и верный друг, да?

— Да, — Ключарев улыбнулся. — Да-да, умный и верный друг. Как в кино.

— Это он себя называет умным?

— Мама!

— Я не собираюсь в ближайшие дни зазывать вас в гости, но все-таки вы будете иногда ко мне приходить, необязательно вечером, хотя бы в будние дни, хотя бы раз в месяц, да?.. А иногда (нечасто) я буду вам звонить. И спрашивать умного совета — можно?

— Звоните, — сказал Ключарев.

— Пусть звонит. Пусть. Однажды ее милый голосок напорется на меня — и тогда она свое получит.

— Мама! Как тебе не совестно! Почему ты обязательно думаешь, что ему звонит женщина?

— А почему я должна думать, что звонит мужчина?

Гости съехались. Они пришли — кто поодиночке, кто парами — с вином в портфелях и со всякими добрыми словами в душе. Жена Ключарева вела их к столу и усаживала, она всем улыбалась. Она уже не боялась нахлынувшего счастья, и ей уже не казалось, что боги разгневаются и что-то случится. Она уже привыкла.

Именно эту перемену Ключарев уловил на ее лице. И потому (а все вокруг шумно поздравляли его с удачей), когда дали сказать ему, он стал над женой подтрунивать.

— Удача — вещь хорошая, — сказал он, подняв высоко рюмку, — но быстрее всех привыкает к удаче тот, кто ее боится.

Он повел глазами в сторону жены. Все засмеялись.

— И молодец, что привыкает! — выкрикнул кто-то.

— Не спорю. Молодец... Но она уже привыкла, и теперь ей опять будет маловато. И теперь она опять будет хотеть новых удач — так устроен человек...

— Не буду, — сказала жена со смехом. — Не буду хотеть. Я их боюсь.

Все засмеялись. И закричали:

— Будешь! Будешь! Будешь хотеть новых удач!

И стали чокаться, когда Ключарев предложил тост, а тост звучал так: «За то, чтобы удачи были у всех!» Потом пили и ели, а в конце вечера жена Ключарева стала показывать фотографии, на которых был изображен Денис, делающий сложные упражнения. Фотографии пошли по рукам, это были действительно впечатляющие фотографии. Одна из них на века запечатлела Дениса на перекладине в момент наивысшего взлета. Сын застыл на вытянутых руках, нацелив вертикально в небо тонкие ноги гимнаста.

Упражнение называлось «солнце». Жена Ключарева показывала фотографии впервые. Раньше ей казалось, что, показывая такие фотографии, искушаешь судьбу.

Гости разъехались — гости были довольны хозяевами, а хозяйка гостями. Теща и жена убирали посуду. Теща малость перепила и что-то напевала.

Ключарев с женой лежали в постели и потихоньку на сон грядущий говорили о всяких неважных вещах. Сначала зевнул он, потом зевнула она. Дети спали. Была ночь.

— Значит, уезжает? — спросил Ключарев про тещу. И опять зевнул.

— Уже купила билет.

— Самолетом?

— Почему тебе всегда хочется, чтобы мама летела самолетом?

М-м... Комфорт. Скорость.

Они помолчали. Потом Ключарев сказал — завтра он пойдет в библиотеку, возьмет заказанные книги и завтра же, пожалуй, заглянет к Алимущкину. Интересно, как он там поживает.

— Зайду к нему завтра. Проведаю.

Жена сказала:

— К Алимущкину можешь больше не ходить. Звонила подруга — он улетел на Мадагаскар.

— Уже улетел?

— Да.

— Когда?

— Она сказала, в десять часов утра. Она сказала, передай мужу, что Алимущкин уже улетел. И что его провожала мать.

Ключарев промолчал. Потом он вдруг захотел покурить и пошел на кухню, а жена уже спала.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Как вы думаете, чем определяется построение этого рассказа? Помогает ли композиция понять замысел автора?

2. Поведав в начале произведения о внутренних мучениях некоего человека и его разговоре с Богом, рассказчик завершает эту историю словами. «Вот, собственно, и вся

история. Но тут важны подробности». Что писатель относит к «подробностям»? Почему они считаются важными?

3. Почему лишены имен главные герои и их жены, нет имени у подруги и тещи?

4. Зачем, по-вашему, автор вводит жену Алимущкина в жизнь Ключарева?

5. Как соотносятся с переживанием страха судьбы героев? Встает ли перед ними проблема сохранения личности?

6. Напишите в рецензии, как соединяются в рассказе бытовая реальность и аллегория, конкретная социальная проблематика и притча? Оцените целесообразность таких «соединений».

Дополнительные вопросы

Прочитайте другие рассказы В. Маканина: «Однодневная война» («Новый мир», 2001, № 10), «Неадекватен» («Новый мир», 2002, № 5). Напишите рецензию на понравившееся вам произведение.

Людмила Петрушевская (1938)

Петрушевская Людмила Стефановна — драматург и прозаик.

Родилась в Москве, пережила тяжелое послевоенное детство, воспитывалась в семьях родственников, в детдоме под Уфой. После войны вернулась в Москву, окончила факультет журналистики МГУ, работала корреспондентом московских газет, сотрудником различных издательств, в 1972 — редактором на ЦТ.

С середины 60-х годов пишет рассказы (первая публикация в журнале «Аврора» в 1972 г.). В 70-х — начинает писать драматические произведения. Пьеса «Уроки музыки» была запрещена. Профессиональные театры возобновили постановку пьес Петрушевской в 80-е годы. С конца 80-х стали выходить рассказы, сказки как для детей, так и для взрослых. Печаталась в журналах «Нева», «Синтаксис», «Столица», «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь» и др.

Член Русского ПЕН-центра, творческого совета журнала «Драматург».

Награждена Пушкинской премией Фонда А. Тепфера (1991), премиями журналов «Октябрь» (1993, 1996, 2000), «Новый мир» (1995), «Знамя» (1996), «Звезда» (1999), премией «Москва Пенне» (1996), премией «Триумф» (2002).

Сайт писателя: <https://petrushevskaya.ru>

Дядя Гриша

В то лето я, одинокий человек, сняла себе дачу — вернее, часть сарая. В другой части его была у хозяев кладовая, а в третьей, подальше, жили куры. Иногда ночью куры поднимали шум, и раза два я бегала к хозяевам, чтобы они посмотрели, что с курами. Тетя Сима, моя хозяйка, говорила, что это орудует ласка.

В моей части сарайчика было два окна, обои, печка, стол, продавленный топчан, и к этому топчану я возвращалась из Москвы даже ночью, от электрички бегом. Множество опасностей подстерегало одинокую женщину на пути от станции до дому, по улице без фонарей. Позднее именно в нашем закоулке и погиб мой хозяин, дядя Гриша, но я всегда странным образом верила в безопасность и в то, что никогда и никто в конечном счете меня не тронет. Полнейшая ночная темнота служила мне укрытием не хуже, чем любому человеку и преступнику. Но свет в доме я все-таки включала, хотя и представляла себе, что в полном ночном мраке на пространстве от станции и до конца улицы светится мой сарай, как мишень. Однако я включала свет, пела, ставила чайник на плитку и вела себя как ни в чем не бывало. Самое главное, что к середине лета бобы разрослись по веревочкам, и весь мой сарай прикрылся листьями, так что заглянуть в окно, не привлекая моего внимания, не представляло ни малейшего труда. У хозяев моих не было собаки, это в конце концов и сыграло свою роль, поскольку дядю Гришу убили около самой его калитки, и будь тут собака, не так-то просто это бы произошло.

Любой человек в этом океане мрака, окружавшем мой сарайчик, мог спокойно подойти к окну, а то, что я жила в сарайчике далеко от жилья и одна, это в поселке было известно ближайшим улицам, да и за линией тоже было известно многим. Дядю Гришу убили зимой, а я уехала от них в октябре, и когда приехала их навестить, первый же человек, встретившийся мне, совершенно незнакомый мне человек, сказал, что дядю Гришу зарезали. Этот незнакомый человек потом свернул за линию. Стало быть, живя за линией, он меня все-таки знал.

Однако я, несмотря на то, что боялась поздно ночью возвращаться в свой сарайчик, и несмотря на то, что боялась зажигать свет, все-таки делала это каждый день, как бы не веря ни во что плохое. Иногда меня преследовали страшные видения в духе фильмов о гангстерах, как трое входят в мой сарайчик, как бы смазав задвижку маслом, так бесшумно, и все остальное и прочее. Но при всем этом я не испытывала ужаса, какой испытывала бы даже от кинокартины, — все это воображаемое действие шло поверх страха, не вызывая никаких чувств, — просто как один из возможных вариантов, как если моешь окно и воображаешь себе, что стул покосился и ты вылетаешь наружу и что будет.

Мне ничего не казалось страшным, даже когда хозяйский сын Владик повадился пьяный ночевать за стеной в кладовой и нарочно стучал и гремел там, давая знать, что он здесь, — это мне не только не казалось страшным, но и казалось смешным, как будто бы Владик таким образом, таясь и скрываясь, за мной ухаживал, гремя за стеной. Владик, это понятно,нисколько не ухаживал, просто он был наслышан, что одинокие дачницы все потаскухи, и шел навстречу опасности сам. Тетя Сима не придавала значения тому, что Владик ночует в кладовой, может быть, она считала, что Владика давно пора разговеться, но и этому она тоже не придавала значения, поскольку на следующий день вид у нее был самый обыденный и она разговаривала как всегда, — впрочем, видимо, так же она разговаривала бы со мной в любом другом случае. Я иногда ходила в хозяйский дом смотреть телевизор и видела их простой, неприхотливый народный быт: что тетя Сима глава в доме, Владик любимый сын, Зина старшая дочь, а Иришка внученька, а дядя Гриша тихий человек, который дай да подай, да не ходи по мытому полу, — тихий человек, слесарь на заводе, пятьдесят пять лет. Я очень полюбила их всех, мне они нравились все, всей семьей воедино, нравилось, что к ним без конца ходят гости и забегают соседи, нравилась суровая, но нестрашная тетя Сима, нравился Владик, который так слушал мать, и толстая Зина, которая в минуты отдыха обязательно ела белый хлеб. У Зины был муж Вася, он пил и редко приезжал к теще в дом, приезжала одна Зина навестить дочку, Иришку, а также на воскресенье, помыть полы и постирать. Вася если являлся, то все больше молчал, заранее недовольный тем, что о нем наговорила тут Зина, о его поведении, о его матери, об их жизни. Однако и Василий тоже на проверку оказывался любящим мужем, он, напившись, клал голову на плечо Зины.

Так идиллически шла наша жизнь, иногда хозяева врывались в мое существование, как тогда, когда тетя Сима послала на крышу моего сарая дядю Гришу — подтянуть провисший провод. Я тоже вместе с тетей Симой смотрела со двора, как дядя Гриша топчется на крыше и никак не может сообразить, как ему дотянуться до провода, а тем более его натянуть. Тетя Сима беспокоилась о сарае, как бы окончательно провисший провод не поджег крышу. Я же, глядя на то, как топчется наверху дядя Гриша, почему-то

думала о том, что дядя Гриша сейчас погибнет, дотронувшись до провода, — но мысли эти текли так же поверху, как мысли о гангстерах и о липком пластыре, которым они заклеивают рот жертвы. Дядя Гриша не дотянулся до провода, а тетя Сима беспокоилась, чтобы он как следует слез оттуда, и одновременно говорила, что придется звать монтера и давать ему на бутылку, а то сарай спалится.

Но мне хорошо запомнился дядя Гриша наверху сарая, вздымающий руки в десяти сантиметрах от смерти, и тетя Сима внизу, беспокойная за дом, как все хозяйки.

С дядей Гришей за все лето я говорила только один раз — когда просила его взять с собой по грибы. Я так и не съездила ни разу в лес, вообще не выходила никуда за все лето, а виной тому был дядя Гриша. Я просила его, чтобы он меня разбудил в пять утра, он меня разбудил, постучал, я одевалась, пила чай, а он появлялся на участке по своим делам и несколько раз, озабоченный, прошел под моим окном. Но когда я вышла, дяди Гриши нигде не было, и сонная Зинка, выйдя на стук, сказала, что папа давно ушел на поезд пять сорок.

Господи, как я бежала на станцию! Но поезд пять сорок отошел от платформы буквально мне навстречу, и, может быть, дядя Гриша видел в окно, как я стою у рельсов внизу. Хотя вряд ли дядя Гриша когда-либо стал бы смотреть в окно — он был очень тихий человек и ничем никогда себя не развлекал, так я думаю.

Воскресенье это прошло у меня через пень-колоду, я легла опять спать и спала до полудня, а потом болела голова и было страшно жарко. Дядя Гриша вернулся так же незаметно, как и уехал, и домашние сделали ему замечание, что же он не дождался, дачница приходила.

А я-то поняла, что дядя Гриша толкся у меня под окнами, но постеснялся сказать, что пора уходить, вообще постеснялся что-либо сказать. И странное дело — та жалость, которую я испытывала, когда дядя Гриша тянулся к оголенному проводу, стоя на сарае, еще более возросла. Мне было жалко дядю Гришу теперь и из-за того, что он настолько не может сказать слово, так незащищен, что, даже договорившись с кем-нибудь, не способен напомнить о деле и решает лучше уж не поднимать шума. Мне виделся в нем какой-то маленький, робкий работник, вечный труженик, о котором никто не подумает и который сам меньше всех о себе думает, — хотя, может быть, ему просто неудобно было брать меня с собой по грибы, а отказать мне он постеснялся: с чего бы это отказывать? И то, что он ушел один, был у него не жест отчаяния, а просто решительность человека, который в конце концов плюнул на приличия и поступил как удобней ему самому. Однако тогда я восприняла его уход как именно застенчивость.

Мне редко приходится испытывать настоящее чувство жалости — ни нищих, ни калек, ни толпу родных у гроба, ни одиноких стариков мне не жаль, не знаю почему. Мне все кажется, что у них где-то там есть своя жизнь, и, мелькнув своим ужасным обликом, они удаляются в свою другую жизнь, расходятся по домам, садятся к батареям или согреваются супом, то есть живут как все, с небольшими поправками. Мне редко кого-нибудь бывает жаль. Но мне до сих пор не избавиться от дяди Гриши, от этой безумной жалости к нему, хотя мне жаль его не потому, что его убили ножом в живот и он потом

мучился: я также на ложе смерти буду мучиться, мы все будем мучиться, и это наше личное дело. Мне все вспоминается, как он топтался, ходил взад-вперед по участку, а потом взмахнул руками и пошел один, побежал на станцию, а я побежала за ним спустя восемь минут, но он уже торжественно отъезжал, отбывал один-одинешенек в электричке.

А убили его подростки, когда он не дал им папирос да еще и сказал: «Сопли надо утереть». Видно, что-то выиграло в этом кротком человеке, или он не был кротким.

Семья его после его смерти распалась. Василий бросил Зину, а старуха сошла с ума и выкапывала мужа из могилы с целью доказать, что у него были покусаны руки. Но этого никто ей не засвидетельствовал, труп уже разложился и ничего не осталось от дяди Гриши, и только Владик все еще живет с матерью и все так же робок и надеется на счастье.

Слова

Первое, что я от него услышала, было вот что: девушка сидит одна и тут можно присесться.

Их было двое, он и еще молодой парень, и по лицу садившегося напротив меня молодого парня было видно, что он рассчитывает, что я именно на него обращу внимание. И поэтому этот молодой парень повел себя смущенно, небрежно, выжидательно. Он вел себя так, как будто все на него смотрят, как он выглядит, как подстрижен, какая на нем рубашка. Может быть, дело было в том, что у него были какие-то таланты, допустим, он умел играть на аккордеоне или был художником, оформлял упаковку на фабрике сувениров, а может быть, у него были еще какие-нибудь таланты, но он пока держал их при себе, чтобы потом все неожиданно оказалось так хорошо.

А второй, старший, что-то, наверное, знал о каких-то качествах, скрытых в молодом до поры до времени, которые тот потом раскрывал постепенно, уже в какой раз. И видно было, что старшему это все уже надоело, потому что младшему невозможно было держать в себе бесконечно свои таланты и молодой их открывал, так что всем знакомым они стали открыты и привычны, и вот теперь старший ждал, что молодой передо мной снова начнет помаленьку приоткрывать себя. И старший немного ревновал за это молодого парня и для начала спросил меня: «Как думаете, девушка, кто из нас помоложе?»

Я ответила, что не скажу.

Моя подруга всегда ругает меня за то, что я отвечаю пьяным и они втягивают меня в долгие разговоры. Но я не могу ничего с этим сделать, и не потому, что я считаю, что все люди интересны или что пьяные наиболее искренние из людей, и не потому, что мне не хватает человеческого внимания и я клюю на самое простое внимание. Все идет помимо меня. Меня спрашивают, я отзываюсь автоматически. Мне становится стыдно, что я хотела бы не отвечать, а стоять, как будто бы я и не слышала никакого вопроса и не видела, что человек заглянул мне в лицо. Но еще раньше, чем я подумаю, что мне не хотелось бы ввязываться в долгий разговор, я уже отзываюсь на первое пустяковое слово. Они обычно не ожидают, что им так сразу ответят, и останавливаются в недоумении,

теперь уже решая сами, продолжать разговор или нет. Они колеблются, но очень недолго, потому что им вдруг все вокруг начинает казаться хорошим, таким, каким должно быть, и они сами для себя становятся особенно хорошими. Они начинают долго объяснять, что вовсе не имели ничего плохого в мыслях о такой девушке, они выворачиваются наизнанку, чтобы объяснить и понять смысл вещей, который только что был ясен, что девушек нельзя обижать, — но почему? Вдруг этот вопрос встает перед ними во всей своей огромности, они борются с ним, потому что они потеряли основу — здравый смысл, который прежде всего не велит человеку на улице разговаривать с другим человеком без просто объяснимой необходимости. А у них этой необходимости нет, они просто так, из-за своей общительности начали разговор и вот теперь выкручиваются как могут. И из-за этого они испытывают ужасное чувство вины, что начали разговор ни для чего, а им отозвались, и теперь нужно оправдываться, извиняться, объяснять, зачем этот разговор.

Эти двое, молодой парень и человек его старше, были слегка навеселе. Но у него, у старшего, не было необходимости объясняться, зачем он со мной заговорил. Это шло уже легкое дорожное, чистое знакомство. И пока молодой парень, опершись обеими руками о сиденье скамьи, уйдя головой в плечи, смотрел в вагонное окно, старший весело разговаривал со мной! Он мне сразу понравился. Понравился не в том смысле, в каком молодые девушки говорят «он мне нравится как человек», а понравился очень легко, весело, беззаботно.

Было видно, что он совершенно не обращает внимания на то, что я из себя представляю, а просто он от души разговорился. Он, конечно, видел, что на мне надето и как я причесана, и как разговариваю, но это для него не имело значения, так же как для меня не имело никогда значения, как я выгляжу. Это все получалось само собой, я об этом не вспоминала каждую секунду. И он об этом не думал, я уверена. Может быть, потому, что у нас точно было очерчено, что между нами происходит легкий дорожный разговор. И все. Слишком велика была разница между нами. Он мне сразу сказал, что он плотник, и столяр, и слесарь-ремонтник по шестому разряду и у себя в квартире все сам сделал — и кухонное оборудование, и торшер, и стеллажи.

Он мне рассказал, что у него была жена, которая умерла родами от инфаркта.

Я его сама не расспрашивала ни о чем, не потому, что боялась, что он не станет рассказывать. Люди иногда ведь не отвечают на вопросы из-за того только, что им задают вопрос и они вдруг понимают, что их секреты, никому не нужные, вдруг действительно становятся секретами, их надо охранять.

Но я не боялась, что он на мои вопросы не ответит. С ним все так просто было, откровенно. Я не задавала ему вопросов — я рассказывала ему о своей дочери, а он мне о своем ребенке, которого изрезали во время кесарева сечения и он так и не родился. Я ему рассказывала о том, что моя дочка живет в очень далекой деревне на даче, за четыре часа езды на двух электричках и еще двенадцать километров пешком или на попутке.

Я ему рассказывала, что в прошлое лето я ездила на работу всего один раз в неделю и поэтому могла все лето проводить с дочкой. А теперь я перешла в другой институт, там

надо бывать на работе два дня в неделю, и теперь дочка живет в деревне с чужой бабушкой, в семье брата мужа, совсем одна в свои четыре года.

Он мне рассказывал, что с тех пор он один и что жена умерла у него на руках: он присутствовал в операционной при ее родах.

А я ему рассказывала, что каждый раз, когда я уйду пешком от своей дочки к трехчасовому автобусу, когда я иду одна через поле, уйду на четыре дня, иду далеко, чтобы обойти овраг, через который боюсь идти, то я всегда очень живо себе представляю, что, когда я доберусь до города, начнется война, а моя дочь одна осталась в деревне.

Тут совсем не имело значения, что он мне врал, а я ему говорила правду. Мне нравится, когда человек врет о себе, я охотно иду ему в этом навстречу, приветствую это и принимаю как чистую правду, потому что это так и может оказаться. Это никак не меняет моего отношения к человеку. Это гораздо легче и прекраснее — принимать человека таким, каким он хочет сам себя представить. Я ничего не пытаюсь конструировать из обрывков правды, которые все-таки просачиваются иногда, прорываются. Пусть все будет как есть.

Он говорил мне, что к нему очень липнут двадцатилетние девчонки, но что все это не то, а здесь большую роль играет его двухкомнатная квартира. И никогда ни с кем из этих девушек он не чувствует себя, как с женой.

А молодой парень то уходил, то подсаживался, и у меня создалось такое впечатление, что они едут в этом вагоне целой компанией, еще с кем-то. И поэтому когда ко мне на пустую скамейку, напротив молодого парня, подсел еще один человек и сразу тоже начал разговаривать со мной, я ему тоже ответила. Но как я ни была разгорячена, я все-таки заметила, что он начал разговор со мной совершенно по-другому, чем тот, первый.

Он не был, как тот, первый, открыт, искренен, ненавязчив. Тот, первый, старший, ничего у меня не выпрашивал, он не был заинтересован во мне так низко, плотно, тяжело.

А этот, когда подсел, сразу поймал меня на каком-то слове и долго его повторял, крутя головой: «Во дает». А потом спросил меня: «Я смотрю, такая хорошая девушка, а есть кто-нибудь дома?» И он начал, тупица, говорить что-то, посмеиваться. Мне бы надо было сразу его обрезать, не говорить с ним.

Но он все продолжал говорить, а те двое замолчали и вдруг прикурили от спички старшего и стали курить прямо в вагоне.

И тут началось что-то страшное. На них закричал прямо весь вагон, все, кто ехал в вагоне. Особенно кричали мужики.

Причем видно было, что это только повод, предлог, что они уже давно хотели закричать. И я тогда сказала тем двоим: «Ну, правда, может, не стоит курить?»

Тогда они оба поднялись и ушли, и больше я их не видела. А этот тупица так меня и мучил всю оставшуюся дорогу.

Может быть, они пошли курить в тамбур и так там и остались, может быть, перешли в другой вагон или вообще вышли на какой-нибудь станции.

Но у меня осталось чувство, как будто я нарушила какой-то закон, сделала что-то, чего делать нельзя.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Сравните повествователей рассказов «Дядя Гриша» и «Слова». Что можно сказать об их самоощущении, внутреннем состоянии?
2. Какую роль в жизни рассказчика играют другие персонажи?
3. Что, с вашей точки зрения, прежде всего интересует писателя в отношениях между людьми? Какую тенденцию видит автор в их развитии?
4. А. Немзер в статье «Замечательное десятилетие» пишет: «...серьезный русский писатель 90-х так или иначе — в большей или меньшей степени, сознательно или полусознательно — ориентирован на саморефлексию». Как соотносить это высказывание критика с произведениями Л. Петрушевской?
5. Прочитайте отрывок из рецензии сетевого читателя на сборник рассказов Петрушевской. Что бы вы добавили к написанному о рассказе «Дядя Гриша»? В чем вы согласны и не согласны с рецензентом?

«Петрушевская пишет короткие рассказы. Среди них есть такие, что занимают две-три странички. Но это не миниатюры, не этюды или зарисовки — это рассказы, которые и короткими-то не назовешь. если учесть объём входящего в них жизненного материала.

Рассказ «Дядя Гриша» написан от первого лица. Молодая женщина снимает на лето часть сарая в подмосковном поселке и невольно наблюдает жизнь своих хозяев: дяди Гриши, тети Симы и их взрослых детей. И вот странность - она о них не рассказывает, а только упоминает. Может быть, потому не рассказывает, что ничего не происходит? Да нет, происходит, еще как происходит — дядю Гришу убивают. Но об убийстве мы узнаем от нее почти случайно, из попутного, сделанного вскользь замечания.

Чуть ли не в каждом абзаце обсуждается опасность одинокого проживания на отшибе, вступающая в противоречие с чувством безопасности, которое испытывает героиня и которому, удивляясь, она придает какое-то преувеличенное значение. Мотив опасности (безопасности) звучит на протяжении всего рассказа. Так основательно исследуется этот вопрос, что вырастает почти в проблему. Зачем не сразу разберешься, но именно он формирует сюжет, который сам по себе на удивление мало о чем говорит: кто находится в опасности, тот остался невредим, а тот, кто ее не ждал, сражен своенравным роком. Что-

то водевильное, анекдотическое содержится в капризе обстоятельств, несмотря на убийство.

А рассказ-то грустный. Что именно вызывает горькое чувство. Смысл складывается из разнородных элементов, из обмолвок и повторов, топтания на месте, проходных сценок и отступлений, сплошного, можно сказать, отступления, ибо отсутствует сюжетная линейность. На что это похоже?»

Дополнительные вопросы

Прочитайте другие рассказы сборника «Такая девочка» (М., 2002). Какие социально-психологические процессы конкретного времени привлекают внимание Л. Петрушевской?

Людмила Улицкая (1943)

Улицкая Людмила Евгеньевна родилась в 1943 году, в селе Давлеканово Башкирской АССР, по профессии биолог и генетик.

Порвав с научной работой, была залита в Камерном еврейском театре, затем закончила курсы мультипликационной режиссуры, занималась литературными переводами, писала сценарии программ для телевидения, создала 15 пьес для кукольных театров.

Первые рассказы были напечатаны в конце 80-х. Публиковалась в журнале «Новый мир».

Сейчас Л. Улицкая — известный прозаик, сценарист, лауреат премии «Букер» (Россия), «Медичи» (Франция).

С 1993 года вышли книги: «Бедные родственники», «Сонечка», «Медея и ее дети», «Девочки», «Веселые похороны», «Казус Кукоцкого», «Сквозная линия», «Искренне ваш Шурик» и др.

Современные критики считают, что «человеческий род для Улицкой представляет самый большой интерес».

Сайт писателя: <http://www.ulickaya.ru>

Цю-юрихь

Три полных рабочих дня просидела Лидия на лавочке с раскрытым учебником немецкого языка. Оказалось, что все она рассчитала правильно и свой отпуск потратила не зря. К концу третьего дня из выставочного павильона вышел загорелый полненький мужчина, окруженный тонким сиянием, и сел рядом с ней. Сиял он, однако, не сам по себе, а переливчатым серо-голубым пиджаком. Пахло от него бодрой сосной, туфли на нем были женского серого цвета, в фасонистых дырочках. Всю эту картину, включая дырочки, Лидия ухватила первым же цепким взглядом, даже заметила рахитичный, выступающий немного вперед лоб и красную жилку в левом глазу. Она уткнулась в раскрытый учебник, придерживая его с поворотом, чтобы обложка была видна.

Мужчина, по-рыбьи раскрыв рот, немедленно сглотнул наживку:

— О, ди дойче шпрахе!

И заулыбался. Далее разговор потек ручейком тонким, но уверенным. Господин сообщил, что он швейцарец из Цюриха, представитель фирмы, производящей краски, имеет дом в пригороде и любит животных. Лидия, со своей стороны, рассказала о себе — этот рассказ она давно уже подготовила, выучила наизусть и отрепетировала: педагог, работает с детьми, занимается немецким языком на курсах — понедельник, среда, пятница — просто для удовольствия.

— В немецком языке мне очень нравится порядок, все на своих местах, особенно глаголы...

Швейцарец расплылся — о, он тоже изучал иностранные языки и тоже считает, что немецкий самый рациональный...

Сотрудники наружного наблюдения заняты были свыше всякой меры: выставка международная, со всего города съехалась фарца, грудастые ласточки, пионерки международного бизнеса, привезли свой свежий товар в шелковых розовых трусиках на грубых резинках. Лидия могла быть совершенно спокойна — никому бы в голову не пришло, что и она здесь на охоте.

Действительно, к налетевшим сюда девушкам она не имела никакого отношения. Возрасту ей было за тридцать, красоты за ней никакой не водилось, напротив даже, нижняя губа была вытянута вперед лопаточкой, нос несколько нависал, и, вращаясь она в европейских монархических кругах, губа ее считалась бы габсбургской, но поскольку она была родом из деревни Салослово, то прозвище у нее с детства было Лидка-гусыня. Двумя заметными ее достоинствами, кроме немецкого языка, были густые, в светлый слоистый пучок уложенные волосы и тончайшая талия, еще и утянутая грубым лакированным ремнем до состояния полуперепиленности.

Разговор шел неторопливо и весь в нужном направлении, но в какой-то момент швейцарец взглянул на свои швейцарские часы, и Лидия испугалась, что он просто так встанет и уйдет, сказавши ей ауфвидерзеен. Но он видерзеена не сказал, а, напротив, предложил посмотреть на его стенд и выпить чашечку кофе.

Лидия скромно улыбнулась, сверкнув двумя золотыми зубами в глубине узкогубого рта, убрала учебник и на мгновение задумалась: в сумочке у нее лежали перчатки, белые, нейлоновые, с оборочкой, точь-в-точь как на блузке — надеть, что ли... Перчатки — это шикарно, но не слишком ли... Не решившись их натянуть, она все же вытащила их и сжала в горсти.

— Моя гостья, — кивнул швейцарец охраннику, и Лидия, поигрывая перчатками, прошла за ним следом.

Он ввел ее в закуток своего стенда. Сердце Лидии зашлось от восторга, так весело ей было смотреть на образцы малярных красок, которыми торговал полненький швейцарец.

— Как красиво! — воскликнула она, и в искренности ее нельзя было усомниться. Хотя среди многих ее достоинств, включающих даже и простодушие, искренности как раз и не было. Скорее она была хитровата. Вот именно, простодушна и хитровата. Но если говорить о стратегии ее жизни, то именно в данном случае она собиралась хитрить, и охмурять, и даже обманывать. Ничего этого ей и не понадобилось — господин ей ужас как понравился.

Не расслабляться, только не расслабляться, скомандовала себе Лидия.

Он предложил ей сесть, сам присел, слегка сгорбившись, в роскошное кресло красной пластмассы и неопределенно улыбнулся. С чего это он пригласил в павильон эту незнакому женщину, вроде не клиент и собой не хороша...

— Вам нужен массаж. У вас остеохондроз! — воскликнула она решительно и, не давая опомниться, вцепилась ему в холку и забегала маленькими крепкими ручками по толстому загривку. Он от ужаса зашелся. Сидел выпучив глаза и хватая воздух.

Лидии катастрофически не хватало немецких слов. Слова “расслабиться” она не знала, но понимала, что инициативу никак нельзя упускать и нельзя молчать, надо что-то говорить. И она говорила. Сначала она пересказала текст из учебника по истории Москвы, потом биографию Пушкина. Между делом она сняла с него переливчатый пиджак, похвалила материю. Он пытался протестовать, но под ее напором быстро увял и таки расслабился.

— Я имею диплом массажиста — массаж физкультурный, массаж лечебный, я даже изучала китайский массаж, — заявила она. И, видимо, не соврала: движения ее были уверенными и энергичными.

Ему и в Швейцарии приходилось иногда принимать сеансы массажа, дело это было недешевое. И насчет остеохондроза она была совершенно права — был у него остеохондроз.

Минут пятнадцать она гуляла по нему своими пальчиками, и очень приятно, только дверь была приоткрыта и он немного беспокоился, не увидит ли кто из посторонних. Но никто не сунулся, и когда она закончила, приятно обхлопав его через рубашку, ему ничего не оставалось, как поблагодарить. Дама была в высшей степени странная — но милая, решил он.

Настало время кофе. Он покрутил разогревшейся шеей, решил, что кроме кофе угостит ее еще и шоколадом. Был у него запас и плиточного, и в конфетных изделиях — для угощения хороших клиентов.

Главное — не терять инициативу, сосредоточилась Лидия и, пока швейцарец готовил кофе, составляла в уме приглашение.

— Я буду рада пригласить вас ко мне на обед. Я имею диплом повара, — объявила Лидия. — Кухня европейская, кухня народов СССР, диетическое питание. Я имею разрешение работать поваром в ресторане.

Это было очень хорошее попадание. Швейцарец давно уже мечтал завести собственный ресторанчик, но обстоятельства жизни препятствовали.

— Так вы массажист или повар? — вполне живо поинтересовался швейцарец.

— И то, и другое. Хотя в настоящее время я преподаю историю нашего города, — сказала она со скромной гордостью. — Я педагог.

Все в точности соответствовало действительности, Лидия второй год вела краеведческий кружок при районном Доме пионеров. Зарплата была никудышная, зато оставалось много времени для многочисленных ее занятий, а деньги она зарабатывала то шитьем, то вязанием, то продажей кое-чего. Да и что деньги, много ли в них проку. Лидия с детства жила за интерес. И главный в жизни интерес был у нее — ученье.

— О, я с удовольствием приду к вам на обед, — засиял швейцарец и вынул не ту коробочку с конфетами, которую сначала собирался поставить, а другую, побольше. Лидия показалась ему интересной.

Начала Лидия с занавесок. Как пришла, сразу сдернула все занавески — и в таз. Стирку Лидия любила больше всех других хозяйственных дел. Считала, что это занятие успокаивающее, и когда случалась неприятность или просто было плохое настроение, она бралась за постирушку. Но теперь как раз у нее настроение было отличное, боевое, как перед важным экзаменом. И что-то подсказывало ей, что, как и все другие экзамены — а сдала она их сотни, — и этот, нештучный, она сдаст. Только бы швейцарец пришел...

Она сразу же, еще до дома не доехав, поняла, что дала промашку, неправильно с ним уговорилась: надо было бы так, чтоб за ним заехать. А то мало ли что, забудет или дела, Большой театр или ресторан “Националь”... Какие у них, у иностранцев, еще заботы в Москве. Ну, Третьяковская галерея...

Пока стирала занавески, Лидия всю программу досконально обдумала. Конечно, без Эмилии Карловны не обойтись. У нее надо позаимствовать кое-что для приема. На закуски не напираться, икру, конечно, купить, ну, граммчиков двести осетрины горячего копчения, а в основном — настоящий русский стол... уха, пирожки... может, курник... бефстроганов тоже неплохо... но и не перемудрить. В общем, задача... И что надеть? Тоже момент очень существенный — не упустить бы самого важного...

Два дня Лидия рук не покладала. Все успела: и в “Прагу”, и на Центральный рынок, и к Эмильке за серебром. Эмилька бровь подняла, мол, зачем это, не понимаю, но отказать не отказала — вынула из горки два серебряных прибора, две лопаточки, две вилочки, вазу для фруктов в два этажа, с пикой наверху. Лидия знала, как ее снаряжать правильно: виноград наверх кладешь, одну кисточку, и свешиваешь немного занавесочкой такой... Вниз же два персика, грушу и слив штук пять. И никаких яблок. Другое дело, была бы зима, тогда яблоки антоновские, и не на вазе, а моченые, в капустке с клюковкой... И икорницу эмалевую попросила — вот глаза-то выпучит!

А откуда все это Лидия знала, все эти большие тонкости про сервировку стола, про стирку, подсинивание и подкрахмаливание, и про то, как правильно мужскую сорочку сложить, и как на зиму вещи сохранить от моли, и как таблетку ребенку раздавить, а потом на кисель, и многое другое — это отчасти от Эмильки, которая всему ее сама обучила, отчасти из курсов, а остальное из воздуха, само собой, потому что красоты у Лидии не было, зато ума палата. Это она про себя давно знала. Из всех людей, с кем она была знакома, одна только Эмилька была ее умней, а про других, бывало, покажется, вот, умнейшая женщина, а потом все же оборачивалось, что не умней ее, Лидии. Хотя про себя Лидия знала: кое-какие глупости по части мужиков она себе позволяла и с Колькой, и с Геннадием. Но давно. Теперь на нее нашло озарение, что она всю жизнь не в ту сторону смотрела, куда надо бы. Но, как известно, лучше поздно, чем никогда.

Опаздывал Мартин уже на полчаса, и Лидия, в чистой своей квартире, в белейшей блузке, перед накрытым столом все металась от двери к окну и себя ругала на чем свет

стоит: как это она глупо договорилась, зная бы заранее, что так будет, лучше было бы заехать за ним в Сокольники, на самую выставку, и сюда приволочь...

Но сколько Лидия ни нависала над окном, гостя своего она пропустила, потому что он не с той стороны зашел, с переулка. Сбился от метро “Бауманская” не на ту сторону, дурачок, и по жаре сорок минут топал туда-сюда, пока две школьницы его на нужное место не вывели.

Он позвонил в дверь и был с цветами, розами. Штук не три, пять, семь, а двенадцать — не по-нашему. Стоит в дверях весь мокрый, со лба течет, и рот открыт, дышит сильно... Сердце не очень-то, сразу с беспокойством подумала Лидия. Глаз у нее был наметанный, и медицинские курсы она тоже проходила, тогда на массаж без медучилища не брали, а ей массаж позарез как хотелось...

— Ихь варте инен зо ланг... — вот что сказала Лидия, а он — извиняться. Но глазами так и ходит, так и ходит...

Разрешите, говорит, снять пиджак... Пиджак опять серый, но другой, без сияния. Снимает. Лидия его на руки принимает, а он гладкий, как шелк. Может, правда шелк? Швейцария — самая богатая страна, Эмилия еще когда говорила, что там у них банков больше, чем у нас пивных... На голубой рубашке у Мартина — подмышки и спинка синие, вспотел, бедный. Вот ванной-то нет. Дом пролетарский, спасибо, хоть уборная своя отдельная.

И тут на Лидию как вдохновение нашло. Присаживайтесь сюда, минуточку... Он сел в кресло, куда она ему указала, и смотрит на ее стол, как на музейную витрину, рот опять слегка открыт, видно, привычка у него такая.

А Лидия — шасть на кухню, и в таз воды до половины, и вносит небольшой такой тазик на вытянутых, и ставит на пол, прямо перед ним. А потом присела аккуратненько, разрешите, извините... и снимает с него серые ботиночки и носочки, тоже серые...

Швейцарец глаза выпучил и губами шлепает: вас? вас? А ни вас... У нас, говорит Лидия, так принято: в жар холодная ножная ванна исключительно полезна... И компресс прохладный на лоб... Я, говорит, как медработник это знаю... По-немецки, кой-как, но он все понял, головой своей лысой кивнул: я-а, я-а...

А ножки, ножки какие, какие пальчики. Маникюр, что ли, на ногах делает? Как вспомнила Колькины копыта, прель на ногтях, ничем не выведешь, — от сапог, он все говорил. От сапог вся вонища-то, мой не мой — без разницы. Хоть кирза, хоть хром, который мужик в сапогах, само собой воняет...

Лидия как пальчики его увидела — все сразу наперед поняла: сейчас жизнь решается.

Улыбается Лидия тонко. От улыбки нос совсем на губу налезают. Не красит. Да она умная и это знает — улыбается, головку опускает и чуть отворачивает. Мы, говорит, на востоке живем, у нас в России так принято.

Он что-то в ответ, но сложновато говорит, вроде одобряет, а слова непонятны. Ничего, ничего, все слова выучу, подумаешь... Вон словарь-то на полке, большое дело.

Ногу на полотенце, промокнула, носочек натянула, расправила, второй... Ботинок мягкий, гладкий, из чего они их делают, такую кожу да хоть на рожу... А лицо у него — нет лица: одно изумление и непонимание. Вот и хорошо — удивила.

Салфетка — в кольце серебряном, на вилке — монограмма немецкая. О-о... Готический шрифт... Ка Эр.

Да. Кристина Рунге, моя бабушка из Риги... Кристина Рунге — бабушка Эмилии Карловны. Значения не имеет. Швейцарец бровь поднял: очень интересная женщина, однако.

Приятного аппетита. Закуски, пожалуйста — на чистом немецком языке. Все эти маленькие застольные словечки Лидия наизусть знает с первого года, как пришла к Эмильке в прислуги. Эмилька тогда пятерых деток держала, вроде частный детский сад. Этих первых она отлично помнит, еврейские детишки, все как на подбор: две сестры Маша и Аня, Шурик, Гриша и Милочка. Их утром приводили с судочками, всех к девяти, а Милочку к половине десятого, прадед старый, как мох на пеньке. Эмилька их гулять вела на скверик, а к половине двенадцатого — обратно, Лидия их раздевала, ручки мыла, в комнату вела. До обеда полчаса, пока Лидия судочки грела, в немецкое лото играли и только по-немецки говорили. Их хабе нуммер айнундцванциг... И обедали по-немецки. Гебен зи мир битте... Данке... энтшuldigен... дас ист гешмект...

Потом Лида посуду мыла, а у детей мертвый час: девочки на большую кровать, втроем, Шурика на кушетку, Гришу — на кресло-“дешез”. Спят не спят, значения не имеет. Главное — ни слова, мертвый час. Это дисциплина такая. Встали, умылись — чай. К чаю печенье, это Эмилька от себя давала. Лидия это печенье хоть с закрытыми глазами: два желтка стереть с полстакана сахара, сто грамм шоколадного масла добавить...

О, икра! Да, пожалуйста... Икра бывает астраханская и каспийская. Эта астраханская, я ее предпочитаю. Она не черная, а серая, и зерно помельче. Очень нежная. Пожалуйста, пожалуйста. Берите масло. Вологодское масло. Попробуйте — вкус ореха чувствуете? Лучшее масло в России. Я знаю, что швейцарские молочные продукты очень хорошие. Но это русское масло превосходное. Перфект. Зеер перфект. Калач — особый русский хлеб. Айн руссише бротхен. Маленькая рюмка водки. Маленькая. Будьте здоровы! Прозит!

Он берет всего помалу, на язык пробует, к десне прижимает, лицо осторожное — ну точно как Эмилька. Может, он тоже из латышей? Головой кивает, руку в сторону отвел.

Угорь. Первое слово в любом немецком словаре. Ааль. Обитает в Балтийском море. В Швейцарии ааль не водится, не правда ли?

Помидор, фаршированный овечьим сыром. Это болгарское блюдо. Я изучала на курсах кухни народов мира. Какое популярное швейцарское блюдо? Фондю? Лазанья?

Нет, это во французской Швейцарии. Мы живем в немецкой, в моем регионе любят картофельный пудинг. Это я должна посмотреть в словаре...

Исключительная женщина. Какие красивые волосы. Если распустить, это целое богатство, наверное, ниже пояса.

А как он ел! Медленно, аккуратно, салфеточка на коленях, ножом-вилкой не гремит. Как будто его сама Эмилька учила. Не для утоления голода, а просто для красоты, ну, как на пианино люди играют или танцуют. Наши так не едят, хоть убей их. Но Лидия как раз умеет, всему у Эмильки научилась.

Закусочные тарелочки унесла на кухню. По дороге завернула к вешалке, понюхала его пиджак, вдохнула — и аж низ загорелся.

Пока она на кухне уху из кастрюльки в супницу переливала, Мартин все решал задачу: ничего у него не сходилось — угощение невиданное, он икру и не пробовал никогда в жизни, и в голову не приходило, сервировка царская, музейная, можно сказать, а квартирка-то нищенская, убожество. Загадочная женщина... А ноги? Как она ему ноги помыла! От нее многого можно ожидать... Он восемь лет ходил к одной польке, пока на Элизе не женился, и двести франков ей давал, так она даже бутылки минеральной воды ни разу не купила, он все приносил сам — и воду, и кофе, и печенье... Не зря говорят: загадочная русская душа.

Он не такой молодой потом оказался, хотя свеженький, полненький, лет ему уже сорок восемь было. Но лицо очень гладкое, совершенно без морщин, загар ровный. Только темечко лысое. В остальном же очень, очень приятный мужчина. Там, в Швейцарии, как выяснилось впоследствии, все такие — приятные, чистенькие, порядочные, это Лидия уже потом узнала. В тот момент она только одно понимала: здесь таких не бывает, и хоть сто лет ищи, здесь ей такого не достанется. Может, у артисток или у певиц такие мужчины, но она здесь таких не наблюдала ни у Эмильки в доме, ни в поликлинике, ни в педучилище, ни в университете марксизма-ленинизма. Нигде.

Рыбный, рыбный стол. Разве швейцарца мясом удивишь? Уха стерляжья с расстегаем... Но и не слишком. Кабачок — легкое овощное блюдо. Соус бешамель.

Если иметь такого партнера, как эта Лидия, то ресторан можно открывать хоть завтра. Не в центре Цюриха, конечно, но в каком-нибудь приятном месте вроде Цолликон или Кильхберг... Лидия — приятное имя... Изящное имя. И фигурка изящная. Талия... Все-таки есть прелесть в небольших женщинах. Элиза, с ее ростом, шириной, никогда не выглядит изящной. Он поморщился.

Лидия встрепенулась: вы не любите овощи? Очень люблю. Особенно картофель. Знаете, я рос в деревне, и была война. Не думайте, что, если Швейцария не воевала, мы жили очень хорошо. Мы плохо жили во время войны. Еда была картофель и молоко. Здоровая еда. Но крестьянская, простая. И мало. Вы потрясающе готовите. Вы не работали в ресторане? Могли бы быть шефом.

Нет, я готовлю только для друзей. Я очень люблю угощать друзей. Вот, получай, немчура. В России люди ходят в гости очень часто, угощают друг друга, пекут пироги.

У вас много друзей? Не очень. Я люблю все самое лучшее, поэтому у меня не очень много друзей. О да, качество имеет большое значение. Это основа всего — качество. Фирма, которую я представляю, существует шестьдесят лет, потому что производит краски очень хорошего качества.

Фирма принадлежала Элизе, и здесь был корень всех зол. Если бы фирма была просто чужая, ничья, хозяйская... Или если бы фирма принадлежала ему, Мартину... Но он был в таких крепких объятиях своей лакокрасочной супруги, что иногда просыпался от ужасного сна, будто влип в краску и не может из нее вытащить ноги, старается, рвется, а потом замечает, что ноги-то не его, а мушиные...

Разрешите? — она прикоснулась прохладной рукой к его предплечью, когда забирала тарелку. Кофе? Чай?

У него была такая мысль еще перед отъездом, что в Москве он непременно возьмет русскую проститутку. Но оказалось, что таких учреждений, как, скажем, в Амстердаме, где однажды он взял себе очень интересную китайку, здесь совсем нет, а с улицы женщину брать было страшно. Хотя они во множестве ходили по выставке, да и возле гостиницы “Москва”, где он остановился, их тоже было немало. Но все они были как-то слишком молоды и вызывали подозрение, что с ними можно вляпаться в какую-нибудь скандальную историю. А об этом его еще в Цюрихе предупреждали. Лидия же была явно порядочная женщина, с икрой и со столовым серебром. Но все-таки, когда она прикоснулась голой рукой к его голому предплечью, он догадался, что может быть... И от одной этой мысли он сразу же завелся. Спросил, где туалет. Лидия его проводила. Все очень чистенько, но ужасное убожество... Зато икра... Ему пришлось немного подождать, прежде чем он смог помочиться. В общем, женщина эта его заинтересовала. Несомненно.

Раковина была на кухне. Он вошел туда. Лидия стояла к нему спиной, склонилась длинной шеей над плитой, где у нее варился кофе. Два маленьких колечка волос завивались на шее. А ноги у нее были просто прелесть какие, с тонкой щиколоткой, с балетным подъемом. Каблук высокий... Он подождал, пока она выключит газ и снимет кофе, и положил ей левую руку на талию, а правой приблизил к себе. Она опустила голову ему на плечо, и он понял, что сейчас все получится, и даже отлично получится, потому что с Элизой у него тоже все получалось, но кое-как, а тут было такое вдохновение...

Он трудился над Лидией до позднего вечера, он выполнил свою месячную норму. Он никогда не ощущал себя гигантом, но в этот день в нем что-то открылось гигантское из-за этой женщины с тонкой талией, необыкновенной женщины, загадочной, с черной икрой и без ванной, даже без душа, с серебряными приборами и небритыми подмышками и такой при этом образованной: по всем стенам висели дипломы в рамочках, по меньшей мере восемь, и с бабушкой Ка Эр, да еще готическим шрифтом... А телефона обыкновенного нет...

Да-да, швейцарские женщины, конечно, просто коровы... польки алчные... китайки — продажные... а эта русская Лидия — настоящее чудо, просто загадочная русская душа... Откуда он это взял, кто это говорил — может, их великий писатель Лео Толстой или школьный учитель из Нидердорфа...

А потом, поздней ночью, они опять ели черную икру с маслом и калачом и пили шампанское — вполне приличное шампанское... Если она учительница, откуда у нее шампанское?.. И завтра, уже сегодня уезжать, а он даже не может сделать ей хороший подарок... Она, судя по всему, из очень порядочной семьи, может быть, из аристократов. Такая интересная внешность, и во всем виден человек со вкусом. И как при этом готовит! В России было много аристократов, это не Швейцария, у них и графы, и князья, и бароны... А может, наоборот, она секретный сотрудник из КГБ? Выслеживает его по заданию? Нет, не может быть...

Лидия бесстрашно поехала провожать его в Шереметьево. Там было торжественно и сильно пахло заграницей. Они, конечно, обменялись адресами, но это был дым, дым мечты и не имело значения. А значение имело только то, что Лидия побыла счастлива, как никогда в жизни, но уже понимала, что последние секундошки ее счастья отшлепывают и потом никогда в жизни не встретит она этого Мартина, такого необыкновенного, таких вообще мужчин нет, у него даже пот не пахнет, просто как у ангела...

В самолете Мартин мгновенно заснул и проспал до самого Цюриха. А Лидия как села в автобус до аэровокзала, так и проплакала до самого дома, и в метро, и пока по переулкам до подъезда шла.

Дома Лидия умылась, вообще-то она была не плаксивая, доела икру — немного еще оставалось, — все помыла, почистила, собрала посуду Эмилькину и серебро, завернула каждое в отдельную газетку, переложила жгутами бумажными, чтобы не переколотилось. Приготовила сумку — завтра перед занятиями Эмильке завезти...

Как Мартин уехал, сразу навалилось много работы, два массажа прибавилось, директорша Дома пионеров заказала платье из мохера связать, потом — то она все лето сидела в кабинете по внешкольному воспитанию да зевала, а теперь ребятишки стали к концу каникул собираться, каждый день заглядывали. Но главное дело был теперь немецкий язык и открытки. Лидия так решила: на новые курсы — раз и открытки с русской картиной-репродукцией или с видом природы — два.

Посылала еженедельно: открытку в конверт, красивую марку налепит, а на открытке несколько предложений типа: “Здесь представлен один из самых красивых видов нашей северной природы. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в работе. Лидия” — или: “Картина знаменитого русского художника Сурикова “Утро стрелецкой казни”. Посвящено историческому событию, когда молодой царь Петр Первый разгромил заговор сестры Софьи. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в работе. Лидия”. С одной стороны, культурно, с другой — ненавязчиво. Но о себе напоминает.

Открытки шли не на домашний адрес, а на какой-то бокс. И по странной прихоти почтовых служб Лидины открытки доходили адресату через две недели, а она получила от него первое письмо почти через два месяца. Вроде и уверена была, что получит, но и за чудо считала. То есть так: уверена была, что произойдет чудо и получит она письмо от Мартика. Так она его с первого дня про себя называла.

Лидия запомнила в подробностях весь тот день, то утро, когда достала из ящика этот белый, как обморок, конверт с гористой местностью на марке и черным тонким почерком

написанным адресом, ну совершенно как в кино. Она сняла с руки кожаную перчатку и голой рукой взяла конверт, и хотя времени было только чтоб не опоздать на работу, поднялась домой, сняла пальто, ботинки и села за стол — читать письмо. Но первое, что из конверта вынулось, была фотография: Мартин в белых трусах до колен и в белой майке стоит возле загородочки, а в руках у него теннисная ракетка. Ну просто сердце останавливается...

А какое там было письмо! Какое письмо! Обращение ровно в середине: “Meine liebe Lidia!”, поля — как будто невидимой полоской отчерчены. И каждое предложение с новой строки. И что странно, хотя написано все очень четко, ни одного слова не разобрать. Все буквы как-то не так у него прописаны.

В общем, она письмо завернула, в большой пакет положила и побежала на работу, потому что в тот день с утра была краеведческая экскурсия на фабрику “Красный Октябрь” с шестиклассниками.

Вечером Эмилия Карловна сначала долго письмо крутила, изучала со всех сторон и посмотрела на Лидию с новым интересом: девчонку она, можно сказать, своими руками сделала. Снимала дачу в Подмосковье, году в пятьдесят восьмом, — Иван Савельич еще жив был, точно, в пятьдесят восьмом, и племянница хозяйки, сирота Лидка откуда-то из Белоруссии, прислуживала там по хозяйству. Девчонка тихая, забитая, совершенно без всяких способностей — сначала так показалось Эмилии Карловне. А в последний день, перед отъездом, все-таки решила взять ее с собой. Предложила хозяйке, как звали... не помню, нет... Настя ее звали, та с охотой девочку отпустила. Ей шестнадцати еще не было. Паспорт она уже в Москве получала, Иван Савельич, отставной полковник, сделал через свой отдел кадров. Прописал же он ее вроде как на заводское общежитие. Но жила она у них, при кухне.

Теперь Эмилия уважительно держала это письмо и смотрела на Лидию как бы новыми глазами: молодец, молодец, девочка! Из никудышных обстоятельств, совсем из ничего, построила ведь очень неплохо: образование, своя квартира, даже внешность свою невыгодную облагородила, имеет стиль, в конце концов. Если откровенно говорить, родная дочь Лора не достигла такого положения в относительном исчислении... Эмилии Карловне хотелось рассказать Лидии, что она бывала в Цюрихе до войны, с бабушкой, и в Женеву ее возили, и в Париж, но привычка никогда никому ничего о себе не рассказывать была слишком сильна. С сорок пятого года, как повстречала Ивана Савельича, так и поняла, что главное в теперешней жизни — молчать. Очень, очень присох к ней Иван, но ведь и ему, капитану НКВД, не рассказала Эмилия о себе ничегошеньки. Так, девочка из бедной латышской семьи, папа — квалифицированный рабочий был. О, у нас в Латвии всегда ценили профессионалов. Он был слесарь-инструментальщик, первый класс! Иван, сам из рабочих, это уважал... А что папу убили партизаны, когда он служил у немцев начальником латвийской зондеркоманды, осуществлял программу “юденфрай” с большим вдохновением, так этого ему не говорили...

И Лидка — тоже молчунья. Знала, да не говорила. Тоже свой секрет содержала в молчании. Отец ее был арестован после освобождения Белоруссии Красной Армией и расстрелян в сорок четвертом за какие-то грехи против советской власти. Лидия не то

забыла, не то ничего и не знала. Одиннадцать детей после него осталось да выгоревшая изба. Из одиннадцати трое выжили. И видеть друг друга не хотели, разъехались, развеялись. Говорили, старший брат военным стал, а сестра где-то не то в Нальчике, не то в Пятигорске жила. Все — забыто навсегда. И у Эмилии, и у Лидии.

Но Эмилия — почти красавица была, рост, грудь за пазухой пузырем, надо лбом — валик из крашенных волос, и зад как груша... как две груши. Иван Савельич на квартире у нее стоял, пока ему государственную не предоставили. А на государственную он уже с Эмилией переехал. И Лору, Эмилькину дочь, принял, а потом и фамилию дал.

Все старое, бумажное — фотографии, справочки всякие, дипломы, письма — сгорело ясным пламенем в больших и малых пожарах, случайных и умышленных, только серебро и посуда хорошая остались от старых времен — против них Иван Савельич не возражал. Быстро пообвык, от алюминиевой миски к серебряной переход легок, обратно потрудней получается. Но ему не пришлось. Его до самой смерти Эмилька ублажала не потому, что сильно любила, а потому, что была порядочная. И Лидию приучила. А вот с Лорой не совсем получилось...

Письмо было явно от порядочного человека, это несомненно. Он благодарил Лидию за исключительный прием, признавался, что никогда еще не общался с такой культурной женщиной, намекал также на ее несравненные дамские достоинства, а потом сообщал, что не смог ей сразу открыть глаза на свое женатое состояние, потому что поначалу ему это казалось совершенно несущественным, а потом уж он не посмел ее огорчить. Он и предположить не мог, что после возвращения в Швейцарию он постоянно о ней будет думать, и она настолько занимает его мысли, что отношения его с женой совсем разладились. И теперь он думает о своем будущем, потому что надо принимать новые решения, и это очень трудно, так что голова его кругом идет...

После прочтения письма Эмилией Лидия тоже смогла разобрать написанное. Он и “р”, и “н”, и “к” писал странно, “и” походило на “т”, но с привычкой можно было и разобрать. После всего Лидия ударила козырем — показала фотографию. Эмилия долго ее разглядывала, а потом поставила диагноз:

— Лидия, имей в виду, это очень серьезно. Надо работать, но без большой надежды на успех. Оч-чень непростое дело...

А Лора моя дура, дура, раздраженно подумала Эмилия Карловна, при всех ее данных этот жалкий еврей Женя... И сказала: ответ напиши по-русски, я тебе переведу, чтоб прилично выглядело.

Лидия писала трое суток. Письмо поразило Эмилию: оно было мало сказать прилично, оно было изящно!

Но еще более письмо поразило жену Мартина, которая нашла в ящике мужнего стола, где искала копию затерявшейся квитанции, стопку из двенадцати художественных открыток и это самое изящное письмо, из которого следовало, что Мартин завел себе в России женщину, о чем Элиза по некоторым признакам и сама догадывалась. И тогда разразился семейный скандал — по факту происшедшего. Мартин, который, может, и перетерпел бы

свое любовное приключение и оно само собой обратилось бы в один из эпизодов его, в общем-то, скромной сексуальной биографии, и улеглась бы Лидия в ряд, где прежде была полька, потом разовая китаянка, а потом она, разовая русская, но Элиза разожгла семейный скандал и нехорошо упрекнула Мартина в его мужской и всяческой никчемности, в то время как он теперь твердо знал, что способен на большие подвиги, если к нему дама относится с восхищением и в тазик с прохладной водой окунает натруженные ноги... И, замирая от неведомого, словно напрокат взятого мужества, он сказал Элизе с тихим достоинством, что — да, он полюбил русскую женщину и готов был подавить в себе это чувство, но ежели она, Элиза, желает теперь развода, то он, Мартин, тоже не возражает.

Высовывая из отвратительной крокодиловой сумочки край стопки открыток с разоблачительными русскими видами и конвертик с изящным Лидиным письмом, Элиза многозначительно подняла бровь и сказала что-то неопределенное про адвоката. Да Мартин и без адвоката прекрасно знал, что двенадцать лет работы на лакокрасочное дело будут у него просто украдены, а что он поднял дело, расплатился с долгами, которые висели над фирмой после раздела Элизы с братом, не зачтется ни в копейку, все труды его прахом пойдут. Может, только часть суммы за дом ему достанется, да и то неизвестно, как Элиза письмом распорядится... В тот же вечер Мартин написал Лидии внеплановое письмо, в котором сообщил, что приедет в Россию на Рождество, и второе письмо, адвокату, где просил назначить ему время встречи.

Бракоразводный процесс совместно с имущественным разделом занял больше года, но закончился непредвиденно выгодным для Мартина образом. Он не был совладельцем, но и жалованья ему Элиза не положила, и теперь ее обязали выплатить Мартину компенсацию, и притом весьма значительную, за двенадцатилетние его труды.

За два с половиной года, предшествующие заключению нового брака, Мартин видел Лидию ровно шесть дней, в два приема. Убедился, что Лидия — живой клад: массаж, забота, питание, секс — качество первый класс.

Они с Лидией совместно решили ограничить встречи во имя исполнения великого замысла. Мартин свирепо копил деньги: после развода Элиза неожиданно предложила ему остаться на работе наемным служащим. Мартин, хорошо подумав, согласился. Работал он теперь за очень приличную зарплату. Компенсация, да к этому еще прибавить столько же, — и после заключения нового брака можно открыть маленький ресторан...

Лидия, со своей стороны, целеустремленно готовилась к новой жизни: загадочно улыбаясь, подала заявление об уходе и круто поменяла культурную сферу на общепит — нанялась в ресторан при гостинице “Центральная” помощником повара. Там была русская кухня. Но, как Лидия вскоре обнаружила, примитивненькая... Да что иностранцы заказывают? Блины с икрой, борщ, водка — без больших премудростей. А может, и не надо премудростей? Кроме того, Лидия разглядела всякие тонкости по организации производства. Месяца через три она совершенно убедилась в том, что больше ей в “Центральной” делать нечего, все, что можно там узнать, она уже ухватила. Прорисовалась новая задача: заработать денег побольше и купить себе приданое, чтобы приехать в город Цюрих не бедной замухрышкой, а настоящей русской дамой.

Шубу надо было купить каракулевую, как у Эмильки, серую, кольцо с диамантом и серьги. Еще для будущего ресторана хотела Лидия закупить хохломской посуды, в золотых и красных цветах — поди плохо? Вопрос только, как вывозить... Видов северной природы она Мартину больше не посылала, отправила набор открыток с хохломскими утицами и ложками — он ее вкус одобрил.

Но сказка сказывается скоро, и настал день, когда Лидия собрала два чемодана со всем хорошим, чего в Швейцарии носить будет не стыдно (ошиблась — только то и пригодилось, что Мартин ей привозил, а свое все на тряпки, на тряпки потом пошло...), и купила билет на поезд. Из экономии. И отбыла Лидия с Белорусского вокзала в город с журливым и шелестящим именем “Цю-юрихь”, где полны подземелья золота, где жил Ленин, сидел там на набережной реки Лиммат, в кафе “Одеон”, кушал штрудель и осыпал сладкие крошки на том Маркса... При слове “Цю-юрихь” во рту делалось сладко...

Лидия сидела в купе с прямой спиной, запрокинув голову назад, в сторону тяжелого пучка, механически подправляла пальцем кончик носа — обычно, когда она, откусывая кусок, широко рот раскрывала, на кончике носа губная помада отпечатывалась, и она время от времени это дело контролировала. За окном мелькала родная русская природа, и Лидия, за последние два с половиной года измечтавшаяся об этом чаше, когда поезд тронется, вдруг расчувствовалась и вспомнила про белые березки, — за окном пока простирался исключительно сорный кустарник и пригородные свалки, — и вроде как бы затосковала по Родине, хотя чего тосковать-то, вот она тут вся, миллион николаев в кирзе, миллион теток вроде тети Насти, ведь ни разу и не справилась, как там племянница в городе, жива ли, померла... Один родной человек — Эмилия Карловна. Она одна и понимала Лидию. Само собой. Зельбстфершендиг.

Две пожилые торговые польки, соседки по купе, что-то у нее спрашивали на среднеславянском языке, а у Лидии такая на душе была смута, что она сказала им, сама от себя не ожидая, очень уверенно: “Энтшульдиген битте, ихь ферштее нихьт”... И польки сразу же поняли, что ошиблись, приняли немку за русскую, хотя видно же, что немка, костюм джерси буржуазного качества и кольца на пальцах...

Ах, Мартик, Мартик! Вот уж кто был наградой в жизни, особенно после двух пересадок! Встретил на вокзале в Цюрихе, в темно-зеленом пальто волосатеньком, в такой же волосатенькой шляпке, поле коротенькое, сзади приподнято, и перышко пестренькое сбоку. Ну прелесть просто. И одеколоном пахнет, и сам чемоданы не хватает, как русский мужик, а носильщику машет, и Лидию целует и под руку ведет... А кругом такая граница, что даже в кино такого не показывают. Например, был фильм про Рим, Лидия его хорошо помнит, так там грязь, свалка, развалины, недалеко от нашего ушли, и едят еду бедную, как у нас, те же макароны, и еще в кино показывают. Понятно, почему они настоящую границу не показывают, не зря Лидия в университет марксизма-ленинизма два года ходила, где голову всем дурили...

Первый год в Цюрихе был самый счастливый. Капиталу пока немного не хватало на аренду подходящего помещения для ресторана, потому жили прижимисто, снимали студию, не квартиру, так, малехонькое жильё, а платили за него... Не ожидала Лидия, что все так дорого в богатой Швейцарии, уж на что она была ловкая, хорошо умела

приспособиться, но туговато приходилось. Мартин расходы все сам проверял, он в бухгалтерии понимал. Лидия сразу же хотела на работу устроиться, но он поначалу не разрешал, однако потом согласился. Дипломы все свои Лидия на немецкий язык перевела, и взяли ее в маникюрши. Мартин удивлялся даже, как у нее хорошо дело пошло. К концу года оформили аренду, чудесное место для ресторана, там раньше была кантина какая-то, это тоже было хорошо, ведь когда народ привыкает, что в этом месте кормят, то по старой памяти идут.

Мартин выписал свою кузину из деревни, простая такая женщина, практически она и была деревенская, хотя одета по-городскому. Но не особенно. Лидия уже начала понимать кое-что, даже, может, побольше, чем Эмилия Карловна, в каких магазинах покупают люди победнее, в каких — побогаче. И Мартин очень это понимал, потому что жена его Элиза была из богатых и его приучила. Теперь Лидия знала, что заграничное заграничному рознь. Было, конечно, кое-что непонятное в деталях: почему, например, английский магазин еще дороже швейцарского, по качеству — не различишь, хоть на зуб пробуй. Или французское — красота есть, но опасная, с качеством не очень. Про итальянское и говорить нечего.

Перед открытием ресторана Мартин объявление дал, разослал знакомым приглашения, по всему району листки развесил: ресторан “Русский дом” приглашает на русский ужин. Одного официанта русского наняли, чудной немного, перемещенный, не совсем русский, но слово “борщ” хорошо выговаривал. Второго, местного парня, на один раз взяли.

Первый вечер ресторанный прошел очень хорошо. Это был последний счастливый день в жизни Лидии. Наутро все кончилось. Мартин в шесть, как они обыкновенно поднимались, не проснулся. Спал и спал. Лидия сначала не хотела его будить — устал, пусть выспится. В десять стала его будить, а он не просыпается. Лежит на боку, и одна рука неловко так расположилась. Лидия тронула — а она холодная. Дышать-то он дышит, но в себя не приходит и тяжелый очень. Вызвали врача и увезли сразу в больницу. Инсульт. Все. Она сразу же посчитала: длилась ее счастливая жизнь один год и двадцать один день. От приезда до удара. А дальше — страшный сон.

Одно только хорошо — все больницы у них, как у нас Кремлевка. Сестры все сами делают — и пеленки меняют, и кормят. Даже ночное дежурство у них бесплатное. Когда Иван Савельич в больнице лежал, у него было раковое заболевание, так они втроем с Эмилькой и Лорой с ног сбивались. И Лидия понимала, как ей повезло с этой Швейцарией. Сначала через уколы растворы питательные вливали, потом стали сестрички кормить. Три месяца он ни туда ни сюда, непонятно даже, узнает Лидию или нет. Другой раз вроде узнает, а другой — нет... Ходить не может. Но в кресло его пересадили. Лидия по утрам его навещает, двумя автобусами, три с половиной часа занимает. А ресторан-то на ходу. И закупить, и приготовить — когда? Записалась в автошколу. Машина есть, а прав у Лидии нет. Дура, дурища, ругала себя Лидия, столько всего лишнего изучила, а водить не научилась. Занятия на курсах три месяца идут, да по четыре часа три раза в неделю. Каторга, а не жизнь. Спала по хорошим дням часов по пять, по плохим и трех не набиралось. Мартина жалко, да только жалеть некогда. Он как ребенок маленький, пух на затылочке слежался, уж Лидия, как забрала домой, вылизала его, массаж стала делать ежедневно, по часу. Врачи говорили, что не восстановится, но ножка левая, пораженная,

потихоньку стала укрепляться. Еще месяца три прошло, и он уже стоял на ногах, за спинку кресла держался и стоял.

А ресторанное дело шло хорошо, Лидия его не бросала. Пришлось, конечно, сделать упрощения вроде наших комплексных обедов. Но жизнь в Швейцарии оказалась ох трудна. За все — плати. Электричество, вода, бензин, мусороуборка, а налоги вообще отдельная песня. Пришлось опять на курсы идти, задаром никто ни слова тебе не скажет. Народ швейцарский сначала Лидии очень понравился за вежливость и за чистоту. Но — себе на уме. Раньше, на Родине, Лидия сама себе казалась очень умной. А здесь все оказались такие же умные, наперед все просчитывают.

Русский ресторан швейцарцам пришелся по вкусу именно потому, что они быстро сообразили, что за те деньги, которые в нем оставляют, питание получают очень качественное. И если б Лидия была не одна, она бы уже через год расширила помещение, там веранду можно было летнюю освоить. Да и с другой стороны, она бы не побоялась и побольше помещение арендовать. Если бы Мартин был человек, а не инвалид окончательный.

Но ни горевать, ни размышлять времени не было, потому что дел невпроворот: утром умыть Мартика, потом массажик, потом на горшок, потом покормить его. Раз в два дня за овощами к фрау Темке на ферму, раз в два дня — к мясникам. Рыбу привозили домой, а за бакалеей она ездила к оптовикам, но это раз в две недели. Готовила она одна. Конечно, все было продумано, холодильник пришлось промышленный купить, многое замораживала, хотя никому бы не призналась. У них вообще-то не принято было продукты морозить. Фарши для блинчиков раз в неделю готовила — и в заморозку. Ну, рыбу, конечно, нет, вкус сильно теряет. Если честно признаться, швейцарцы в кулинарии не очень и понимали. Ценили, что порции были большие.

Лидия весь год тряслась от страха, что не сведет концы с концами, но в конце года оказалось, что свелись концы хорошо и еще привесок образовался. Его Лидия поместила в банк на свое имя. Вот тут-то она и поняла смысл швейцарской жизни. Если бы Мартик был здоров, она б, может, этого и не поняла в дыму брачного счастья. Но поскольку оно кончилось, то Лидии открылось, что счастье выражается здесь цифрами. Больше цифра — больше счастье. Не одними голыми цифрами, а с большими тонкостями: должны еще быть люди, которые бы оценивали твой успех, догадывались бы о твоём уме и таланте по неприметным признакам. Забор два раза в год красила... Новые цветы на террасе посадила... Занавески английские повесила... Кто понимает... Туфли от Балли, пальто от Лоден. Эмилии Карловны нет, поглядела бы.

Деревенскую сестру Мартика Лидия прогнала, только под ногами путается, а в жизни, хоть швейцарка коренная, — ноль понятия. Вместо нее наняла других помощников, югославку толковую, тоже за швейцарцем замужем. Еще одну помощницу — наняла хромую, очень некрасивую женщину, но быструю и дельную. Ей Лидия и у плиты кое-чего несложное доверяла. Также потом оказалось, что она не настоящая швейцарка, а из евреев. Еще один официант был итальянцем. Но это дело известное, что итальянцы все — прирожденные официанты: приветливые, улыбаются и шутят. Но вороваты. Впрочем, у Лидии не украдешь, хорошо следила. Репутация — нешуточное дело, ее и за деньги не

купишь. Она как зернышко: посадил в горшок, поливай, удобряй — оно растет. Год, другой, третий... Год, другой, третий...

Мартик похудел, обветшал, стал старичком. Зато Лидия, в России еле-еле сходимшая за дурнушку, здесь считалась интересной дамой, ее даже за француженку иногда принимали. Она заново научила мужа ходить, он теперь ковылял с палочкой по дому, гулял в их садике. Лидия купила ему породистую собачку, серого карликового пуделя, назвала его Милок. Содержание Милка обходилось в копеечку — то прививки, то ветеринар. Но оказалось, что и здесь Лидия не прогадала. Швейцарцы животных любили, приходили ужинать семейные пары, детишки с Милком играли и потом просили родителей снова с русской собачкой поиграть. Хорошая клиентура. А Мартика дети звали “собачкин дедушка”.

Когда жизнь с русским рестораном и мужем-инвалидом совершенно наладилась и вошла в колею, Лидия по старой памяти снова пошла на курсы. Два года занималась французским, освоила, разумеется. Подумывала об английском... Хотела бы заниматься горнолыжным спортом, но оставлять на несколько дней ресторан, Мартика и Милка было невыносимо. Хотя теперь она уже не стояла у плиты, а были у нее два повара, которых она сама всему обучила. Два раза в неделю ходила в бассейн, иногда в женский клуб, где были встречи с другими деловыми женщинами. Сходила она к деловым женщинам раз-другой и поняла, что лично ей не хватает в жизни признания. Все эти женщины тоже ходили в обуви от Балли, носили норковые шубы и часы “Ориент”, и Лидии было даже обидно, что для них это обыденная жизнь, и не могла же она им объяснить, что все они глупые домашние куры, а она, Лидия, — птица высокого полета, потому что они-то родились в Швейцарии, в куске сливочного масла, а она, Лидия, — в избе с земляным полом и соломенной крышей, до пятнадцати лет ходила либо в валенках, либо босиком, а штаны первые завела уже в Москве, когда по большому везению попала в прислугу к хорошей барыне, а до того ходила без порток, как все белорусские крестьянки... Возникла какая-то досада. И старая, придавленная и недодуманная мечта, как зародыш болезни, стала развиваться, и оформляться, и приобретать определенные черты — и Лидия в деловой книжечке в последнем, для души предназначенном разделе, куда деловые женщины вносили даты встреч с любовниками, гинекологами или врачами-косметологами, завела списочек, в который вносила, что именно и в каком количестве надо ей купить для поездки в Москву. Там жил единственный в мире человек, который мог оценить ее, Лидии, великий взлет...

Как и все свои предприятия, Лидия сначала все основательно обдумывала. Связей с Москвой у нее никаких не сохранилось: Эмилия Карловна при прощании сказала ей, что желает всех благ, но просит писем не писать и по телефону не звонить. К этому времени уже начались первые неприятности у Лоры, потому что ее муж Женя что-то подписывал, болтал направо-налево и навлекал на семью неминуемые неприятности. Лора же смотрела ему в рот, своей головы не имела, а к материнским советам не прислушивалась. Эмилия Карловна советскую власть ненавидела, но чувства свои упрятала на дно декретом отмененной души, зато страстно презирала дурака Женьку, который болтал, как глупый попугай... Приятельницы Лидии из Дворца пионеров и из других мест, где приходилось ей учиться и работать, не стоили даже расходов на почтовые марки. Только одна была

доверенная подружка, соседка Варя, с которой первое время Лидия поддерживала какую-то хилую связь, но после несчастья с Мартиком перестала ей писать. Чего писать-то?

Теперь Лидия написала Варе, попросила ее позвонить Эмильке и узнать, как та поживает. Варя просьбу выполнила, Эмильке позвонила и сообщила Лидии, что те живут по-прежнему, все на старом месте...

Лидия купила хорошую дорожную сумку — до тех пор она никуда не путешествовала и сумок не заводила. И начала по списку покупать Эмильке подарки. Решила, что оденет ее с ног до головы. Во все самое лучшее. Полный комплект, как новорожденным... Свободное время Лидия проводила теперь в магазинах. После Рождества, когда начались большие распродажи, она завершила свою закупочную кампанию, которая заняла у нее почти полгода. Сумка приняла в свои клетчатые недра первосортного товара на три тысячи швейцарских франков без самого малого. Белье, чулки-колготки. Босоножки, туфли, сапоги. Костюм джерси-шерсть и костюм шелковый, жакет, шляпа, шарф. Сумка-перчатки. Все — в гамме. Потому что у Лидии — вкус. Эмилька научила.

А еще в дамской сумочке лежали золотые часы марки “Ориент” в футляре, который сам по себе представлял произведение швейцарского искусства.

Затем Лидия купила себе трехдневный индивидуальный тур в столицу нашей родины Москву с пребыванием в гостинице “Москва”.

Прошло больше десяти лет с тех пор, как Лидия в первый раз провожала Мартина в Цюрих после памятного и судьбоносного обеда с мытьем ног и черной икрой. Шереметьево не изменилось. Лидка-гусыня прекрасным лебедем не стала, но и от нее прежней тоже ничего не осталось. Она была гражданка Швейцарии, фрау Гропиус, в скромном с виду пальто из плащевой материи, с нежной подкладкой из меха кенгуру. Носильщик нес за ней ее небольшой чемодан и дорожную сумку, а встречала ее переводчица из Интуриста, мелкий лейтенант из КГБ, с казенной улыбкой и листом бумаги с ее, Лидиной, фамилией. Такси довезло их до Манежной площади. Лидию по дороге тошнило — от волнения. Переводчица говорила с ней на дурном немецком языке, Лидия своего русского не открывала. Зачем? Поужинала в ресторане на втором этаже. Салат “Столичный” и студень. Попробовала и отложила вилку. Тошнило.

Следующий день ее возили по городу, показали Бородинскую панораму и университет на Ленинских горах. Обедала в ресторане “Центральный”. Русская кухня. Метрдотель был все тот же. Не узнал, конечно. Вечером — Большой театр. “Лебединое озеро”. Сидела в третьем ряду, в фиолетовом шелковом костюме, с бриллиантовой брошкой в виде стрелы. Рядом сидели американцы. Одна из американок была в бигуди и в нейлоновом колпаке поверх накруток. Они собирались после театра в ресторан. Видимо, кудри ей были нужны к ужину. Балет был шикарный. В Цюрихе они с Мартиком по театрам не расхаживали. Вот в Москве в свое время она часто билеты доставала — и на Таганку, и на Бронную...

На другой день, в воскресенье, она сказала переводчице, что у нее болит голова и она программу сегодняшнюю отменяет. Та предложила прислать врача, но Лидия отказалась. Хотя голова действительно болела и снова тошнило. В два часа дня, взяв сумку, она вышла из гостиницы. Ехать в такси было пять минут — жила Эмилька на Маяковке.

Вышла у серого кирпичного дома на Второй Тверской-Ямской. Углом странно поставленный дом, для главного ведомства страны после войны построенный. Иван Савельич незадолго до выхода на пенсию получил здесь двухкомнатную квартиру. Поднялась на четвертый этаж. Вспомнила, как тридцать, что ли, лет назад в первый раз в эти хоромы входила. Газ. Электричество. Колонка с горячей водой. Ванная и уборная — все в первый раз тогда увидела.

Звонок все тот же, белая кнопка на черном деревянном кружке. Нажала. И звонит тем же голосом. Открыли не спросив. Лора. Вы к кому? К вам. К Эмилии Карловне. Я — Лидия. Лора, не узнаешь?

— Лида! Лидочка! Тебя просто бог послал! — обрадовалась Лора.

В те годы каждый иностранец был большой ценностью: через него можно было и письмо переправить, и документы. Казенная почта вся просвечивалась. Но Лидия отметила с раздражением: ишь, как из Цюриха с сумкой, так Лидочка. А в прежние годы рожу корчила. Вот потому в сумке ничего и не было для Лоры предназначенного.

Далее Лидия вдохнула родной запах старой квартиры и сняла ботиночки. Можно с ума сойти: в калошнице стояла обувь, которую Лидия знала наизусть. Коричневые домашние туфли “для гостей” и две пары детских — следы профессиональной деятельности.

— Детки все еще ходят? — спросила Лидия с улыбкой.

Лора махнула рукой:

— Да какие детки...

И Лидия вошла в большую комнату, где когда-то собирался частный детский сад и стояли длинный стол, и шесть стульев, и пианино, на котором Эмилия Карловна небойко играла польку и вальс, а дети танцевали, и маленький столик у большого дивана, покрытого ковром ручного тканья... А в эркере, спиной к двери, стояло инвалидное кресло на колесах, нескладное, больничное, крашенное белым по железу, и над спинкой возвышалась пегая пышная голова а-ля Помпадур. Лора вошла в эркер, развернула кресло и вывезла на свет божий Эмилию Карловну.

Она была так похожа на Мартина, как будто была ему сестрой, матерью или бабушкой. Чудесная белоснежно-дряблая кожа, маленький подбородок, из-под которого, как жабо, вылезал второй, жидкий и почти прозрачный, бледно-голубые глаза в круговых складках нежной кожи и извиняющаяся улыбка, съехавшая на один бок... Только у Мартина нос был короткий, с выпуклыми ноздрями, а у Эмилии Карловны длинный, в конце заостренный и с горбинкой...

— Мама, посмотри, кто пришел! Лидия пришла! Помнишь Лидию?

В правой руке у Эмилии Карловны была зажата колода карт, и она одной рукой их не то перебирала, не то просто щупала. Забыла, совсем забыла Лидия, что больше всего на свете старая ее хозяйка любила раскладывать пасьянсы. Да карты же надо было купить! Как это я забыла, мелькнуло сначала у Лидии...

— Эмилия Карловна, это я, Лидия. Узнаете?

Эмилия Карловна улыбалась Мартиковой деликатной улыбкой, и круглая бусина слюны собиралась в углу рта.

— Давно? — спросила Лидия.

— Почти год, — тихо ответила Лора. — Кошмар. Мы документы на выезд подали на всех, а как ее везти — непонятно. Я как тебя увидела, так сразу и подумала: вот кто помочь-то сможет. Мы ведь через Вену летим, от вас недалеко. И там неизвестно сколько ждать. Если бы ты нас встретила... Или хотя бы письмо через тебя послать в “Сохнут”, чтобы они нас встречали с коляской... Я уверена, что разрешение вот-вот придет. Есть такие приметы... Понимаешь, мой муж, Женя, он в Америку ни в какую, ему только Израиль подавай... Я бы лучше в Америку...

Лидия молчала, вживаясь в ситуацию. А Лора трещала не замолкая и все время крутила пальцы, слегка их поламывая.

— Мам, мам, — время от времени вспоминала Лора о цели Лидиногo визита, тормошила Эмилию Карловну за плечo. — Посмотри, кто пришел, мам... Лидия пришла. Узнаешь Лидию? Понимаешь, мы бы давно подали, но мама в Израиль ехать отказывалась, очень, очень против была... А Женя — только в Израиль. Многие наши друзья Америку даже предпочитают. А мама, ты, может, не знаешь, при всех ее достоинствах немного антисемитка. И в Израиль уперлась — нет и нет. А уж когда она заболела, мы подали. Ей теперь не все равно? Правда? А ты когда уезжаешь, Лид?

И Лора пошла ставить чайник, а Лидия села рядом с Эмилькой и взяла ее за руку:

— Эмилия Карловна, как я рада вас видеть! Вы все красавица... Чувствуете-то ничего? А у Мартика моего тоже ведь инсульт, семь лет уже. Но он сейчас получше, ходит. Раньше тоже все в кресле сидел. А теперь ходит, и собачку я ему купила...

Эмилия Карловна как будто слушала и как будто понимала. Потом пришла Лора с чайным подносом. Сахарница, молочник, чашки розовые — все было родное. И печенье было то самое: два желтка стереть с полстакана сахара, сто грамм шоколадного масла... Научилась Лора. Раньше не умела. Эмилия зашевелила пальцами и открыла рот. Раздалось что-то вроде “уать”.

— Сейчас, мамочка. — Лора сунула в подвижную правую руку половинку печенья.

Эмилия запихнула его в рот и счастливо зажевала.

— Вот такие дела, понимаешь, весь бы день ела и ела. Злится, если не даю. А потом с желудком проблемы. За год без клизмы ни разу...

Лидия раскрыла сумочку и вынула из нее плитку шоколада, предназначенную горничной. И, подумав, достала только что начатый небольшой флакон духов — “Шанель номер пять”. Свой собственный...

— Это, Лора, тебе сувениры.

Эмилия Карловна ела печенье одно за другим, напрочь забыв о деликатной науке поглощения пищи, которую преподавала годами своим воспитанникам. Она засовывала печенье глубоко в рот, проталкивая его обломанными ногтями, и крошки падали на грязный воротничок, на протершуюся грудь старой кофты, и у Лидии ломило затылок и тошнило ее по-настоящему. Она не знала еще, что это был первый признак надвигающейся гипертонии.

— Я пойду, Лора. Завтра утром позвоню, перед отъездом я вас еще увижу.

— Да посиди, скоро Женя придет, — искренне просила Лора, но Лидия страстно хотела поскорее унести ноги, быстро переночевать и уехать отсюда навсегда-навсегда.

Обула ботиночки, надела плащевое пальто на австралийском, спрятанном от посторонних взглядов звере и с усилием подняла клетчатую сумку:

— Мне еще надо в одно место заехать, вот отвезти просили друзья...

Квитанции все были одна к одной, на всякий случай, по привычке делового человека, в верхнем ящичке письменного стола дома сложены, в отдельном конверте. Сдать обратно можно. Всегда есть смысл в дорогих магазинах покупать — и сдать, и обменять можно, тем более когда тебя уже знают.

Такси она просила переводчицу заказать на более ранний час, чем следовало бы. Переводчица просто лишилась дара речи, когда Лидия сказала шоферу на чистом русском языке:

— По дороге в Шереметьево мне надо заехать на Спартаковскую улицу, я покажу вам, где поворачивать.

Заехали на Спартаковскую. Дом стоял как стоял, четырехэтажный король-корабль среди одноэтажных дровяных бараков. Трущоба трущобой. Она улыбнулась, представив себе, что испытал Мартин, когда первый раз вошел в ее убогую квартиренку. Сначала она думала подняться на третий этаж, позвонить в свою дверь, попросить, чтобы ей показали, как сейчас выглядит ее прежнее жилье. А потом подумала: зачем?

И велела ехать в Шереметьево. Чемодан и клетчатую сумку сдала в багаж. Об обещанном Лоре звонке и не вспомнила.

Всю дорогу в самолете она умирала от нетерпения: скорей бы попасть домой, поцеловать Мартика в опустившийся уголок рта. Он был получше, гораздо получше, чем Эмилька. Он все же ходил, улыбался более внятно и говорил некоторое количество слов вполне осмысленно. Да и вообще — как там три дня без нее дела двигались...

Голова все болела, и тошнота не проходила. Она прошептала почти про себя, но все-таки немного вслух: Цю-юрехь... Цю-юрехь... И задремала с мыслью: а все же я самая умная...

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Существует ли связь между размышлениями о внутренней жизни героини рассказа «Цю-юрихь» и событиями внешнего мира?
2. Какую роль играет конкретная деталь в повествовании Улицкой?
3. Как вы относитесь к главной героине? Можно ли назвать ее жизнь состоявшейся? Соответствует ли ее поведение вашему представлению о позиции человека в обществе?
4. Можно ли говорить о динамике характера главной героини? Как определяется отношение к ней повествователя?
5. Почему, с вашей точки зрения, названием произведения стало странно произносимое слово?
6. Рассказ входит в цикл «Межвременье». Что имеет в виду автор? Находит ли эпоха своё отражение в данном произведении? Как прошлое входит в это «межвременье»?
7. Как вы думаете, интересуют ли писательницу вневременные явления и процессы?

Дополнительные вопросы

Прочитайте роман Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» (М., 2004), рассказы «Перловый суп», «Пиковая дама» (М., 2001). Какие особенности стиля и проблематики сближают эти произведения?

Евгений Попов (1946)

Попов Евгений Анатольевич — прозаик, драматург, эссеист, один из основателей и член правления Русского ПЕН-центра, родился в Красноярске, окончил Московский геологоразведочный институт, работал геологом в Сибири, с 1978 года живет и работает в Москве.

Первый рассказ «Спасибо» появился в 1962 году в «Красноярском комсомольце», затем последовали публикации в «Литературной газете», «Литературной России», «Сибирских огнях».

Широкую известность его творчество получило после публикации в 1976 году двух рассказов в журнале «Новый мир» с предисловием В. Шукшина. Вместе с В. Аксёновым, А. Битовым, В. Ерофеевым, Ф. Искандером был автором и составителем альманаха «Метрополь».

Сегодня Е. Попов печатается в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир», «Аврора», «Континент» и др. Лауреат премий журналов «Волга», «Стрелец», «Знамя», «Октябрь», премии «Венец» Союза писателей Москвы (2003).

Первый сборник рассказов «Веселие Руси» вышел в 1981 году на русском языке в издательстве «Ардис» (США), переиздан в 2003 году в издательстве «Амфора» (Санкт-Петербург). Среди других книг: «Жду любви не вероломной» (1989), «Прекрасность жизни» (1990), «Самолет на Кельн» (1999), «Подлинная история “Зеленых музыкантов”» (1999), «Накануне накануне» (2001), «Плешивый мальчик» (2004) и др.

Критики называют Е. Попова, в чьем творчестве реализм сочетается с элементами сатиры, абсурда, черного юмора, мистики фантасмагории, «самым веселым анархистом современной русской словесности».

Тихоходная барка "Надежда"

Раз два мужика - Тит и Влас - решили начать новую жизнь. Они решили сдать бутылки и приобрести себе на эти деньги чего-нибудь полезного.

Вот они и принесли бутылки в трех сумках, а на дверях висит бумага: "Ушла. Скоро буду. Дуся".

- Может, и мы пойдем куда-нибудь еще? - засуетился нетерпеливый Тит.

А рассудительный Влас изрек:

- Сядь и не пурхайся! Куда ни пойдешь - везде все одно и то же.

Вот они и сели на ступеньку у дверей полуподвального помещения на улице Дубровского. Сидят и ждут с видом на реку Е.

А только тут подходит к полуподвальному помещению еще один человек, интеллигентный, в широком галстуке. У него не хватало каких-то там всего несчастных

двадцати копеек, вот он и принес завернутые в газету две бутылки емкостью по 0,5 литра каждая.

Однако тоже наткнулся на "Ушла. Скоро буду. Дуся". А так как темпераментом и интеллектом интеллигентный человек превосходил Тита и Власа, вместе взятых, то он тогда нецензурно выругался, швырнул пакет под дверь и пошел достать мелочи в другое место.

Вот на этом-то пакете и остановилось зрение Тита. Тит и говорит Власу:

- Смотри-ка, чо там?

На что рассудительный Влас отвечает:

- Смотри-ка! Вон видишь - идет по реке Е., впадающей в Ледовитый океан, тихоходная барка "Надежда", на

которой мы с тобой оба работали.

Но Тит его не послушал. Он коршуном кинулся к свертку и обнаружил, что бутылки интеллигентного человека уже обе разбитые.

- Об чем ты и сам бы мог догадаться, - сказал Титу рассудительный Влас. И прикрикнул: - А ну-ка не

мшись! Смотри-ка лучше на реку Е. Видишь - она уже почти прошла, тихоходная барка "Надежда", на которой мы с тобой оба возили дрова. Тит воскликнул в ответ:

- Ах, зачем же я буду смотреть на эту падлу-барку и на гада-капитана товарищ Кривицкого?

Влас сухо поморщился, а Тит отвел глаза и вздохнул:

- Не смотри на меня, как Ильич на буржуазию, Влас! Всему свету известна твоя доброта, и лишь потому я не

смотрю на тебя, как буржуазия на Ильича, Влас! Подумай, что ты делаешь, Влас?! Ведь ты любишь ничтожной баркой "Надежда", Влас! Ничтожной баркой, спугавшей нам обоим жизнь, Влас!

Так сказал Тит, и Влас был вынужден с ним согласиться.

По инерции они оба все еще глядели на воду, а потом Тит предложил:

- А не прочитать ли нам ту газету, в которой дурак нес бутылки? Может, мы хоть там найдем что-либо полезное или поучительное? А тем временем и Дуська придет.

И они оба взялись читать газету. И вот что из этого вышло.

Они оба читали длинную газету. Читали, читали, читали... Тит со многим соглашался и кивал головой. Влас тоже соглашался, но головой не кивал, потому что у него на шее вскопчил фурункул.

То есть чтение газеты доставило им обоим много радости. Но вот что из этого вышло.

- А все-таки хорошо пишут, - сказал Тит, отбрасывая газету. - Мы бы с тобой так никогда не смогли написать.

Наступило гнетущее молчание.

- Как... как? Что ты сказал? Чтобы мы с тобой не смогли так написать? - только и успел вымолвить пораженный Влас. - Чтобы мы с тобой! Орлы! Орлы, которые не боятся никого и ничего на свете! Мы бы с тобой так ни когда не смогли написать?

Только и успел вымолвить, пораженный, как слезы крупными гроздьями упали из его круглых глаз на землю.

Тит окаменел. А Влас продолжил, скрывая рыдание:

- Теперь я понимаю, почему нас списали с тихоходной барки "Надежда"! Вовсе не потому, что мы оба- бичи! Вовсе не потому! А потому, что ты - сука, а не матрос! Ты согнулся! Ты стал трус! А я остался орел! А ты согнулся!

Тут Тит не выдержал. Подскочил, и они оба стали драться, кататься в пыли по летней сибирской почве. В непосредственной близости от великой реки Е. Осуждаемые взглядами других граждан, постепенно скопившихся у дверей полуподвального помещения в чайнии сдачи пустой посуды.

Так печально закончилось чтение длинной газетной статьи двумя бывшими матросами. А ведь могло оно закончиться совсем по-иному - более светло, более радостно. Но этому помешали вышеописанные зловредные обстоятельства!

А какую они статью читали - я не знаю, я и забыл. Да и не это важно.

Контакт с югославскими комсомольцами

Одна знакомая девица все мечтала за границу съездить. С этой целью она подкопила деньжонок и приобрела путевку в Социалистическую Федеративную Республику Югославию.

Написала девица свою краткую автобиографию, а также вызвали ее для беседы в одно официальное место. Где вопреки ожиданиям приняли девицу не в отдельном кабинете, а в конференц-зале. Кабинет оказался занят по каким-то другим, более насущным делам.

Девица, трясаясь от страха, стояла перед комиссией, которая сидела на сцене за зеленым столом.

— А зачем вы едете в Югославию? - спросила комиссия голосом дамы в золотых очках.

— Давно интересуюсь культурой и историей этой страны, - четко отвечала девица с комсомольским значком.

Комиссия пошептала и сказала:

- Советуем вам в Югославии установить контакт с югославскими комсомольцами и по приезде сделать доклад в вашей первичной комсомольской организации.

Так девица и оказалась в Югославии, а возвратившись оттуда, взялась рассказывать об этой солнечной стране своему любовнику, который по случаю выходного дня лежал в постели и курил, за неимением лучшего, папироску "Север".

— Я каталась на всех машинах. "Понтиак", "мерседес", "ягуар", "фиат". Яне каталась только в "ролс-рой-се". "Ролс-ройс" не попался мне в Югославии.

— "Ролс-ройс", - сказал любовник.

— Повел нас гид, приятный такой парень, Душан, на секс-фильм. А фильм - обычная скукота: текст - английский, титры - югославские.

— Титры, - сказал любовник.

— Меня хозяин гостиницы спрашивает: "Как зовут ту?" - "Люба", - отвечаю. Вот он и повторял потом все

время: "Аи, Люба! Аи, Люба". Больше по-русски ни бум-бум. Умора! И сам лично ее все время обслуживал. Предлагал, кстати, сочетаться законным браком в церкви. А та девочка такая умненькая, развитая. Она у нас была старшим группы. Он ей бутылку "виньяка" подарил и земляных орехов. Умора!

— Девочка, - сказал любовник.

— А конфуз-то вышел! Я прошу - передайте мне спички, а они как захохочут! Душан ко мне наклонился: "Ты

это слово не употребляй. Спички по-нашему, знаешь, что значит?" Умора! Я тогда стала говорить вместо спичек "шибица"...

— Вместо спичек, - сказал любовник.

— Мы идем - видим, бассейн. Для миллионеров-интуристов. Старуха жирная одна сидит. Я говорю: "Девочки, давайте купаться!" Только разделась - югослав бежит. "Не можно! Не можно!"

— Югослав, - сказал любовник.

— Что ни говори, - вздохнула девица. - А денег мне не жалко Я, во-первых, купила. Сапоги-чулки у нас на барахолке стоят сто двадцать, а у них на наши деньги - десятку.

— На наши деньги, - сказал любовник.

— Но помучили меня, помучили. Я три раза анкету переписывала. Папаша как алименты перестал платить, так

мы и не знали, где он и что. Оказалось, на Ангаре в леспромхозе таксатором работает. Допился, алкаш.

— Допился, - сказал любовник.

— Что ни говори! Вот они обедают, а на столе стоит прибор, вроде бы как у нас. Но в центре, под крышечкой,

зубочистки. Как покушают - сразу же берут зубочистку и ковыряют в зубах.

— Экая пакость, - сказал любовник.

— Что ни говори! - возразила девица. - У них культура поведения стоит высоко. Ножом и вилкой все умеют

пользоваться, даже малыши. Зато, знаешь, какие открытки в ларьках продают? Умора! Смотришь прямо - нога на ноге. Глаз прищуришь - ничего на ней нету. Но - дорогие. Парни журналов напокупали. На границе зачихали в штаны, боятся. А я листала-листала, на столике - много,

потом девочек позвала смотреть, а югослав кричит: "Не можно! Не можно!"

— Как к русским относятся? - вдруг ожил любовник.

— Очень хорошо! - убежденно отвечал девица. — Покажут, подвезут. Яна всех марках каталась. "Понтиак", "Мерседес", "Ягуар".

— Контакт с югославскими комсомольцами имела? - гаркнул любовник.

— Смотря что ты имеешь в виду, - насторожилась девица.

Любовник показал ей волосатый кулак.

- Вечно у тебя одни пошлости на уме! Скотина! - вспыхнула девица.

И потянулась вставать. А любовник захохотал, глотнул из горлышка вермута белого производства Канского винзавода и обнял ее.

Потом любовник лежал прямой и строгий. Он глядел в потолок, и по лицу его шаталась дикая ухмылка. Девица разглядывала на просвет свою клетчатую юбчонку.

— Отдала сто сорок динар, а ты ее всю измял, - пожаловалась она и, глубоко вздохнув, положила голову ему на грудь.

— Мм, - нежно сказал любовник.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Какой смысл, по вашему, вкладывает писатель в заглавие рассказа «Тихоходная барка “Надежда”»? Почему этот рассказ определил название всего сборника?
2. В чем особенность повествовательной манеры автора?
3. Рассказ кончается словами: «А какую они статью читали — я не знаю, я и забыл. Да и не это важно». Что же важно, по мнению писателя? Позволяет ли он читателям понять это?
4. Объясняя отсутствие развязок в новеллах Е. Попова, В. Курицын пишет: «Все завершается, опять же, обычно. Точнее, никак не завершается... Эффект загадочности и многомерности, “глубины” еле происходящих событий в том, что автор превращает нелепость, никчемность жизни в повод для удивления ее таинственностью и “прекрасностью”». Согласны ли вы с такой точкой зрения?
5. Критик А. Немзер, размышляя о книге Е. Попова «Подлинная история “Зеленых музыкантов”», утверждает: «...писатель может и должен прозревать сквозь прозу (злую, страшную, безжалостную) — поэзию и сказку». На ваш взгляд, обнаруживает ли «поэзию и сказку» в прозе жизни писатель Е. Попов?

Дополнительные вопросы

Прочитайте рассказ Е. Попова «Сын офицера» (сб. «Тихоходная барка “Надежда”»). М.: Вагриус, 2001).

Сумел ли автор передать психологию ребенка, воспроизведя воспоминания его детства? Какие черты конкретной эпохи открылись в этих воспоминаниях?

Какими чувствами повествователя окрашен рассказ о далеком детстве? Почему тревожит возможность забыть прошлое?

Перечитайте финал рассказа: «А было это так давно, что иногда кажется, что и вовсе этого не было. Тогда я задумываюсь, скучнею, курю и убеждаюсь, что было все-таки, потому что молча стояли шахтеры, и лица, руки их были темны от ввевшейся угольной пыли, и темным контуром высились терриконы, а была кругом весна — весна». Почему «скучнеет» рассказчик? В чем смысл неоднократного повторения слов о весне в этом произведении? Можно ли свести рассказ к ностальгии Е. Попова по собственной молодости?

Напишите рецензию на один из рассказов Е. Попова.

Татьяна Толстая (1951)

Толстая Татьяна Никитична родилась в Ленинграде, внучка знаменитого советского писателя А. Н. Толстого и поэтессы В. Крандиевской-Толстой, дед по материнской линии — переводчик и поэт М. Л. Лозинский.

Окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета, преподавала в американском университете.

С 1983 года начала печататься в литературно-художественных журналах «Новый мир» и «Октябрь».

Автор сборников «На золотом крыльце сидели...», «Любишь — не любишь», «Река Оккервиль», «День», «Ночь». В 2000 году опубликован роман «Кысь» (премия «Триумф» в 2001 году).

В одном из интервью Т. Толстая так сказала о своем писательском кредо: *«...Написать надо так, чтобы читатель не чувствовал, что его считают невеждой. А кроме того, желательно посмешить»*.

Из российских писателей ей ближе М. Булгаков, А. Платонов, Ю. Олеша, из современников — В. Пелевин.

Соня

Жил человек — и нет его. Только имя осталось — Соня. "Помните, Соня говорила..." "Платье похожее, как у Сони..." "Сморкаешься, сморкаешься без конца, как Соня..." Потом умерли и те, кто так говорил, в голове остался только след голоса, бестелесного, как бы исходящего из черной пасти телефонной трубки. Или вдруг раскроется, словно в воздухе, светлой фотографией солнечная комната — смех вокруг накрытого стола, и будто гиацинты в стеклянной вазочке на скатерти, тоже изогнувшиеся в кудрявых розовых улыбках. Смотри скорей, пока не погасло! Кто это тут? Есть ли среди них тот, кто тебе нужен? Но светлая комната дрожит и меркнет, и уже просвечивают марлей спины сидящих, и со страшной скоростью, распадаясь, уносится вдаль их смех — догони-ка. Нет, постойте, дайте нас; рассмотреть! Сидите, как сидели, и назовитесь по порядку! Но напрасны попытки ухватить воспоминания грубыми телесными руками, веселая смеющаяся фигура оборачивается большой, грубо раскрашенной тряпичной куклой, валится со стула, если не подоткнешь ее сбоку; на бессмысленном лбу потеки клея от мочального парика, и голубые стеклянные глазки соединены внутри пустого черепа железной дужкой со свинцовым шариком противовеса. Вот чертова перечница!

А ведь притворялась живой и любимой! А смеющаяся компания порхнула прочь и, поправ тугие законы пространства и времени, щебечет себе вновь в каком-то недоступном закоулке мира, вовеки нетленная, нарядно бессмертная, и, может быть, покажется вновь на одном из поворотов пути — в самый неподходящий момент и, конечно, без предупреждения.

Ну раз вы такие — живите как хотите. Гоняться за вами — все равно что ловить бабочек, размахивая лопатой. Но хотелось бы поподробнее узнать про Соню.

Ясно одно — Соня была дура. Это ее качество никто никогда не оспаривал, да теперь уж и некому. Приглашенная в первый раз на обед — в далеком, желтоватой дымкой подернутом тридцатом году, — истуканом сидела в торце длинного накрахмаленного стола, перед конусом салфетки, свернутой, как было принято — домиком. Стыло бульонное озерцо. Лежала праздная ложка. Достоинство всех английских королей, вместе взятых, заморозило Сонины лошадиные черты.

— А вы, Соня, — сказали ей (должно быть, добавили и отчество, но теперь оно уже безнадежно утрачено), — а вы, Соня, что же не кушаете?

— Перцу дожидаюсь, — строго отвечала она ледяной верхней губой.

Впрочем, по прошествии некоторого времени, когда уже выяснились и Сонины незаменимость на кухне в предпраздничной суете, и швейные достоинства, и ее готовность погулять с чужими детьми и даже посторожить их сон, если все шумной компанией отправляются на какое-нибудь неотложное

увеселение, — по прошествии некоторого времени кристалл Сониной глупости засверкал иными гранями, восхитительными в своей непредсказуемости. Чуткий инструмент, Сониная душа улавливала, очевидно, тональность настроения общества, пригревшего ее вчера, но, зазевавшись, не успевала перестроиться на сегодня. Так, если на поминках Соня бодро вскрикивала: "Пей до дна!" -то ясно было, что в ней еще живы недавние именины, а на свадьбе от Сониных тостов веяло вчерашней кутьей с гробовыми мармеладками.

"Я вас видела в филармонии с какой-то красивой дамой: интересно, кто это?" — спрашивала Соня у растерянного мужа, перегнувшись через его помертвевшую жену. В такие моменты насмешник Лев Адольфович, вытянув губы трубочкой, высоко поднимая лохматые брови, мотал головой, блестел мелкими очками: "Если человек мертв, то это надолго, если он глуп, то это навсегда!" Что же, так оно и есть, время только подтвердило его слова.

Сестра Льва Адольфовича, Ада, женщина острая, худая, по-змеиному элегантная, тоже попавшая однажды в неловкое положение из-за Сониного идиотизма, мечтала ее наказать. Ну, конечно, слегка — так, чтобы и самим посмеяться, и дурочке доставить небольшое развлечение. И они шептались в углу — Лев и Ада, — выдумывая что поостроумнее.

Стало быть, Соня шила... А как она сама одевалась? Безобразно, друзья мои, безобразно! Что-то синее, полосатое, до такой степени к ней не идущее! Ну вообразите себе: голова как у лошади Пржевальского (подметил Лев Адольфович), под челюстью огромный висячий бант блузки торчит из твердых створок костюма, и рукава всегда слишком длинные. Грудь впалая, ноги такие толстые — будто от другого человеческого комплекта, и косолапые ступни. Обувь набок снашивала. Ну, грудь, ноги — это не одежда... Тоже одежда, милая моя, это тоже считается как одежда! При таких данных надо особенно соображать, что можно носить, чего нельзя!.. Брошка у нее была — эмалевый голубок.

Носила его на лацкане жакета, не расставалась. И когда переодевалась в другое платье — тоже обязательно прицепляла этого голубка.

Соня хорошо готовила. Торты накручивала великолепные. Потом вот эту, знаете, требуху, почки, вымя, мозги — их так легко испортить, а у нее выходило — пальчики оближешь. Так что это всегда поручалось ей. Вкусно, и давало повод для шуток. Лев Адольфович, вытягивая губы, кричал через стол: "Сонечка, ваше вымя меня сегодня просто потрясает!" — и она радостно кивала в ответ. А Ада сладким голоском говорила: "А я вот в восторге от ваших бараньих мозгов!" — "Это телячьи", — не понимала Соня, улыбаясь. И все радовались: ну не прелесть ли?!

Она любила детей, это ясно, и можно было поехать в отпуск, хоть в Кисловодск, и оставить на нее детей и квартиру — поживите пока у нас, Соня, ладно? — и, вернувшись, найти все в отменном порядке: и пыль вытерта, и дети румяные, сытые, гуляли каждый день и даже ходили на экскурсию в музей, где Соня служила каким-то там научным хранителем, что ли; скучная жизнь у этих музейных хранителей, все они старые девы. Дети успевали привязаться к ней и огорчались, когда ее приходилось перебрасывать в другую семью. Но ведь нельзя же быть эгоистами и пользоваться Соней в одиночку: другим она тоже могла быть нужна. В общем, управлялись, устанавливали какую-то разумную очередь.

Ну что о ней еще можно сказать? Да это, пожалуй, и все! Кто сейчас помнит какие-то детали? Да за пятьдесят лет никого почти в живых не осталось, что вы! И столько было действительно интересных, по-настоящему содержательных людей, оставивших концертные записи, книги, монографии по искусству. Какие судьбы! О каждом можно говорить без конца. Тот же Лев Адольфович, негодяй в сущности, но умнейший человек и в чем-то миляга. Можно было бы порасспрашивать Аду Адольфовну, но ведь ей, кажется, под девяносто, и — сами понимаете... Какой-то там случай был с ней во время блокады. Кстати, связанный с Соней. Нет, я плохо помню. Какой-то стакан, какие-то письма, какая-то шутка.

Сколько было Соне лет? В сорок первом году — там ее следы обрываются — ей должно было исполниться сорок. Да, кажется, так. Дальше уже просто подсчитать, когда она родилась и все такое, но какое это может иметь значение, если неизвестно, кто были ее родители, какой она была в детстве, где жила, что делала и с кем дружила до того дня, когда вышла на свет из неопределенности и села дожидаться перцу в солнечной, нарядной столовой.

Впрочем, надо думать, что она была романтична и по-своему возвышенна. В конце концов, эти ее банты, и эмалевый голубок, и чужие, всегда сентиментальные стихи, не вовремя срывавшиеся с губ, как бы выплюнутые длинной верхней губой, приоткрывавшей длинные, костяного цвета зубы, и любовь к детям — причем к любимым, — все это характеризует ее вполне однозначно. Романтическое существо. Было ли у нее счастье? О да! Это — да! уж что-что, а счастье у нее было.

И вот надо же — жизнь устраивает такие штуки! — счастьем этим она была обязана всецело этой змее Аде Адольфовне. (Жаль, что вы ее не знали в молодости. Интересная женщина.)

Они собрались большой компанией — Ада, Лев, еще Валериан, Сережа, кажется, и Котик, и кто-то еще — и разработали уморительный план (поскольку идея была Адина, Лев называл его "адским планчиком"), отлично им удавшийся. Год шел что-нибудь такое тридцать третий. Ада была в своей лучшей форме, хотя уже и не девочка, — фигурка прелестная, лицо смуглое с темно-розовым румянцем, в теннис она первая, на байдарке первая, все ей смотрели в рот. Аде было даже неудобно, что у нее столько поклонников, а у Сони — ни одного. (Ой, умора! У Сони — поклонники?!) И она предложила придумать для бедняжки загадочного дыхателя, безумно влюбленного, но по каким-то причинам никак не могущего с ней встретиться лично. Отличная идея! Фантом был немедленно создан, наречен Николаем, обременен женой и тремя детьми, поселен для переписки в квартире Адиногo отца — тут раздались было голоса протеста: а если Соня узнает, если сунется по этому адресу? — но аргумент был отвергнут как несостоятельный: во-первых, Соня дура, в том-то вся и штука; ну а во-вторых, должна же у нее быть совесть — у Николая семья, неужели она ее возьмется разрушить? Вот, он же ей ясно пишет, — Николай то есть, — дорогая, ваш незабываемый облик навеки отпечатался в моем израненном сердце (не надо "израненном", а то она поймет буквально, что инвалид), но никогда, никогда нам не суждено быть рядом, так как долг перед детьми... ну и так далее, но чувство, — пишет далее Николай, — нет, лучше: истинное чувство — оно согреет его холодные члены ("То есть как это, Адочка?" — "Не мешайте, дураки!") путеводной звездой и всякой там пышной розой. Такое вот письмо. Пусть он видел ее, допустим, в филармонии, любовался ее тонким профилем (тут Валериан просто свалился с дивана от хохота) и вот хочет, чтобы возникла такая возвышенная переписка. Он с трудом узнал ее адрес. Умоляет прислать фотографию. А почему он не может явиться на свидание, тут-то дети не помешают? А у него чувство долга. Но оно ему почему-то ничуть не мешает переписываться? Ну тогда пусть он парализован. До пояса. Отсюда и хладные члены. Слушайте, не дурите! Надо будет — парализуем его попозже. Ада брызгала на почтовую бумагу "Шип-ром", Котик извлек из детского гербария засушенную незабудку, розовую от старости, совал в конверт. Жить было весело!

Переписка была бурной с обеих сторон. Соня, дура, клюнула сразу. Влюбилась так, что только оттаскивай. Пришлось слегка сдерживать ее пыл: Николай писал примерно одно письмо в месяц, притормаживая Соню с ее разбушевавшимся купидоном.

Николай изощрялся в стихах: Валериану пришлось попотеть. Там были просто перлы, кто понимает, — Николай сравнивал Соню с лилией, лианой и газелью, себя — с соловьем и джейраном, причем одновременно. Ада писала прозаический текст и осуществляла общее руководство, останавливая своих резвившихся приятелей, дававших советы Валериану: "Ты напиши ей, что она -гну. В смысле антилопа. Моя божественная гну, я без тебя иду ко дну!" Нет, Ада была на высоте: трепетала Николаевой нежностью и разверзала глубины его одинокого мятущегося духа, настаивала на необходимости сохранять платоническую чистоту отношений и в то же время подпускала намек на разрушительную страсть, время для проявления коей еще почему-то не пришло. Конечно, по вечерам Николай и Соня

должны были в назначенный час поднять взоры к одной и той же звезде. Без этого уж никак. Если участники эпистолярного романа в эту минуту находились поблизости, они старались помешать Соне раздвинуть занавески и украдкой бросить взгляд в звездную высь, звали ее в коридор: "Соня, подите сюда на минутку... Соня, вот какое дело...", наслаждаясь ее смятием: заветный миг надвигался, а Николаев взор рисковал проболтаться попусту в окрестностях какого-нибудь там Сириуса или как его — в общем, смотреть надо было в сторону Пулкова.

Потом затея стала надоедать: сколько же можно, тем более что из томной Сони ровным счетом ничего нельзя было вытянуть, никаких секретов; в наперсницы к себе она никого не допускала и вообще делала вид, что ничего не происходит, — надо же, какая скрытная оказалась, а в письмах горела неугасимым пламенем высокого чувства, обещала Николаю вечную верность и сообщала о себе все-превсе: и что ей снится, и какая пичужка где-то там прощобетала. Высылала в конвертах вагоны сухих цветов, и на один из Николаевых дней рождения послала ему, отцепив от своего ужасного жакета, свое единственное украшение: белого эмалевого голубка. "Соня, а где нее ваш голубок?" - "Улетел", — говорила она, обнажая костяные лошадиные зубы, и по глазам ее ничего нельзя было прочесть. Ада все собиралась умертвить, наконец, обременявшего ее Николая, но, получив голубка, слегка содрогнулась и отложила убийство до лучших времен. В письме, приложенном к голубку, Соня клялась непременно отдать за Николая свою жизнь или пойти за ним, если надо, на край света.

Весь мыслимый урожай смеха был уже собран, проклятый Николай каторжным ядром путался под ногами, но бросить Соню одну, на дороге, без голубка, без возлюбленного, было бы бесчеловечно. А годы шли; Валериан, Котик и, кажется, Сережа по разным причинам отпали от участия в игре, и Ада мужественно, угрюмо, одна несла свое эпистолярное бремя, с ненавистью выпекая, как автомат, ежемесячные горячие почтовые поцелуи. Она уже сама стала немного Николаем, и порой в зеркале при вечернем освещении ей мерещились усы на ее смугло-розовом личике. И две женщины на двух концах Ленинграда, одна со злобой, другая с любовью, строчили друг другу письма о том, кого никогда не существовало.

Когда началась война, ни та ни другая не успели эвакуироваться. Ада копала рвы, думая о сыне, увезенном с детским садом. Было не до любви. Она съела все, что было можно, сварила кожаные туфли, пила горячий бульон из обоев — там все-таки было немного клейстера. Настал декабрь, кончилось все. Ада отвезла на саночках в братскую могилу своего папу, потом Льва Адольфовича, затопила печурку Диккенсом и негнушимися пальцами написала Соне прощальное Николаево письмо. Она писала, что все ложь, что она всех ненавидит, что Соня — старая дура и лошадь, что ничего не было и что будьте вы все прокляты. Ни Аде, ни Николаю Дальше жить не хотелось. Она отперла двери большой отцовской квартиры, чтобы похоронной команде легче было войти, и легла на диван, навалив на себя пальто папы и брата.

Неясно, что там было дальше. Во-первых, это мало кого интересовало, во-вторых, Ада Адольфовна не очень-то разговорчива, ну и, кроме того, как уже говорилось, время!

Время все съело. Добавим к этому, что читать в чужой душе трудно: темно, и дано не всякому. Смутные домыслы, попытки догадок - не больше.

Вряд ли, я полагаю, Соня получила Николаеву могильную весть. Сквозь тот черный декабрь письма не проходили или же шли месяцами. Будем думать, что она, возведя полуслепые от голода глаза к вечерней звезде над разбитым Пулковом, в этот день не почувствовала магнетического взгляда своего возлюбленного и поняла, что час его пробил. Любящее сердце — уж говорите, что хотите — чувствует такие вещи, его не обманешь. И, догадавшись, что пора, готовая испепелить себя ради спасения своего единственного, Соня взяла все, что у нее было - баночку довоенного томатного сока, сбереженного для такого вот смертного случая, — и побрела через весь Ленинград в квартиру умирающего Николая. Сока там было ровно на одну жизнь.

Николай лежал под горой пальто, в ушанке, с черным страшным лицом, с запекшимися губами, но гладко побритый. Соня опустила на колени, прижалась глазами к его отекающей руке со сбитыми ногтями и немножко поплакала. Потом она напоила его соком с ложечки, подбросила книг в печку благословила свою счастливую судьбу и ушла с ведром за водой, чтобы больше никогда не вернуться - бомбили в тот день сильно.

Вот, собственно, и все, что можно сказать о Соне. Жил человек — и нет его. Одно имя осталось.

...— Ада Адольфовна, отдайте мне Сонины письма.

Ада Адольфовна выезжает из спальни в столовую, поворачивая руками большие колеса инвалидного кресла. Сморщенное личико ее мелко трясется. Черное платье прикрывает до пят безжизненные ноги. Большая камешка приколотая у горла. На камее кто-то кого-то убивает: щиты, копьё, враг изящно упал.

— Письма?

Письма, письма, отдайте мне Сонины письма

— Не слышу!

Слово "отдайте" она всегда плохо слышит раздраженно шипит жена внука, косясь на камею.

— Не пора ли обедать? — шамкает Ада Адольфовна.

Какие большие темные буфеты, какое тяжелое столовое серебро в них, и вазы, и всякие запасы: чай, варенья, крупы, макароны. Из других комнат тоже виднеются буфеты, буфеты, гардеробы, шкафы — с бельем, с книгами, со всякими вещами. Где она хранит пачку Сониных писем, ветхий пакетик, перехваченный бечевкой, потрескивающий от сухих цветов, желтоватых и прозрачных, как стрекозиные крылья? Не помнит или не хочет говорить? Да и что толку — приставать к трясущейся парализованной старухе! Мало ли у нее самой было в жизни трудных дней? Скорее всего она бросила эту пачку в огонь, встав на распухшие колени в ту ледяную зиму, во вспыхивающем кругу минутного света, и, может быть, робко занявшись вначале, затем быстро чернея с углов, и, наконец,

взвившись столбом гудящего пламени, письма согрели, хоть на краткий | миг, ее скрюченные, окоченевшие пальцы. Пусть так. Вот только белого голубка, я думаю, она должна была оттуда вынуть. Ведь голубков огонь не берет.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Как вы думаете, почему главную героиню считали душой? Как еще можно было бы ее охарактеризовать?
2. Готов ли читатель к совсем несмешному финалу в веселом розыгрыше Соня?
3. Какое впечатление остается у вас после прочтения рассказа? С героями каких прочитанных вами произведений вы могли бы сравнить Соню?
4. В памяти семьи осталось только имя «Соня». Почему, с вашей точки зрения, этим именем назван рассказ?
5. Как вы думаете, с какой целью автор постоянно привлекает внимание к такой детали, как брошка героини? Оцените в рецензии оправданность этого приема.

Дополнительные вопросы

1. Прочитайте другие произведения Т. Толстой из книги «Река Оккервиль» (М., 2002). Какие из них вам понравились? Поделитесь своими читательскими впечатлениями.
2. Литературный критик М. Ремизова полагает, что «наслаждение, сопутствующее чтению рассказов Толстой, происходит прежде всего из безупречно воспринятой гармонии слова». Как бы вы охарактеризовали писательскую манеру Т. Толстой?

Александр Хургин (1952)

Хургин Александр Зиновьевич родился 28 октября 1952 года в Москве, в семье врачей - Зиновия Айзиковича и Татьяны Львовны Хургиных. До 2003 года жил на Украине. Живет в Хемнице (Chemnitz), Германия.

Постоянный автор и лауреат премий Московских литературных журналов «Знамя», (1993), «Дружба народов» (1998), «Октябрь» (2003 и 2004), лауреат премии "Литературна скарбница" СП Украины (1991), премии имени Короленко (2001), дважды выдвигался на Букеровскую премию. Печатался также в «Новом мире», «Юности», «Огонёк», «Литературной газете», журналах "Литературные записки", «Магазин Жванецкого», "Новый очевидец", "Фонтан", "ШО", "Фабула" и во многих других изданиях.

Автор восьми книг прозы, вышедших в частности в библиотеке журнала «Огонёк» ("Лишняя десятка", 1991), в Московских издательствах «Вагриус» ("Ночной ковбой", 2001), «МК-Периодика» ("Бесконечная курица", 2002.), «Зебра Е» ("Кладбище балалаек", 2006).

Участник антологий: «Вагриус-проза 1992-2002» (Москва, «Вагриус», 2002), «Проза новой России» (Москва, «Вагриус», 2003), «Современная русская проза» (Москва, «Захаров», 2003), «Афористика и карикатура» (Москва, «Эксмо», 2003), „Rußland. 21 neue Erzähler“ (München, „DTV“, 2003), „La prose russe contemporaine“ (Paris, „Fayard“, 2005), „Tema Lezarva“ (Budapesht, „Gabo“, 2005), „Cuentos rusos“ (Madrid, „Siruela“, 2006), "Liebe auf Russisch" (Berlin, "Ullstein", 2008).

В Германии публиковался в журнале "Партнер" (Дортмунд) и в еженедельнике "Freitag" (Берлин).

Сайт писателя: <https://khurgin.de>

Виолончель Погорелова

Виолончель эту Погорелый, конечно, не покупал. Потому что виолончель Погорелому нужна была в жизни меньше всего. То есть на фиг она ему была не нужна. Виолончель же, кроме как на ней играть, ни на что больше не годится, а играть Погорелый не умел не только на виолончели, но и на других инструментах.

У него и слуха-то никакого не было, разве что самый элементарный, для бытовых нужд предназначенный. И спеть в настроении "Ой, мороз, мороз, не морозь меня" Погорелый еще мог, а, допустим, "Врагу не сдастся наш гордый Варяг" - уже ни под каким соусом. Да и не волновали его музыкальные произведения искусства, особенно, если их на виолончели исполнять.

Виолончель эту Погорелый у себя в квартире нашел. В новой. То есть квартира, конечно, была старой, но он ее снял для себя недавно и недорого, и по отношению к Погорелому таким образом квартира была новой. И от хозяев или от прежних жильцов в кладовке осталась эта самая виолончель. Погорелый полез в кладовку обувь резервную расставить,

смотрит, а в кладовке виолончель на боку лежит. С виду такая вся в пыли - может даже, старинная. Но хорошо сохранившаяся во времени. И лак блестит, и не треснута нигде, и струны все целые до одной - только обвисшие, без натяжения, что легко поправимо.

Погорелый взял виолончель в руки и подержал. Держать ее было приятно. И ладони от нее согревались. А смычка в кладовке не нашлось. Не было там, в кладовке, смычка. И нигде в квартире его не было. Это Погорелый точно установил и без особого труда. Наверно, до него тут виолончелист жил и умер, и ему смычок вместе с расческой и зубами вставными во гроб положили, как предмет личной необходимости, а виолончель туда уже не влезла. Поэтому виолончель в квартире осталась, а смычок - нет. Останься в квартире и смычок тоже, Погорелый нашел бы его с легкостью. Квартира же практически пустой стояла, когда он в нее въехал, чтобы начать жить. Можно сказать, виолончель стала первой вещью из мебели, которая в этой квартире у него - то есть даже до него - завелась. А потом он уже купил у отъезжающих на ПМЖ этнических немцев еврейской национальности одноместный диван, две книжных полки, стул и стол в кухню. А холодильник и шкафчик ему соседка подарила на новоселье от широты души и натуры. У нее с прежних советских времен всеобщего равенства и дефицита в квартире четыре холодильника остались стоять. Три "Днепра" и один "Зил". Отец соседки покойный директором завода работал, в украинском обществе слепых, и мог себе позволить такую непопозволительную роскошь - чтобы иметь возможность запасы делать мясные, консервные и прочие. А в нынешнее трудное время изобилия и реформ эти холодильники только помещение собой захламляли, уменьшая реальную жилую площадь, и три из них стояли без надобности и от сети отключенными в целях экономии платы за электроэнергию. Пока отец соседки был жив, он говорил "пусть стоят, авось послужат еще верой и правдой и пригодятся. И мало ли что, - говорил, - и мало ли какие розы нам приготовил Горбачев". А когда он умер, соседка "Днепры" разумно захотела продать, но их никто не захотел купить. За какую-нибудь, не вызывающую смеха цену. И один холодильник "Днепр" она, значит, отдала Погорелому фактически в вечное пользование. И шкафчик дала в придачу. Который в ее кухню не влез. Кухни в домах этого типа не были просторными ни в трехкомнатных квартирах, ни в однокомнатных, и один шкафчик из кухонного гарнитура, купленного соседкой после смерти отца - чтобы отвлечь себя от грустных мыслей - на стенку не уместился. И стоял в прихожей на полу, и об его угол все спотыкались и ударяли ноги, обычно на высоте колен и бедер. Вот она и отдала его Погорелому - тоже в пользование за ненадобностью. А он шкафчик этот, конечно, взял и в хозяйство к себе определил. И благодарность соседке выразил всеми доступными ему средствами. И теперь у него было куда в кухне сложить различную утварь, в том числе посуду составить. Посуда у него кое-какая имелась в распоряжении. Самая, конечно, необходимая и простая. Но ему и ее хватало - и в будние дни, и в праздничные. И он стал в квартире этой, снятой недорого, жить, а соседка стала к нему приходить в гости, и они стали с ней спать на одноместном диване то днем, то ночью. Они могли бы, конечно, и у нее спать, на двуспальной кровати, более для этого дела предназначенной, но она Погорелого к себе приглашала редко, обычно на большие праздники общегосударственного значения. И то по окончании празднования спать они ходили к Погорелому. Может, ее воспоминания какие неприятные или неприличные мучили, с собственной кроватью связанные, а может, не хотела она лишней раз постель пачкать и

потом неизбежно ее стирать, сушить и гладить. А звали соседку Еленой. И про виолончель она сказала:

- Хорошая вещь, добротная.

- И наверное, ценная, - сказал Погорелый. - В смысле, дорого в денежном выражении стоит.

На что соседка Елена не возразила, но и согласия с мнением Погорелого не выразила. Поскольку она знала - ценность виолончели определяется ее звуком и мастером-изготовителем. А какой у данной виолончели звук и тем более мастер - они не имели понятия. И проверить не могли. Смычок к виолончели не прилагался - чтоб им по струнам поводить - и этикетки или, другими словами, лэйбла тоже нигде на корпусе инструмента не значилось. Если б это была не виолончель, а хотя бы гитара, с отверстием известного калибра в центре деки, тогда, наверно, лэйбл этот просматривался бы - его чаще всего приклеивают внутри, но в пределах видимости. А сквозь виолончельные прорези ничего увидеть нельзя, даже если в них фонариком китайским светить.

Потом, когда Погорелый пожил в этой квартире и кое-как обжился, к нему пришли в гости с улицы собака и кошка. Собака вся в кудрявой шерсти, от хвоста до носа, а кошка обыкновенная. Они пришли к Погорелому вечером, перед ужином. И ужином он их накормил. А они, поев, остались ночевать в прихожей. И назавтра никуда не ушли. И Погорелый постирал их обеих в ванной с хозяйственным мылом, а потом вычесал деревянной расческой, которую купил у ремесленника с художественным уклоном для себя самого. Расческа была редкозубая, но острая, и кошке с собакой процесс вычесывания понравился. Погорелому показалось, что им и купаться понравилось. Даже кошке, которая воду любить не должна от природы.

И когда собака с кошкой приобрели чистый домашний вид, они стали выходить по вечерам на прогулки. Втроем. И кроме них, Погорелый брал с собой виолончель. Он получил как-то незапланированные свободные деньги и специально купил ей чехол, подумав - хорошо, что я виолончель у себя в квартире нашел, а не контрабас или арфу.

И так они ходили по городу. Посредине Погорелый с виолончелью, слева собака, справа кошка. А иногда соседка Елена тоже за ними увязывалась. Тогда в середине шли Погорелый с виолончелью и соседкой. Поводками ни для собаки, ни для кошки он не пользовался. И прекрасно без них обходился. И собака с кошкой тоже обходились. Они никуда не убегали - ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево. А шли благородно и чинно, рядом с Погорелым и с Еленой, как все равно одна семья. Правда, кошка к Елене относилась не слишком хорошо и радушно. С предубеждением она к ней относилась и с ревностью. И когда Елена приходила к Погорелому и ложилась к нему в постель, кошка тоже залезала в постель и мешала им заниматься любовью между мужчиной и женщиной. А собака не мешала. Их человеческая любовь была собаке безразлична. Она оставалась в прихожей на коврик и спала там крепким собачьим сном.

Конечно, кошка раздражала соседку Елену и злила ее своим беспардонным не вовремя поведением. А Погорелого она смешила, хотя ему было приятно, что кошка его ревнует. Он гладил ее по ушам и говорил "умница". А потом говорил "ну ладно, иди пока, иди" и

ставил аккуратно на пол. Кошка смотрела на него через плечо и, вильнув один раз хвостом, уходила к собаке. И леглась спать с нею рядом. Вдвоем им спать было тепло - хоть утром, хоть ночью, хоть летом, хоть зимой.

Иногда Елена спрашивала у Погорелого:

- Зачем ты ходишь по улице с виолончелью? Ты ж не виолончелист.

А Погорелый ей отвечал:

- Не виолончелист.

А однажды она спросила у него:

- Сколько тебе лет?

Погорелый ответил, и она расстроилась.

- Так я и думала, - сказала. Хотя она думала и надеялась, что ему больше.

Выглядел-то Погорелый не очень хорошо. Он, скорее, наоборот выглядел. Наверно, потому, что физической культурой и спортом не занимался и регулярно вел нездоровый образ жизни. И в этой квартире он такой образ жизни вел, и в предыдущей, и раньше тоже. Правда, предыдущая его квартира была хуже нынешней, несравнимо хуже. То есть квартира была примерно такая же, однокомнатная, и район похожий, и воздух. И соседка, правда, не Елена, а Татьяна, к нему там приходила с той же целью, что и тут приходит, но ни холодильника, ни виолончели, ни кошки с собакой у него в прошлой квартире не было. И ему их сильно недоставало. Сейчас он это прекрасно и остро чувствовал. И без холодильника он и сегодня мог бы легко обойтись, но без кошки, собаки и виолончели, в полном, значит, одиночестве, чтобы жить и о них не заботиться, и гулять без них по улице - этого Погорелый представить уже не мог. А еще раньше у него совсем никакой квартиры не было. А то, что было, квартирой можно, конечно, считать, но только в качестве злой насмешки и шутки ради. Несмотря на то, что жилье это называется среди людей казенным домом. Попал туда Погорелый, как во сне, так и не поняв детально, за что и почему, и каким образом ему инкриминировали столько противоправных пунктов и эпизодов. Он только понял, что кто-то его подставил и вроде бы предал по всем статьям, уходя от ответственности и заметая следы. А больше он ничего не понял. И понять не попытался. Он решил тогда: "Что случилось, то случилось, и чего после драки голову себе ломать? В следующий раз буду умнее, может быть". И еще решил, что надо случившееся достойно пережить, приспособившись к предложенным жизнью условиям. И пережил, приобретя отрицательный опыт и закалившись морально, а физически, конечно, ослабев на плохом питании и при ограничении передвижений.

То ли дело теперь. Теперь совсем другое дело. Теперь вот идет себе Погорелый с виолончелью, Еленой, собакой и кошкой, гуляя.

- Наверное, все считают меня известным виолончелистом, - думает Погорелый на ходу - лауреатом конкурсов или премий. А Елену, возможно, принимают за мою жену, в смысле, супругу. И, может быть, предполагают в ней певицу, солистку оперы и балета. И так мы

идем, а все на нас смотрят и про себя без злобы завидуют - мол, надо же, как неповторимо и своеобразно творческая ячейка общества по улице гуляет. И еще думает Погорелый, что надо себе костюм купить коричневый и белую рубашку, можно в мелкую серую клетку для прогулок. И он бы, наверное, продолжал думать в том же самом направлении о всяких носках бежевых, туфлях кожаных, галстук от Воронина и плаще на случай дождя - если бы не вышел к нему из-за клена чужой неизвестный мальчик, не вышел и не спросил:

- Дядя, ты что, из цирка?

- Почему из цирка? - Погорелый вынужден был отвлечься от своих промтоварных мыслей, чтобы ответить мальчику, а все его спутники невольно остановились и прислушались.

- А откуда? - спросил мальчик и сказал: - Сыграй, - сказал, - если ты из цирка, на виолончели.

- Я не из цирка, - сказал Погорелый.

- А я думал, из цирка, - сказал мальчик и разочаровался в Погорелом.

"Почему он во мне разочаровался? - подумал Погорелый. - И почему решил, что я из цирка? Из-за кошки с собакой или из-за Елены? А может, - подумал, я на клоуна похож, музыкального эксцентрика - в окружении женщины, виолончели, собаки и кошки?"

- Ты что-нибудь поняла? - спросил Погорелый у Елены. - Насчет цирка?

- Нет, - сказала Елена. - Насчет цирка не поняла. - И сказала: Наверно, мальчик глупый. Или у него большое воображение.

- Большое или больное? - спросил Погорелый.

- Трудно сказать, - ответила Елена, а собака встала на задние лапы. Кошка через нее, естественно, перепрыгнула.

- Ну вот, - сказала Елена.

- Что вот? - сказал Погорелый.

А Елена сказала "ничего", но кошке пальцем все-таки пригрозила.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Каково ваше первое впечатление от прочитанного?
2. Познакомьтесь с отрывками из рецензий на произведения Хургина.

«Казалось бы, ясно — не дал тебе Бог зощеновского или булгаковского таланта, не коверкай язык (это, конечно, в случае сознательного создания сих словесных шедевров). Видимо, наш автор подобные таланты в себе подозревает...» (Мария Ремизова)

«Начинал он как “юморист”, а тем, к чему пришел, подтверждает давнее мое убеждение, возникшее из собственного опыта: не бывает “юмористических писателей”, как не может быть “фортических композиторов” (например, от слова «фортэ»). Юмор не жанр, а качество литературы, одно из. Причем, думаю, обязательное. У Хургина, кроме него, присутствуют еще все другие, включая такой органический трагизм восприятия всего, вплоть до погоды, какого не знаю ни у кого из действующих сочинителей, исключая, может, Петрушевскую». (Александр Кабаков)

Андрей Урицкий пишет, что в произведениях Хургина «проступает жизнь во всей ее полноте, сложности, невероятности. Это и есть мастерство писателя, рисующего итрихами мельчайшие детали, — а в результате возникает картина».

С точкой зрения кого из рецензентов вы согласны и почему?

3. Как вы относитесь к мнению, что «никаких событий в рассказах Хургина не совершается. И не может совершиться»?

4. Прочитайте рецензию на рассказ «Виолончель Погорелова». Найдите в ней компоненты жанра. В чем вы согласны или не согласны с автором рецензии?

«Виолончель Погорелова» писателя Александра Хургина была напечатана в первом номере журнала «Знамя» в 2001 году вместе с еще одним рассказом под общим названием «Иллюзия».

Сюжет произведения прост. Герой поселяется в снятой им дешевой однокомнатной квартире без мебели. В кладовке находит старую виолончель без смычка. Соседка дает ему холодильник и шкаф.

К нему приходят собака и кошка. Погорелый приобретает чехол для виолончели и гуляет по улице с виолончелью в сопровождении соседки, собаки и кошки. В центре внимания автора — человек, живущий во времени. В рассказе читаем, что «виолончель» «сохранилась во времени». Погорелый живет в «нынешнее трудное время изобилия и реформ». Сквозной темой, определяющей внутреннее состояние героя, становится мысль о том, что «надо приспособиться к предложенным жизнью условиям».

Приспосабливаются ко времени все, о ком говорит Хургин. При этом автор подчеркивает какую-то мистификацию, сопровождающую жизнь его героев: «отъезжающие на ПМЖ этнические немцы» почему-то «еврейской национальности». Покойный отец соседки Елены «директор завода работал в украинском обществе слепых» поэтому заполнил дом холодильниками, которые нельзя сейчас продать «за какую-нибудь не вызывающую смеха цену».

Соседка приспособилась к жизни среди холодильников и ненужной мебели к возможности спать с Погореловым на одном диване.

Песня «врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”» недоступна герою «ни под каким соусом».

Погорелый приспособился к жизни в казенном доме, куда попал он «как во сне», так и не поняв, за что его отправили туда. Кажется, что фамилией «Погорелов» автор сразу заявляет, что, приспособляясь к обстоятельствам, герой — выгорел, погорел. Это символ трагической судьбы людей, продирающихся сквозь время. Но писатель выносит в заглавие слово «виолончель». Он не написал «Погорелый и виолончель» или «История Погорелова». В центре внимания удивительным образом оказывается неодушевленный предмет.

В экспозиции рассказа автор говорит, что виолончель «на фиг она ему была не нужна». У героя-то «и слуха никакого не было». «Да и не волновали его произведения искусства, особенно если их на виолончели исполнять». Очевидна пропасть между ним и предметом, попавшим в его руки.

Однако между вещью и человеком появляется связь: виолончель «тоже сохранилась во времени». И она прошла сквозь него, оттого и спущены струны, и нет смычка. Она уже не несет музыки, это мебель. Но эта немusыкальная виолончель и погоревший человек соединяются, казалось бы, чисто внешней связью. Виолончель обретает футляр, хозяина и, как кошка с собакой и соседкой, сопровождает героя на прогулках.

Разворачивается тема иллюзии, которую выстраивает Погорелов для окружающих. Оказывается, он не хочет быть тем, кем сделался.

Какова же позиция автора? Мистификация скрыта в самой повествовательной манере писателя. Его голос слит с голосом героя: «А холодильник и шкафчик ему соседка подарила от широты души и натуры». Или: «Наверное, до него тут виолончелист жил и умер, и ему смычок вместе с расческой и зубами вставными во гроб положили как предмет личной необходимости...» За речевыми штампами, примитивностью речевых конструкций и некоторой витиеватостью речи героя скрыта авторская ирония, окрашенная

грустью. Вспомним слова мальчика, неожиданно разрушившие мечты Погорелова: «Дядя, ты что, из цирка?»

Зачем писателю понадобился этот образ? Возможно, он напоминает, что «устаами младенца глаголет истина»? Этот рассказ и стилевая манера автора напоминают произведения М. М. Зощенко. Нэп, 20-е годы двадцатого столетия. Рядовой советский человек, энергичный, общительный, и тема вещей, слитых с жизнью людей. Но тогда вещи не лежали мертвым грузом. Они находили свое практическое применение. Использовалось все, даже иностранный порошок от блох в качестве пудры (рассказ «Качество продукции»). Вещь приобретала особую значимость, если она была иностранного происхождения.

Хургин, используя стилевую манеру Зоценко, пишет о внуках и правнуках тех героев. Нынешние окружены массой вещей, о которых не мечтали их предки — холодильниками, книжными полками, виолончелями, двуспальными кроватями. Но на полках нет книг, в холодильнике — продуктов, на двуспальной кровати никто не спит.

Звучит тема пассивно принятой судьбы, которую определяют те, кто стоит на вершине общественной лестницы («какие розы нам приготовит Горбачев»), Это жизнь в «обществе слепых» или в «казенном доме», как в одной из квартир, спокойное раздумье о смерти, о гробе, в которую положат расческу и смычок, если ты виолончелист.

К финалу рассказа усиливается тема одиночества. У Хургина нет презрения к герою. Он естественный продукт очень долгого воспитания. Но грусть писателя не превращается в безысходную тоску: в человеке сохраняется стремление заботиться о чем-то или о ком-то, он страдает от одиночества: «И без холодильника он и сегодня мог бы легко обойтись, но без кошки, собаки и виолончели, в полном, значит, одиночестве чтобы жить и о них не заботиться, и гулять без них по улице — этого Погорелый представить уже не мог».

Рядом с героем - тоскующая одинокая соседка Елена, рядом — собака без поводка и кошка, согревающие друг друга теплом. Грустный мир, в котором не звучит музыка. А мечты Погорелова обращены к вещам, в которых он будет ходить по улице.

Хургин пишет о рядовом человеке, о его грустном хождении по кольцу жизни, как по цирковой арене, но он остается с этим человеком.

А. Иванов

Дополнительные вопросы

Прочитайте другие рассказы А. Хургина — «Иллюзия» («Знамя», №9, 2001), «Долги» («Октябрь», №7, 2002), «Не спас», «Гуманоид» («Октябрь», №9, 2000). Можно ли какое-то из этих произведений вслед за одним из рецензентов назвать «маленьким шедевром»? Или же тон вашей будущей рецензии будет таким же ироничным, как у М. Ремизовой?

Юрий Буйда (1954)

Юрий Васильевич Буйда родился в 1954 году в поселке Знаменск Калининградской области в семье служащих. Окончил Калининградский университет в 1982 году. Работал журналистом. С 1991 года проживает в Москве, и с этого же года публикуется как прозаик. Он автор романа «Дон Домино» (1994; шорт-лист премии «Русский Букер») и книги «Прусская невеста» (1998), отмеченной малой премией им. Аполлона Григорьева и также входившей в шорт-лист Букеровской премии. Буйда был лауреатом журналов «Октябрь» (1992) и «Знамя» (1995, 1996, 2011). Его произведения переведены на немецкий, польский, финский, французский, японский языки.

Сайт писателя: <http://buida.ru>

Китаб Мансура

На ней был выгоревший синий рабочий халат, подпоясанный скрученным в веревку цветастым платком, и войлочные сапоги с загнутыми носами, а на голове что-то вроде скуфейки. Хватаясь обеими руками за перила, она боком спустилась по лестнице, над которой смыкались кронами чахлые ясени, и выбралась на залитый солнцем асфальт. Теперь я понял, что это у нее было за спиной: палка, клюка. Опираясь на нее, она зашаркала мимо нашего лома, поглядывая поверх спускавшихся к Оке крыш на просторную пойму, над которой колыхался и зримо струился жаркий воздух. Белесо-желтого в небе было больше, чем голубого.

— Ее зовут Ниной Ивановной, — сказала старуха, звучно чмокнув мундштуком.

По дому она передвигалась бесшумно, но приближение ее тотчас угадывалось по катившимся перед нею клубам едкого дыма. Она беспрестанно курила дешевые сигареты.

— Я видел ее вчера на базаре. — Я ткнул пальцем в окно. — Ее.

— Могу вообразить, — откликнулась она. — С половником?

— С половником. Из-за этого ее и прозвали Половницей?

— Из-за этого. А еще потому, что когда-то она называла своего суженого полковником. Полковник, половник... — Старуха поправила редкую шальку на костлявых плечах. Свежая голубая косынка оттеняла сочную желтизну ее лица. Прекрасные и в восемьдесят лет черные глаза, чуть приплюснутый нос и слегка тронутые светло-лиловой помадой тонкие губы. — Несчастливая тетка.

Всех пожилых женщин она называла тетками.

Иногда мы вместе с нею ходили на базар, но в тот день были вдвоем с женой. По четвергам и воскресеньям торговцы занимали не только платные места в рядах и щелястых павильончиках, лепившихся к старинным каменным корпусам с кирпичными колоннами, но располагались и вдоль спуска к реке, и в скверике между церковью и спортшколой, раскладывая товар на ящиках или просто на земле — на газетках: дорогие

невкусные яблоки и великолепные помидоры, плетенные из лозы корзины и безобразно сработанные топорища, печные колосники и поспевшие в грузовиках арбузы, сметана, картошка, пластмассовые — под золото — украшения, перед которыми млели от восторга девочки в дешевых платьицах, в ярких лосинах, с недогрызенными ногтями.

Старуха в скуфейке появилась в молочном павильоне с небольшим половником в подрагивающей руке и с литровой банкой на поясе. Стоило ей приблизиться к первому же ведру со сметаной, как торговки зло загомонили: «Гоните ее в шею! Позорница! Вшей натрясет!» Прежде чем ее вытолкали взащей из павильона, Половница успела зачерпнуть сметаны. Она не отвечала на оскорбления. «Народ-то озлился - проворчала старушка рядом с нами. — Подали б ей - и всех делов. Бог бы вас пострелял, буржуи!» «Буржуи» успокаивались, возвращаясь к своим ведрам и байкам, к весам с камешками вместо гирек на чашках. Трое-четверо стариков обычно побирались в базарные дни Божьим именем, выпрашивая огурцы-помидоры, а чаще — обрезки мяса, но лишь Половница издавна повалилась в молочный павильон, норовя зачерпнуть сметаны из каждого ведра, пока не набиралась доверху привязанная веревочкой к поясу стеклянная банка.

— Несчастливая тетка, повторила Софья, выслушав мой рассказ. И снова громко чмокнула деревянным полированным мундштуком, украшенным серебром. — Вы сейчас на реку? Пойду обед готовить. Сегодня будет окрошка.

И бесшумно удалилась, окутанная облаком едкого дыма.

У Софьи Фаиловны Сребницкой (последний муж ее был родом из Западной Белоруссии, которую упорно называл Восточной Польшей) мы снимали квартиру третье лето подряд. Обратиться к ней посоветовал старинный приятель, который, впрочем, не был уверен, что дело у нас выгорит. «Своенравная татарка. Княгиня. Но рискните — дом у нее большой, живет одна, и в центре — и на берегу, и место тихое...»

В тот же день мы с женой и детьми отправились к «княгине», дом которой — двухэтажный, красного кирпича, с выложенными по фасаду, кирпичом же, шестиконечными звездами — стоял в начале подъема к бывшей мечети, где ныне разместились музей (кости мамонта; чучело медведя; прославившие городок на всю Россию кандалы и образчики фигурного чугунного литья: садовая скамья с ажурной спинкой, прорезные ставни, подсвечники, черные пасхальные яйца; кусок лодки, на которой здесь переправился через реку наследник престола, о чем собственноручную надпись на этом самом куске борта сделал Василий Андреевич Жуковский; стилизованные выписки из летописей, свидетельствующих об основании городка для защиты восточных рубежей Владимиро-Суздальского княжества «от мятежных Мордвы и Муромы», о принятии просвещения от святого князя Глеба Владимировича, об уничтожении городка до основания «злодеяниями Монголов в 1367 году», о выделении городка в удел ханам, перешедшим из Золотой Орды под руку Москвы; фотокопия указа государыни Елисаветы 1754 года «О закрытии заводов винокурных, стеклянных и железных» вокруг Москвы, положившего начало русскому экологическому движению и процветанию городков ивановских, тульских, рязанских, куда переместились «грязные» заводы из первопрестольной...) Дверь нам открыла высокая костлявая старуха в голубой косынке и с мундштуком в коричневых зубах. Невозмутимо выслушав меня, она сказала,

что комнаты не сдает. «Но вам сдам. У вашей жены персидские брови. - Она строго посмотрела на жену. — Из-за таких вот глаз, как у нее, люди и становились пророками, авантюристами и строителями империй, которые полагалось швырять к ногам гурий». Мы переглянулись. Моя гурия потупилась. Софья Фаиловна сдержанно улыбнулась. «Я не чокнутая. Живу одиноко».

Она снисходительно принимала попытки жены участвовать в приготовлении обедов и уборке жилья. Впрочем, целые дни мы проводили на реке. Перед сном она читала детям — том за томом — истории 1001 ночи, вольно «овосточненные» советскими переводчиками до грубых и безвкусных расхождений с арабским оригиналом. А потом, полусомлевшие от жары и настоящего на соснах воздуха, мы допоздна пили чай в огромной кухне за длинным деревянным столом, освещенным яркой лампой в оранжевом абажуре. «Пошли почайпить», — звала хозяйка, явно цитируя кого-то, — и умело удерживала нас за столом историей своей семьи, восходившей к некоему Мансуру, поселившемуся в городке в конце семнадцатого века и значившемуся сеидом при дворе местной ханши. «До его появления молодая вдова была бездетна, — со смешком говорила она о Мансуре. — Зато потом ханша не знала проблем с наследниками. Русские так и прозвали их — мансурята».

Ее дед — ему и принадлежал этот дом — затеял перестройку родового гнезда незадолго до Октябрьской революции. Половину дома развалили до фундамента, возвели леса. Большая часть семьи спасалась от дедовой строительной лихорадки в Москве и Париже. Когда пришли теснить буржуев, дед встретил экспроприаторов на уцелевшей половине, в пяти комнатах, — с пятью детьми и десятком внуков. Его не тронули. Бабушка была основательницей одной из первых в России татарской женской гимназии, татарского любительского театрала и литературного журнала. Ее портрет — «гражданетка» Мансурова в шапочке набекрень выставлялся в мечети-музее вместе с театральными афишками, арабско-русско-французским словарем, составленным под ее редакцией, и тогдашними денежными купонами «непременными к хождению и приему на всей территории уезда». Здесь, в этом доме, Софья познакомилась с Мансуром-младшим, приходившимся ей дальним-предальним родичем. Он читал ей арабские стихи, которые записывал в толстую книгу с желтыми страницами. «Китаб... книга... - вздохнула Софья. - Я и тогда-то толком не знала по-арабски, а теперь и подавно. Все забыла». Книга Мансура единственное, что уцелело из его бумаг, остальные были изъяты при обыске. Бабушка к тому времени умерла. Отца забрали вместе с Мансуром. Был обыск. Его производили татары — и они не посмели обыскивать юную «княгиню», спрятавшую китаб Мансура под платьем. «Мы даже ни разу не поцеловались. Их всех тогда увезли в Казань, обвинили в разжигании национализма, а в тридцать седьмом расстреляли. Я не знала, что с ними случилось, ждала. Восемь лет. А потом вышла замуж...»

В первое же лето она показала нам китаб Мансура — толстую тетрадь в мароккеновом переплете работы Ро, с едва различимой золотой арабской вязью на обложке и выцветшими чернильными строчками, стремительно летевшими справа налево по страницам цвета свежего липового меда. Софья мечтала — она так и сказала: «Мечтаю» — услышать эти стихи по-арабски.

С ее разрешения я сфотографировал несколько страниц и по возвращении в Москву показал приятелю-арабисту. «Стихи, конечно, чушь розово-соловьиная, — поморщился он. — С густой приправой любви к поруганной родине, которая не имеет географических координат: скорее на небе, чем на земле. Но в тридцать седьмом это могло потянуть на вышку». Я записал на пленку стихи в его исполнении. Следующим летом Софья выслушала их, покуривая у окна, наконец сказала: «Я так и думала. Извините. И спасибо за хлопоты. Я просто старая дура».

Да, конечно, смысл стихов и даже их звучание были не важны. Книга давно стала для нее неким метафизическим фактом, волшебным амулетом, придававшим смысл и подлинность ее жизни и памяти. Быть может, книга Мансура и была этим смыслом. Книга стала вещью-в-себе и не обладала никакой ценностью вне жизни — Софьи. А для нее важнее всего была память о прогулках вдвоем, о горячей узкой руке Мансура, его голосе, о глупой луне над глупой речной гладью, о запахе донника с поймы, о внезапной слабости в руках и коме в горле...

Верила ли она в Бога? На мой вопрос она ответила историей о юной соплячке, которая вместе с другими сопляками с песнями разрушала окружавшие городок кладбища — православное, еврейское и мусульманское. Еврейское так и не возродилось.

— Вы были на нашем старом кладбище? Дальняя его часть — истинно мусульманская. Текие среди полыни. А новая — оградки, памятники, даже фотографии покойных. Здесь не осталось никого, кто мог бы прочесть все погребальные молитвы. В мечети - музей. В медресе - школа. Казанские татары называют нас «мишары» — от русского корня «мешать, смешивать». Она вдруг улыбнулась. — За меня Нина в церкви свечку ставит, ей деньги на это даю.

— Нина?

— Половница.

Когда-то Половница была замужем за двоюродным братом Софьи. Их дочь умерла от саркомы, оставив на руках у Нины девочку Надю, которая выросла в привычную для Нины и Софьи боль: Надя пила запоями и рожала детей от разных отцов, кочуя с ними из одной избы-развалюхи в другую.

Иногда Половница заходила к Софье на чай. Они подолгу толковали о чем-то в кухне. Однажды я видел, как Софья принесла в кухню китаб Мансура и положила его на стол. Половница бережно опустила на книгу обе свои красные ладони и замерла. Помедлив, Софья накрыла своими ладонями Половницыны. Обе женщины сидели молча, опустив головы — в скуфейке и косынке. Оранжевый свет лампы, посапыванье чайника, остывающего на плите, скучливый собачий перелай по заречью, четыре морщинистые руки на мароккене... Казалось, они задремали. Я тихонько поднялся к себе. Ночью не спалось, побаливало сердце.

Спустя несколько дней, набравшись храбрости, я спросил у Софьи, зачем она принесла китаб Половнице.

— Ей после этого легче, — ответила старуха. — Так она говорит.

— Я думал, это ваша книга, — сказал я. — Только ваша.

Она закурила очередную гадкую сигарету и рассказала мне о Нине Ивановне Сердобской (это была ее девичья фамилия).

Незадолго до войны Нина познакомилась с Алешей Костровым, механиком со здешней ткацкой фабрики. Молодые люди решили пожениться. Началась война, и Алексей был мобилизован. Пятого июля сорок первого года мужчин вывели со сборного пункта. Провожать их вышел весь городок. Нина успела на железнодорожный вокзал, до которого от города было больше трех километров. Алексей обрадовался. Он был возбужден, от него пахло вином и одеколоном. Нина разволновалась и расплакалась. И вот тогда-то Алексей и сказал ей: «Девочка, я вернусь, правда. Я ни за что не погибну. Я вернусь этим же поездом». Он достал из кармана старинные серебряные часы Буре со скрещенными ружьями на крышке и надписью «За отличную стрельбу», принадлежавшие его деду, щелкнул крышкой и твердо повторил: «Этим же поездом. Даю слово. В шестнадцать тридцать (так говорили военные, а Алексей уже причислял себя к военным). Пятого июля». Его самого, видимо, захватила дурацкая магия цифр и магическая фигура — кольцо. День отъезда, день приезда — один день. Это так подействовало на Нину, что она даже перестала плакать. Объявили посадку. Поколебавшись, Алексей протянул Нине часы. Побежал по перрону. Споткнулся. Обернулся. В последний раз махнул ей рукой — и скрылся за спинами. Поезд ушел. Нина вернулась домой и долго плакала, глядя на скрещенные ружья и надпись «За отличную стрельбу».

Во время войны она работала на ткацкой фабрике, потом — санитаркой в больнице. Дважды побывала замужем, и оба раза несчастливо. Часто и тяжело болела. Жила бедно, глухо и одиноко. Единственной вещью, которой она всю жизнь дорожила, были серебряные часы со скрещенными ружьями на крышке.

Каждый год пятого июля она переводила стрелки, заводила часы и, опустив их в кармашек кофточки, в которой ходила только в церковь (на Пасху, Троицу и Рождество), отправлялась на железнодорожный вокзал. Туда из города ходил автобус, но нерегулярно, поэтому нередко ей приходилось ковылять пешком. С каждым годом дорога казалась труднее. Но каждый год пятого июля она во что бы то ни стало должна была попасть на станцию к шестнадцати тридцати. Единственный на станции носильщик — татарин Илюша, завидев ее, спешил с широкой улыбкой прокричать, что поезда на «шашнацать трицать» никогда не было, нет и не будет. И всякий раз Нина терпеливо объясняла бусурманину, что Алексей велел встречать его пятого июля в шестнадцать тридцать, и тогда, в сорок первом, такой поезд был. «То был специальный поезд. Эшелон. Понимаешь? Больше таких не назначали». Нина Ивановна качала головой: мели. Емеля, твоя неделя. После чего, как это между ними было заведено, Илюша с хитрой улыбочкой интересовался, с кем же воевал ее суженый, и Нина Ивановна привычно отвечала: «С татарами, с кем же еще русскому человеку воевать», — вызывая у татарина приступ хохота. Разумеется, поезда не было. Женщина убирала часы в карман и возвращалась домой. И так — ежегодно. Во время войны и после. Она никогда не получала от Алеши писем, а его родителям не прислали ни похоронку, ни «пропал без вести», ничего. Нина

выходила замуж, рожала, болела, хоронила близких, — но пятого июля, что бы ни происходило в ее жизни, в половине пятого вечера она стояла на перроне с серебряными часами в руке, в праздничной кофте и свежем платочке на голове. «Да посмотри на себя! — не выдержала однажды пьяная внучка. — Тебе скоро сто лет, ноги еле волочишь, а все на станцию бегаешь... От людей не стыдно?» Никому и в голову не приходило спросить, почему, зачем она ходит на станцию. Да и вряд ли она ответила бы: ходилось — и ходила. Она и с Софьей не разговаривала об этом. Толковали о беспутной внучке, о погоде, болезнях, молчали, положив руки на kitab Мансура...

Беспутная внучка Надя в очередной раз поменяла мужа и сбежала с ним, бросив детей в полуразвалившейся избушке на берегу. Ее трехлетняя дочка Катя заболела дифтеритом. Половница разрывалась между домом, куда привела правнуков, и больницей, где лежала малышка. Вскоре девочка умерла, Софья отправилась хлопотать о похоронах, назначенных — ну разумеется, на пятое июля. Половница же бегала по городу в поисках блудной внучки. Вечером после похорон вынырнувшая невесть откуда пьяная Надя попыталась у винного магазина продать серебряные часы со скрещенными ружьями и надписью «За отличную стрельбу» на крышке. Так и выяснилось, что Половница тихо скончалась на железнодорожной станции: присела на лавочку за зданием вокзала — и повалилась набок. Здесь ее и обнаружила внучка-бродяжка, которая, быть может, с пьяных глаз даже и не узнала бабушку.

Софья Фаиловна привела пятерых малышей к себе. Надя не появлялась. «Княгиня» хмуро помалкивала, не реагируя на наши вопросы о будущем детей. «Не думаете же вы, что в свои восемьдесят я потяну роль матери пятерых малышей? — наконец сказала она. — В конце концов Надя появится...» В голосе ее не было уверенности.

С утра до вечера она возилась с Надиными детьми. В доме стало шумно. Пропадали какие-то мелочи — игрушки, сигареты, конфеты, и признаться, мы вздохнули с облегчением, когда Надя все же появилась и забрала свой выводок. На прощание она наорала на Софью и посоветовала «не соваться с благодеяниями». Старуха промолчала.

— Посмотришь на этих детей — и все вдруг покажется никчемным, бессмысленным: музыка, книги, Бог, опыт... Господи, что я несу! — Она была расстроена, хотя и пыталась это скрыть.

Мы разговаривали на автовокзале. Софья помахала рукой сидевшим в автобусе детям, с трудом улыбнулась жене, которая едва удерживалась от слез.

— Старость сводится к искусству ожидания. Хотя уже и сама не понимаю, чего жду, кого жду... Приедете следующим летом?

— Не знаю.

— Буду ждать. До свидания.

И не дожидаясь отправления автобуса, зашагала прочь. Голубая косынка, прямая костлявая спина, длинная темная юбка, энергичный взмах руки. Дома ее ждали истории

1001 ночи, китаб Мансура, серебряные часы со скрещенными ружьями и надписью на крышке «За отличную стрельбу».

«Жизнь стала тяжелее еще на одну вещь, - сказала она, когда участковый принес ей отобранные у Нади часы. - И меньше еще на одного человека».

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Что такое «китаб»? Почему автор так назвал свое произведение?
2. Чем объясняется, по-вашему, повышенное внимание к деталям? Чего достигает этим автор?
3. В речи героини звучит татарское слово «мишары» — от русского корня «мешать», «смешивать». Как тема «смешивания» развивается в произведении? В чем, по-вашему, смысл введения ее в рассказ?
4. Как вы понимаете слова героини, заканчивающие рассказ: «Жизнь стала тяжелее еще на одну вещь... И меньше еще на одного человека». Как соотносятся вещи и люди в структуре произведения?
5. Какова роль рассказчика в авторском замысле?
6. Критик А. Немзер в статье «Замечательное десятилетие» о русской прозе 90-х годов так написал о Ю. Буйде: «Только выдумывая (и в то же время разгадывая) себя и мир, мы можем избавиться от колючей неправды в себе и мире нас окружающем. Пессимизм Буйды уравновешен его приверженностью к поэзии, в целительную мощь которой можно верить и без оговорок». Определите свое отношение к этому высказыванию. Как оно соотносится с рассказом «Китаб Мансура»?

Дополнительные вопросы

1. Как вы думаете, чем близки Софья Фаиловна и Нина Ивановна из рассказа Ю. Буйды «Китаб Мансура», старик из новеллы [Р. Халикова](#) «Желтое платье», [Соня](#) из одноименного произведения [Т. Толстой](#), Агафья из рассказа [В. Распутина](#) «Изба» и Матрёна из знаменитого «Матрёниного двора» А. Солженицына?
2. Сопоставьте произведения «Полный бант» Ю. Буйды (сборник «Скорее облако, чем птица. Роман и рассказы», М., 2000), «Смерть Долгушова» И. Бабеля и «Шибалково семя» М. Шолохова

Марина Москвина (1954)

Москвина Марина Львовна родилась и выросла в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ, работала в периодической печати, на «Радио России» и телевидении. Вела творческие мастерские в Союзе писателей и Институте современного искусства. М. Москвина пишет и для детей, и для взрослых. Сотрудничает с «Новой газетой», журналами «Дружба народов», «Знамя» и др.

В 1995 году проза Москвиной была отмечена премией имени В. Катаева журнала «Юность». В 1998 году книга рассказов «Моя собака любит джаз» была награждена Международным дипломом Х. К. Андерсена. В 2001 году получила премию журнала «Дружба народов» и была номинирована на премию Букера.

Сайт писателя: <https://marinamoskvina.ru>

«Куда бежишь, тропинка милая...»

Кто станет звать человека на Урале в маленьком городке Нижние Серги - Микаэл? С первой же встречи его переименуют в Михаила. И фамилию Караманян тут же превратят в Караманова. А то и просто в Карманова! Как это случилось с сапожником Микаэлом, неизвестно какими судьбами заброшенным сюда из Армении сорок лет тому назад.

Ровно сорок лет! Потому что в день, когда он объявился в Нижних Сергах и у пруда на улице Заторной основал свою первую в городе сапожную мастерскую, у Александра Ивановича Тягунова - учителя, соседа по Заторной, родился третий сын - Леонид.

Сейчас этот Леонид - мужик с бородой. А первое время ух как он надоедал дяде Мише! Зимой по сто раз на дню с вершины горы Кукан - на санках на всем лету - вжжж! - точно в дверь, в сапожную мастерскую! Въезжал он в сапожную мастерскую и поздней осенью по легкому снегу и подмерзшей траве без всяких санок - в кирзовых сапогах. Подметки у них гладкие, скользят! Пруд с виду серый, коричневый. Это глубина. Потом он зеленый. В нем отражаются зеленые горы. Он синий по краям от синих ставен домов на улице Загорной. И свежеокрашенные лодки привязаны к колам на берегу.

Сядет Михаил за весла - неплотный, маленького роста, а лицо большое, будто даже не совсем от Мишиного туловища. Усы щеточкой, губы трубочкой, волосы за ушами и немного волосатый нос. Сядет и плывет на Плоский камень боровики собирать.

Правда, у воды мало белых и подъяловые очень далеко, зато много кульбиков, рыжиков, маслят, и сухой груздь встречается у самого берега. В первую свою нижнесергинскую осень кульбиков Михаил посолил - ведро! И боровиков посушил на суп. Времени у него было полно. Потому что переименовать Михаила в Сергах переименовали, а обувь пошить, даже починить у него что-то долго не решались. Пока дед Бирбасов на плотине не упал.

Случилось это накануне Дня учителя. Дед Бирбасов шел в гости в своих вечных яловых начищенных, очень хороших, с долгими мягкими голенищами - ни у кого таких не было! -

сапогах. Дед ими страшно гордился, берег и носил с калошами. И тут произошло неожиданное. Дед споткнулся, калоши отлетели!.. И оказалось, что подошвы бирбасовских несносимых сапог отлетели от деда Бирбасова вместе с калошами, словно дно от стакана!!!

Встал дед Бирбасов на плотине - в носках, яловые голенища уехали выше колен! Шляпа его поплыла по пруду. Но сам он не растерялся, не замельтешил. Наоборот: руки на груди скрестил, в белой бороде ветер! Как раз Тягунов Александр Иванович мимо проходил. Он шляпу выловил - хорошо, ее к решетке прибило. А то вплавь бы за ней пришлось. А пруд зацветший, после двадцать пятого августа в нем вообще купаться нельзя. Говорят, в это время «лось в воду надудонил».

И калоши с плотины подобрал. Самое удивительное: те до того срослись с подошвами, что, по словам Александра Ивановича, между калошами и сапогами Бирбасова произошла ярко выраженная диффузия. Он же, Александр Иванович, направил деда Бирбасова в сапожную мастерскую. Михаил сидел на кухне и кушал суп харчо, когда с калошами в руках, босой, но в сияющих голенищах появился на пороге дед Бирбасов.

- Беда, Миша, - сказал он каким-то необычно серьезным голосом.

- Входи!.. Дорогой!.. Я ем суп харчо - и ты садись ешь!

- Не хочу! - Дед бирбасов сел на табурет и протянул свои, как бы точнее выразиться, калошеподошвы.

- Что так расстроился? Состарились! Сносились!

- Это я. Михаил, - сказал дед Бирбасов. - состарился. И сносился.

- При чем ты?! Отец?! - вскричал Михаил. - У них свой век, у тебя свой!..

- Не. я давно загадал, - с толком-расстановкой говорит дед Бирбасов. - Как сапоги полетят - всё.

- Какие дикие мысли, - воскликнул сапожник Карманов. - приходят в голову людям, когда отсутствует служба ремонта обуви!!!

- Михаил, ты меня не понял!

- Отец! Твое дело поправимое!..

- Михаил!..

- Отец!.. Я к твоим чоботам приделаю новые головы! Пришью подошвы!.. Подкину подметки!.. Я их - ОБСОЮЗЮ!!! Сносу не будет. Живем?

- Живём, - кивнул дед Бирбасов, в волнении с аппетитом принимаясь за суп харчо.

История про сапоги с чьей-то легкой руки быстро прокатилась по Нижним Сергам. Конечно, были такие, которые смеялись, подшучивали над дедом. Особенно веселились

они, когда он взял из мастерской сапоги - целехонькие! - и стал носить с теми же галошами.

Но главное, что Карманов на этом деле стяжал настоящую славу сапожника. Так что нижнесергинцы - народ, в общем, приветливый и дружелюбный, но не такой чтобы, как говорится, душа нараспашку, - доверили Михаилу свою обувь. Над входом в сапожную мастерскую появился плакат: «Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Сервантес». К «Сервантесу» позже пришлось добавить «великий испанский писатель», поскольку некоторые нижнесергинцы не знали, кто это, и пошёл слух, что Михаил не только шьёт башмаки, но и еще делает серванты.

Сапожником он был, как говорится, от Бога. Если вдруг – чего почти не бывало - башмак не получался, то Михаил не тратил времени на переделку, а просто выбрасывал его из мастерской во двор.

- Чтобы плохой башмак на свету не ходил, - говорил

Карманов. - У нас в Вачагане, - вспоминал он свою Армению, - кувшин чуть-чуть выйдет кособокий, сам гончар заметит – больше никто! Кувшин во двор! И разобьет.

Башмак прорастал травой, а Михаил начинал новый. Невиданные в тех краях боты, подбитые желтой кожей... Лакированные ботинки с бежевым верхом на пуговках... Все это зашагало и затопало по каменистым пыльным улицам городка. А когда Леня Тягунов в третьем классе под Новый год заболел свинкой, тридцать первого декабря вечером к ним домой пришел дядя Миша. И пока Леня спал, положил ему под елку самые настоящие ботфорты с высокими, за колено, развалистыми краями-раструбами да еще и с подколенной вырезкой!.. Точная копия тех сапог, в каких сто лет назад гарцевали на конях кирасиры.

- То, что тебя, Аня, мучит совесть, - это правильно. - вступал в разговор Михаил Карманов, который любил побеседовать с соседями на скамейке. - Это даже не твоя, Аня, личная совесть. - говорил он. - а общечеловеческая. За то, что человек приручил собак, а сам так с ними обращается.

Короче говоря, Легалову и тем двоим новоселам, бывшим хозяевам псов. - в Сергах-то ведь все друг друга знают! – в сапожную мастерскую путь был закрыт. А этой троице, как назло, в охотничьем деле страшно важна была амуниция. К весенней охоте они начинали готовиться с самой зимы. А в ту зиму снега напало! Из каждого дома выходили по траншеям высотой два-три метра.

Возле сапожной мастерской раз ночью траншеей чуть не до верха двери снегом завалило. Так эти трое лопатами, можно сказать, из-под снега Карманова Михаила откопали - вот до чего им приспичило турботы у него заказать. Только Михаил все равно их заказы не принял.

- Эх, ты, - сказал ему Легалов. - А мы, дураки, тебя из-под снега откопали!..

- Хоть обратно закапывайте! - ответил Михаил. - У меня на вас духу нету!

- Нет духа. Миша, - а ты без него, за деньги! - предложил ему Легалов. В ответ на это Карманов Михаил произнес фразу, ставшую крылатой в Нижних Сергах.

- Без радости, - сказал он. - без праздника в душе нельзя заниматься сапожным делом.

Как хорошо было с ним, как быстро и весело шло время и как стали скучать по нему, когда он уехал. Все вспоминают, что делал он и что говорил. И как он был с иголки одет: брюки на подтяжках, рукава рубашки на круглых резиночках, чтоб из-под пиджака не вылезали, на галстук - заколка, позолоченный желудь. И всегда от него так приятно пахло жареным чесноком. Александр Иванович подозревал, что дядя Миша не просто ел чеснок, но еще и натирался им.

- Так делают африканцы, - говорил Александр Иванович, - перед рыбной ловлей, чтобы отпугивать крокодилов.

Запах жареного чеснока был и правда нездешний, как слова, которым дядя Миша давно научил Леню Тягунова, когда тот был маленький, и Леня их запомнил.

- Леня-джан! - говорил ему дядя Миша даже взрослому. – Как будет по-армянски сердце?

- Сирт, - отвечал ему Леня.

- Как будет - будь здоров?

- Кенац.

- Кенац! - говорил дядя Миша соседу, старому другу Александру Ивановичу.

Погода стояла холодная, Александр Иванович часто хворал. Он уже не вел, как раньше, географию и физкультуру в школе, а только раз в неделю, в субботу, преподавал в десятом классе астрономию. Сыновья его все женились и разъехались, так что за лечебной малиной для Александра Ивановича в лес ездил Михаил Карманов. Два ведра привез. И ведро шиповника на засушку. А потом отправился на почту и заказал разговор с Ереваном.

- Ереван, третья кабина, - крикнула из окошечка телефонистка Тезякова.

- Але, - сказал Михаил. А потом погромче: - Але!.. Ничего не слышно! - крикнул он Тезяковой.

Та сидела за стеклом с наушниками и микрофончиком.

- Не знаю почему. В Ереване ответили. - сказала Тезякова. – Я ее прекрасно слышу. Вам там кого?

- Наири Ашотовну, - сказал Михаил. - Фамилия Тарян.

- Наири Ашотовну Тарян! Нижние Серги на проводе. Ответьте. Она! Дядь Миш, говорите, я передам.

- Скажи!.. - попросил Михаил Карманов. - Микаэл говорил. Караманян!..

- Говорит Микаэл Караманян, - объявила она в свой микрофончик. - Только не сам. а я за него, телефонистка Тезякова. Что? Ничего. Ничего с ним не случилось. Вот он стоит. Жив-здоров. Дядь Миш. подайте голос.

- Наири!.. - сказал он.

- У него с вами связь не устанавливается! – кричала Тезякова. - Говорите, чего ей говорить?

- Скажи, я прошу ее стать моей женой, - велел Михаил Карманов.

- Он вас просит стать его женой!

- Что она говорит?

- Она смеется. Спрашивает, какой вы сейчас?

- Скажи: все такой же! Ну... может, не точно, а... полутакой. Полутакой, как был сорок лет назад.

- Полутакой, как был сорок лет назад.

- Что она говорит?

- Она смеется.

- Дай мне послушать!

- Все. дядь Миш, - сказала Тезякова и повесила наушники на гвоздик.

У входа в здание аэропорта продавался лимонад. Народ пил его прямо из бутылок, издали смахивая на оркестр трубачей. Дворник остатками лимонада поливал асфальт. У него были матерчатые ботинки, уже не летние, хотя до осени жить да жить - без малого двое суток. На аэродроме зажгли прожекторы. О. какой острый самолет покотил по взлетной полосе, вспыхивая огнями. Воздух за ним дрожит, поэтому кажется, все дрожит вокруг: лучи прожекторов, локаторы, тележки с багажом... По аэродрому идет пилот с портфелем. Будто обычный человек на обычную работу.

Справа в иллюминаторе Михаил Карманов видит крыло самолета, на нем написано: «Заземлить пистолет!» Крыло было неподвижным, увесистым, тусклым. Но только «Ил-18» тронулся с места, крыло ожило, приподнялось, напряглось. Оно пружинило, вздрагивало, готовилось и стало такое живое, что Михаилу Карманову почудилось, когда они взлетели, будто это его, Михайлова, как бы продолжение плеча.

Сосед листал ноты. Время от времени он останавливался на какой-нибудь странице и, как некоторые при чтении проговаривают вслух слова, тихо напевал. А Михаил Карманов, теперь уж снова Микаэл Караманян, по дороге домой в Армению вдруг вспомнил, как, бывало, соберутся они в Сергах у пруда на Загорной: Александр Иванович, да он. Да Петр Григорич Смолин, - посидят, поговорят, и Петр Григории начинает:

Куда бежишь, тропинка милая.

Куда ведешь, куда зовешь...

Все мозги пропел ему этой песней.

- Ку-да бежишь, тропинка милая, - тихонько затянул Микаэл Караманян.

В окне огни смешались в темноте - то ли Серги, то ли Атиг, то ли поселок Бисерт - ничего не разберешь. Горят, как угли погасшего костра.

«Надо бы перекусить», - подумал Микаэл и вынул из пакета теплый еще пирожок - с капустой и яйцами.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Что можно сказать о манере повествования, общей интонации «пластике» фраз произведений М. Москвиной?
2. Как бы вы определили отношение автора к своим героям?
3. Известная писательница Д. Рубина так говорит о М. Москвиной: «Я не знаю другого писателя, кто бы сплетался со своими героями в столь же тесном объятии. Может быть, потому что герои, как и автор, навеки изумлены дивными чудесами этого мира». Согласны ли вы с такой точкой зрения?

Дополнительные вопросы

В одной из книг М. Москвиной — «Учись видеть! Уроки творческих взлетов» — есть глава «Чукча не читатель», где автор рассказывает о книгах, без которых взрослым нельзя жить, а детям невозможно повзрослеть. Прочитайте эту главу и решите, какие из прочитанных вами произведений вы бы добавили в «Золотую библиотеку».

Марина Вишневецкая (1955)

Марина Артуровна Вишневецкая (род. 1955, Харьков) – российский прозаик, сценарист. В 1979 окончила сценарный факультет ВГИКа.

Начала печататься как автор юмористических рассказов в 1972 в журнале «Юность». Как прозаик – с 1991 (рассказ "Начало" в сб. "Новые амазонки"). Повести и рассказы публикуются в журналах "Октябрь", "Дружба народов", "Волга", "Знамя". Стихи для детей – в журналах «Трамвай», «Кукумбер», еженедельнике «Неделя».

Написала сценарии более чем к 25 мультипликационным и десяти документальным фильмам. Автор детских анимационных программ на каналах Рен-ТВ и ТВЦ.

Член Академии кинематографических искусств «Ника».

Входила в жюри премий И. П. Белкина (2004), «Дебют» (2006), «Русский Букер» (2008).

Живет в Москве.

Сайт писателя: <http://www.marvish.ru>

Брысь, крокодил!

Он — Сережа.

Они — Леха и Шурик. Они — все. Все они!.. Им всем сегодня можно. Одному ему нельзя.

Он, Сережа, стоит у подъезда. Они, Леха и Шурик, раскручивают пустую карусель. Доломать ее хотят — не иначе. Ширява и Вейцман — им можно. Им в 16:00 всем можно!

А сделать пластическую операцию и тоже пойти! Чулок на голову натянуть: спокойно, Маша, я — Дубровский! Нет, шоколадку за рубль двадцать расплавить и — на голову: «Я приехала к вам Занзибара, дружба-фройншафт!» Маргоша сразу: «Оу, ее, ее, дружба!» — весь первый ряд расчистит и его усадит.

Он, Сережа, стоит на крыльце, и на него не капает. Они же, Ширява и Вейцман, мокнут. Им же хуже. Они карусель раскручивают и орут.

Вейцман:

— Дети! В подвале! Играли! В гестапо!

Ширява:

— Зверски! Замучен! Сантехник! Потапов!

Портфели в кучу листьев побросали. Куча как муравейник. Рыжие листья постепенно заползут в портфели и все там изъедят.

Мы — Сережа, Шурик, Леха. Так было утром и было всегда. Теперь же Сережа — он, тот самый, не для которого. А Ширява с Вейцманом — они, все, которым... ГИПНОТИЗЕР!

Невозможно, душно — заревет сейчас. Это как всю-всю жизнь ждать Нового года и в щелочку увидеть уже, как под елку что-то большое в шуршащей бумаге для тебя кладут, и в другую щелочку, как бабушка густой заварочный крем с ложки на пупырчатый корж стряхивает, — все это увидеть и без пяти полночь умереть, — ГИПНОТИЗЕР. Это вот как как летом с ангиной два часа в электричке битком, все пересохло до кишок, как в тостере, а мама шепчет: «Потерпи-родненький-приедем-там-собачка-там-девочка-Санна-там-морс-из-клубники-только-потерпи!» И час еще надо на маленькой станции автобуса ждать, где негде сесть и можно только к стене прислониться, зато на ней есть выколупанная дыра «Девочка Санна и ее собачка» — только хвост осталось доколупать, но побелка набилась и больно под ногтем давит, а мама бормочет: «Не-повезло-тебе-с-мамой-больного-мальчика-в-такую-даль-но-если-бы-у-них-был-телефон-понимаешь?» А ты уже в озере плывешь, в котором вместо воды — морс из клубники. И говоришь: «Ладно, про собачку расскажи, она — какая?» И наконец автобус приходит, но очень маленький, и все толкают друг друга мешками и корзинами, никого внутрь не пуская. И когда вы в автобусе — это уже непонятно как. И уже неинтересно про собачку. И всю дорогу, как в дедушкиной игре: по кочкам, по кочкам, по буграм, по буграм, а не смешно, и ты спрашиваешь, забываешь и снова спрашиваешь, много ли у них морса, а вдруг они выпили его уже, а вдруг он прокис, а вдруг там нет никого... А мама говорит: «Ну-что-ты-глупыш-мой-мы-же-за-неделю-уговорились-с-дядей-Борей-он-за-околицей-давно-стоит-нас-с-собачкой-встречает!» А после автобуса надо трудно идти в высокой траве. И дяди Бори нету ни за околицей, ни после околицы, и собачки нету — не лает. И замок на двери пребольшой. «Этого не может быть!» — кричит мама и так кулаком в окно колотит — вот-вот треснет. И ты говоришь: «А может, они морс на крылечке оставили?» А мама не слышит: «Вот скот!» А ты говоришь: «Кто скот?» А мама: «Маленький-миленький! — и целует, целует мокрыми от слез губами. — Прости-меня-господи-ты-боже-мой! Скот — в хлеву. Мычит нескормленный!» И вот только тут до тебя доходит: морса не будет, Морзе: точка, точка, тире — папа, спаси нас! — не будет.

Шурик в перекладину впился, по бочонку побежал. Ширява рядом стоит. И орут хором:

— Маленький! Мальчик! Зенитку! Нашел! Ту! Сто четыре! В Москву! Не пришел!

Японочка Казя, как маленькая лошадь, не мигая, косит глазом на обрубок хвоста. Его очень вдумчиво обнюхивает Том, по приметам белый, а сейчас просто грязный болонк. У него было трудное детство — он два раза щенком терялся, и они с мальчишками на велосипедах повсюду объявления расклеивали.

«17 октября. В Актовом зале. В 16:00!»

Сережа три раза проверял, на всех переменах: объявление гипнотизировало само. Отменяло волю и слух. Всех делало лупоглазыми Казями. Даже звонка никто не услышал и как Маргоша откуда-то выросла: «Вам на урок — особое приглашение?!» А Викин папа в Полтаве ходил к колонке полуголый. «Нет в жизни счастья» — это на левом плече было написано. А на правой руке: «Года идут, а счастья нет».

Вшшшшш! — во двор врывается синий «жигуленок», и в первой же луже у него вырастают два больших, шумно опадающих крыла. Во второй луже они вскидываются уже совсем по-лебединому: вшш-ж!

Казина старушка тоже залюбовалась ими и не успела вовремя отбежать.

— Хам! Вы — хам! Хам! Что смотрите? — это она уже Леше и Шурику кричит. — Такими же хамами хотите вырасти? Пионеры называются. Казя, я ухожу! А ты — как знаешь!

Голос ее плачет, усатая губа дрожит. А главное — она истекает грязью и никуда не уходит. Теперь уже Казя нюхает под хвостом у Тома. Ее умное, как у отоларинголога Софьи Марковны, лицо вот-вот, кажется, заговорит и поставит правильный диагноз.

Ничего бы этого не произошло:

- 1) если бы Казя надула посреди кухни и они бы за ненужностью никуда не пошли;
- 2) если бы она в прошлом году заразилась чумкой и тоже, как бедный Чарли, умерла;
- 3) если бы сама эта бабушка погибла от чумы в Одессе, а лучше бы осталась жива, но во время первой мировой войны эмигрировала на остров Елены, впоследствии названный в ее честь;
- 4) если бы он скатал сочинение у Чебоксаровой — своими словами, конечно, и был бы сейчас как все они, все, которым — тьфу!
- 5) если бы он с Симагой зашел в «Союзпечать» посмотреть новые марки и ничего бы этого не увидел;
- 6) если бы синий «жигуленок» пять минут назад, спасая жизнь разыгравшихся на проезжей части старшеклассников, резко свернул и врезался — во что бы?-

Сереза додумать не успел: как только он ключом на веревочке открыл дверь — зазвонил телефон.

— Говорите!

— Серый? Мы те из автомата звоним. Выглянь — тебе Леха стоит рукой махает.

— Щас! Давно не виделись!

— Серый! Значит, план такой: заходим с тылу!

— Я трубку кладу.

— Ты-ты-ты-ты! Стоп! Ширява говорить будет!

И Вейчик Лехе трубку отдал.

— Серый, привет!

— Отвяжитесь, а? Может, вам весело, а кому-то, может...

— А ты, парень, как хотел? За призыв к войне — знаешь что? Карается законом Конституции СССР — до высшей меры!

— Кто призывал? Я призывал? Я только написал...

И тут опять Вейцик в трубке говорит:

— Ты приходи, слышь? Только не сразу. Маргоша — дура слабонервная, он ее первую отключит. Как понял? Прием!

— Пусть сначала Ширява скажет: высшая мера — за что?! Я же в журнале прочел. Понимаешь, я...

У! у! у! у! — гудки. Ширява — не иначе — на рычаг нажал.

У! у! у! — как в питомнике обезьяньем. И он на стол трубку положил, чтобы прекратить, если у них еще двушки есть.

У Сережиного папы татуировок нигде не было. Он вместо этого носил круглый значок «БОРИС! ТЫ НЕ ПРАВ!». Но обещал, когда опять поедет в Битцу, купить там значок «СЕРГЕЙ! ТЫ НЕ ПРАВ!» — сразу три значка, чтобы и мама и бабушка тоже могли в нужный момент их надеть. А мама сказала, что лично она такой значок готова носить не снимая. И на бутерброд с джемом, который она к губам поднесла, села пчела.

«Ужаль! Ужаль!» — телепатически приказал ей Сережа. Он был хуже, чем не прав, — он был низок. Почти во всем. И только войны не хотел — никогда! В сделанном из бомбоубежища общем на весь двор погребу в Полтаве, куда прабабушка брала каждое утро с собой Сережу и свечку, ему нравилось только первые пять минут. Пра умела ориентироваться:

- 1) по запахам;
- 2) на ощупь;
- 3) по звездам.

И только чтобы выбрать из темной горы картошины покрепче, ей необходимы были Сережа и свечка, становившиеся одним притихшим существом. А пра наоборот раздваивалась на себя и огромную тень, пластавшуюся по мягкой стенной плесени. И пока они обе совали в подол передника или отбрасывали прочь усатые картофелины, он всегда, честное слово, всегда думал, что если бы вдруг не победила Социалистическая Великая Революция, они бы здесь с Викой жили безвылазно — как дети подземелья, пока не стали бы такого же бесцветного цвета, как картошкины глазки. И когда вдруг обрушивалось солнце — до слезной рези, и горячие травы — до задыхания, и синее небо — если смотреть с нижней ступеньки, все в бабочках-капустницах, как в птицах, — до головокружения, он, чтобы тут же замертво не упасть, орал и несся вверх за собственным воплем: «Дорогу мушкетерам короля!» или «Третий взвод, за мно-о-ой!» или «Миру мир!» — это все слышали, и, кроме Олега, хотя он тоже слышал, все могут подтвердить: «Миру мир!»

Намыливая руки, Сережа встал на цыпочки. Из зеркала смотрели его, но расширенные глаза. Когда он сказал Маргоше: «А почему вы именно папу вызываете — он очень устает на работе, пусть лучше мама придет!» — она сказала: «Военно-патриотическая работа с мальчиком должна проводиться отцом!» — «Или бабушкой, раз она хорошо помнит войну!» Но Маргоша сказала: «Нет, это только в неполной семье, а пока семья не распалась...»

Поднеся к губам намыленный кулак, он осторожно в него дует. Из-под скрюченных пальцев, наползая друг на друга, произрастают пузыри, как базедовая болезнь Софьи Марковны, — пляшущие и сверкающие.

Раз плюс раз — это в дверь звонят, — бабушка! И вода утаскивает пузыри с собой — навсегда. Конечно, будут еще другие, но жаль ведь именно этих... В дверь снова звонят: раз, два плюс раз!

— Мама?! — руки он вытирает о брюки вприпрыжку. — Ма... Вы?

Вместе с мылом, ужалившим вдруг язык, — сияющая Диана.

— Мороженое ел? Тоже хочу! — и длинными ногтями губу его трогает и палец лижет. — Тьфу! Бреешься, что ли? Вот дурак!

— Извините.

Теперь во рту у них стало одинаково — как в лагере после отбоя, когда в бутылочку...

— Извиняю. Ты один? Тьфу! Ну ты и чудо в перьях!

При ней почему-то всегда становилось неясно, куда девать глаза, — особенно теперь, когда у них во ртах одинаково.

— Сержик, красавчик, ну погибель чья-то зреет! Выручишь меня? Всех делов-то на час! — И волосы его треплет, а атласный халат... что ли пуговиц в магазинах нету? У нее всегда так: сто одежек, и все без застежек. Загадка! Он же снова оказывается до того низок (ростом низок, душой, страхом низость свою показать), что стоит, не моргая, не слыша слов, но глаз не отводя.

Есть единственный верный способ: сказать себе, что умерла бабушка, — который даже на пионерском сборе помогал, когда от сдерживаемого хохота лицо вот-вот по всем швам треснет, самый надежный, проверенный способ, благодаря которому все остальное немного отступало. Но только не Диана, которая наступала, дышала, пахла, смеялась, обнимала, щипала, подталкивала, шептала: больница... подруга... хоть супу ей, сиротинке, снести, Владик кормленный, горшок — под стулом, приду — поцелую, куда поцеловать? — в этот миг он уже стоял посреди ее прихожей.

— Никуда. Вы же в помаде.

— А у тебя дома — жена ревнивая? — перламутровыми губами расхохоталась, прямо на халат пальто надела и ушла, как на ребенка, на саму себя длинный-предлинный шарф наматывая.

От хлопка двери шелестят тут и там отклеившиеся обои. Откуда-то из-за угла выскакивает Владик, ставит у его ног грузовичок без дверцы и убегает. Немного кривое зеркало на стене вскидывает Сережины брови, а теперь вытягивает глаза, а теперь снова делает умным лоб — как у папы, а потом снова испуганно вытаращивает глаза. Папа вечером посмотрит в такие же вот, сядет: «Что-то такое мой сын учудил?» — встанет, пойдет сигареты искать: «Что же мой отпрыск отчубучил?» — сигарету в рот сунет, зажигалку потеряет: «Мне пвосто не тевпится увнать, фем мой насведник...» — сядет наконец в кресло, пламенем, как саблей, мелькнет: «Чем же это он удивил мир?» И так затягиваться станет, что щеки наравне с дымом будут всасываться вовнутрь: «Ну? Я жду!» — выкурит до самого фильтра, как гнилой желтый зуб, резко вырвет изо рта, в железную пепельницу вдавит: «М-да, я был о тебе более высокого мнения», — и дым волной метнется к желобку, которые у пепельницы по углам, как от дождя на крыше.

— Каску поситай. Поситай! — Владик тянет его за штанину в комнату и трясет пустой обложкой.

Смятая взрослая постель стоит в углу, как берлогово. И вдруг сзади — чей-то взгляд. Господи ты, боже мой, тетенька почти без всего, и губы блестят, как у Дианы, и календарь позапрошлогодний под ней.

— Поситай, ну?

— Я тебе сам расскажу — это я на уроке придумал. — И садятся на постель, некуда больше. — Это не про войну, ты не думай. Это про жизнь.

Владик кивает.

— Жили-были в Африке обезьяны.

— Не ходите, дети, в Афлику гулять!

— Вот! А эти обезьяны пошли гулять и прямо туда пришли, где урановая руда наружу из земли вылезает.

— В Афлике — голиллы!

— Вот эти гориллы как раз к урановой руде подошли и облучились, понимаешь? И от этого поумнели и стали людьми. Факт!

Владик кивает. Такой маленький, а в сто раз умнее Маргоши!

— Теперь война, допустим. Я так и написал: допустим! А почему же нет? Вон самолет летит: р-р-р! А вдруг он с атомной бомбой? Ды-ды-ды! Выу-ву! Ба-бах!

— Ды-ды-ды! — Владик бросается на пол и на пузе ползет, как змея.

— Всем в укрытие! Скорей прятаться! Кто не спрятался — я не виноват! А кто спрятался — получит полезную дозу. Как обезьяны. И еще умней станет. Еще человекообразней! — Сережа уже на кровати скачет. — Я за мир! Я как все! Я только этого написать не успел — звонок зазвенел: дзи-инь! Ба-бах!

И упал подкошенно.

«По кладбищу идет покойник, по дороге идет покойник, к нашему лагерю подходит покойник, по главной алее идет покойник! — А потом все медленней, все заунывней: — К третьему корпусу подходит покойник. По второму этажу идет покойник...» И если в этот миг шуршала под окном кошка, а однажды совпало и вожатая открыла дверь их пересчитать, «А-а!» — кричал Белкин, не то что под одеяло, под матрас уже забившись, а все начинали хохотать, бросаться подушками и шупать, не надул ли Белкин в кровать, потому что еще миг — и никто бы за себя поручиться не мог.

И только в халабуде было еще страшней.

Встав на четвереньки, Вика всегда заползала в нее первой. А когда заползал Сережа, она уже лежала на спине: глаза под закрытыми веками, как черешины в компоте, плавали и — молчок. Жутко было до дрожи. Но, как Белкин, не кричалось. Почему-то, наоборот, хотелось бурьяна нарвать и под голову ей положить, чтобы удобней. Чтобы так лежала всегда. И вдруг глаза ее открывались, но чужие, большущие, джунглевые. И голос был тоже чужой, хриплый: «Вам усим трэба, шоб я помэрла. Хиба нэ знаю? И тоби того ж трэба! И тоби!» — «Нет», — бормотал Сережа, но тогда для чего же он хотел подложить ей под голову бурьяна? «Честное слово, нет!» А она вдруг садилась и шептала незряче: «Скоро вже! Скоро! От тоди побачишь, яка вона — воля. Як свиння у колюже лежатымешь — нихто нэ виймэ! — и снова опрокидывалась. — Ой, бильш не можу!» — под самые веки зрачки закатывая. А он даже понарошку заплакать не мог. Не хотел потому что. А хотел... Вот спроси у него сам ГИПНОТИЗЕР: «Я внушаю говорить тебе только правду, ничего, кроме правды! Чего же хотелось тебе сильнее: чтобы девочка умирала или чтоб бегала живой?» — «Чтобы... Чтобы умирала». — «Все слышали? Значит, Паркин, ты опять проповедуешь войну! Ты уличен! Встать, суд идет!»

Я не Паркин. Я — никто! Все зеркала разбить — и нет меня. Только кривые можно оставить. Я в них не я. Я — Олег. Придурак майский, дурак китайский. Мне тридцать лет! Ха-ха! Взрослый я — скушали? Губища навыворот, уши торчком. И дергаюсь, как обезьяна. Не говорю. Мычу! Никто не понимает, одна Олексиивна понимает — моя мама! А сам всех понимаю. «Пойди принеси железо — прямоугольное такое вот, за мусоркой». Вот скажи мне — я принесу. «Кошку Викину поймай, мяу-мяу, лови, хватай!» — я поймаю. Поймаю, а не отдам. Сам люблю. Сам буду ее руками своими дурацкими дергаными гладить — в тряпку ее всю превращу и выть от радости и любви буду! Все смеются — я засмеюсь. Всем хорошо — и мне хорошо. Гы-гы-гы! Малышня в салочки играет — не могу утерпеть: догоню и — по спине! Ручищей. Он плачет вдруг, а почему — я не знаю. Только мне его жалко-прежалко: «Ы-ы-ы-ы!» — и домой бегу к Олексиивне, к маме: «Ы-ы!» — «Так якого биса знов до малых лез», — все понимает сразу. А я опять: «Ы-ы! Ы-ы!» А что «ы-ы» — забыл. Хорошо! Особенно часиков ловить — они не осы, не пчелы, а тоже жужжат и щекотно в ладони бьются. Я только вовнутрь боюсь — в погреб, в халабуду, — меня туда нельзя толкать: гы-ы-ы! И мороженым заманивать — я его до воя люблю. Вика сидит в халабуде «Сюды! Сюды! Тоди дам!» — языком мокрую сладость лижет. А я прыгаю, руками дурацкими взмахиваю: что делать? что мне, дрожащему, делать? Губами причмокиваю — всегда так вкусенького прошу. Я же вам бутылки собирал — вас же со двора не пускают, а меня — хоть до трамвайного круга. Меня

пьянчужка била — палкой, палкой. Кричала, что ее земля, ее бутылки. Вы научили — я вам собирал. Хорошо, конечно, что я спросить не могу, на какие такие деньги ваше мороженое! Вика его лижет, долизывает уже. Гы! Бы-ы! Гы-ы! Пчелы, часики — все в халабуду полетели. Белое, мягкое по стаканчику течет. А я вдруг хватать, чтоб перед лицом не жужжала, а это — оса. Гы-ы-ы-ы-ы!

Как же он заорал тогда зверино! И стал вокруг колонки ужаленно бегать, огромной белой ладонью над головой размахивая. Она у него в любую сторону гнулась, будто флаг на ветру.

По голому животу тетеньки на стене ползет таракан — вверх. А теперь он переполз на... точку-титечку-тетечку — это и есть сеанс гипноза! Сил не иметь пошевелиться, понять, что... почувствовать, что... Ничего! Просто дрожать пчелами глаз: жуть, жить, жать, жить-жать-жуть. Их там набьется целый зал — он же один облучается, ему же лучше. Жуть-жить-жать. Когда ему три годика было и они с мамой пошли к тете Нелли, а там как раз недавно родилась маленькая девочка, Сережа стоял возле ее коляски, а потом как закричит: «Мама, смотри! Из ноги писает!» И мама это недавно опять рассказывала своим гостям, а он убежал в кухню и стал сквозь зубы в аквариум плевать. Меченосцы же, думая, что это еда, устремлялись и устремлялись. И трепетали вокруг каждого плевочка, как ленточки на бескозырке у нахимовца — будущего юнги.

— Алеша! — бабушкин вопль. — Шурик! Вы не знаете, где Сережа?

Откуда им знать? Вон — один таракан знает. Юркнет сейчас под плинтус, выбежит перед бабушкой, только рот раскроет, а она его тапком — хрусь!

В тот раз Вика умирала по-особенному печально: металась, стонала, гнула тонкую шею, словно могла спрятать голову под крыло. Боясь, как бы халабуда не развалилась, Сережа стоял на коленях и поддерживал потолок. Длинный луч света бил в капельки ее пота, и они драгоценно переливались. И тут внутрь заглянула тетя Женя: «Святой боже!» А вечером она подкараулила возле палисадника маму: «Вин, гарный хлопчик, сыдыть. А вона разляглася. Та хиба ж вона йому пара?»

«Это правда?» — спросила мама. Он кивнул. «Никаких халабуд! Играть только под окном!» — «Почему?» — «Ты хочешь, чтобы я обо всем написала папе?» Он закричал на всякий случай: «Не надо папе!» — и хотел прижаться к ней, но мама отгородилась пустой алюминиевой лейкой: «Значит, ты все уже понимаешь! Господи-ты-боже-мой-как-же-рано!» — хотя уже начинало темнеть. И почти побежала к колонке. Рой комаров, точно хвост за кометой, ринулся за нею следом, догнал, окружил и заходил ходуном, рябя в бледном небе. Это необычное природное явление в Полтаве наблюдалось каждый вечер: на дворе ночь уже, а в небе наоборот — почти утро.

И халабуду разобрали — тети Женин муж, мама и Олег, которому, оказалось, все равно кому помогать — только бы заглядывать в глаза и услужливо мычать.

Часы на стене показывают без десяти полдень. Или полночь. Но и то и другое — вранье. Мы: Сережа, Леха, Шурик — вранье. Мы: бабушка и я — чушь. «Потому что у этой Дианки подцепить можно что угодно!» — «А что, например?» — «В лучшем случае клопа

или таракана!» — «А в худшем?» — «Тебе мало клопа с тараканом? Поклянись моим здоровьем, что никогда ни под каким видом...» Вот.

Вот: мы — это я и Вика. Как же он забыл! В самый день отъезда — мама все время банки с вареньем местами меняла, чтобы хоть одну сумку можно было от пола оторвать — Вика без слов увела его за руку по тихим половикам и с другого хода, под деревянной лестницей, по которой одни только коты и кошки ходили к себе на чердак, вдруг чиркнула себя лезвием по подушечке пальца: «Пий!» — будто еще один Викин глаз, большая черная капля бухла и бухла перед ним, не моргая.

«Пий скорис!» — «Зачем?» — «Пий!»

Он зажмурился, лизнул. Вкус собственной своей разбитой губы унес в зиму, на ледяную гору, в драку с Еремеем на лыжных палках. Губу потом зашивали, и долго-долго леска из нее торчала — как котовый ус. Но ведь сейчас это была ее кровь. И на вкус она не должна была быть похожей. Была! Он хотел ей сказать: значит, мы с тобой одной крови, как в романе про Маугли, но не успел, потому что Вика ужалила вдруг лезвием и его палец, впила, как на анализе, с птичьим причмоком (или это ласточка в гнезде под потолком в тот миг сказала что-то трем своим маленьким детям?) — и наконец оторвалась: «Усэ! Тепер — назавжды! Тепер на всэ життя!» И тут все смешалось: жалость — от вкуса губы расквашенной, и страх этой клятвы не сдержать, и испуг никогда не увидеть ее больше, и новый испуг — заразиться чужой кровью: ведь из-за чего же именно бабушка на нужнейшую операцию лечь боялась! — и еще больший испуг — в этом испуге признаться... Изо всех сил стараясь не сглотнуть, он буркнул: «Ага, назавжды», — и выскочил вон, за дом, за погреб, в самую гущу бурьяна, чтобы выплюнуть то святое, что — навсегда, что — мы. И пока выплевывал, разминал среди пальцев бурьянные семена, а потом еще долго стоял и смотрел, как они раскрошились на мелкие шарики и приятно, как ртуть, бегали по ладони.

— Сергей! — тогда так истошно кричал папа, приехавший их увозить в Москву, а он все никак не мог насмотреться. А войдя в комнату, опять ощутил на языке терпкий расквашенный привкус и сплюнул его в горшок со стареньким, на палочку опирающимся алоэ — да так незаметно, что и его самого не заметили даже.

— А ты ожидал от меня услышать, что... — тихим мучительным голосом говорила мама.

— Что ты приедешь и с ним кончишь! — выпалил папа.

— Вот тут, дорогой, ты можешь быть спокоен: с Борис Санычем я кончаю всегда.

И почему-то обрадовавшись, что их с дядей Борей дружбе пришел конец, Сережа бросился папе на шею: «Навсегда! Назавжды!» И папа крепко-крепко его всего прижал и сказал, как давно уже говорить перестал:

— Ты мой сладкий!

— Ма-а-ма! А!

Это? Это где-то недалеко завыл Владик. Сережа нашел его в кухне с физиономией, перепачканной или мукой, или содой.

— Кла-кла-кла-кодил! — захлебывался Владик.

— Откуда тут крокодил?

— Бона! Бона — насе солнце поглотил! — и в окно тычет. — Ноц станет — мама потеляется!

— Крокодилы в Африке живут!

— В Африке — голиллы!

— И злые крокодилы! Учил — значит, надо твердо знать. А по небу плывут облака. То есть на самом деле облака стоят — это земля вращается. Но нам с земли кажется...

Владик взывает еще безутешней. Приходится взять его на руки и поцеловать — не в муку, не в соду, тьфу! — в сухое молоко. А распробовав — лизнуть: вкусно. Что ли от щекотки, младенец втягивает головку в плечи и фыркает.

— А ну пошли его как шуганем! Мужики мы или нет?

Выходя на балкон, они едва не падают в густые заросли зеленых бутылок — Викин брат как раз именно за такие же им по семь копеек давал.

— Брысь, крокодил!

— Блысь! — взвизгивает Владик, сжимая кулаки.

— Во! Он уже хвост поджал! Давай ори!

— Блысь, сука, падла, блысь!

— Вали отсюда, «мессершмитт» поганый!

— По-лусски, блин, не понимает!

— Мы тебя не боимся! Да здравствуют наши! Ура!

— Ула-а!

Они сощурились в один и тот же миг: лохматая туча поджала хвост и — расплескалось спасенное солнце! Спасенное ими! Нами. Мы спасли. Победители, богатыри, витязи, герои — ула, ула, ула!

— Я спрашиваю, Сережа, что ты там делаешь?!

Ослепленные победой, своим могуществом и солнцем, они видят на соседнем балконе только черный силуэт.

— Что ты делаешь там? — говорит он бабушкиным голосом.

— Крокодила прогоняю.

— Падлу такую! — визжит Владик, а мог бы и помолчать.

— Сейчас же иди домой мыть руки!

— А я крокодила руками не трогал.

Но бабушки на балконе уже нет. Сережа знает: сейчас начнется звонок в дверь — сплошной, сиренный. И он начинается.

— Папка! — вопит Владик. — Лименты плинес!

Никто ничего не понимает! Звонок льется, как из ведра.

* * *

Ложь про то, что сочинение он уже переписал, но забыл дома, Сережа тащил в зубах, как ученая собака палку, — по улицам, лестнице и коридору — до актового зала вплоть, когда дверь вдруг оказалась закрытой изнутри. Судя по плотному дергу — на швабру.

— Маргарита Владимировна, — зовет он и скребется.

Неправдоподобная тишина говорит о том, что гипнотизер уже начал перепиливать человека.

— Маргарита Владимировна!

Дверь открывается, но стоит в ней Галина Владленовна, которая вела их до четвертого класса.

— Где ты бродишь?

— Он уже человека перепиливал?!

Прикрыв ему рот ладонью, вкусно пахнущей мелом, Га-Вла втягивает его в зал и ставит у задней стены. Он — хвостик, он — торчком. А весь зал лупоглазо замер, как Казя. Аковцы — во втором ряду. Вейцик — в третьем. И Маргоша. По сцене же — мама родная! — ползает Ширява. На четвереньках. И хватает руками пустоту. И еще две дылды прыгают рядом с головою Ленина — на скакалках. Сережа не сразу замечает, что скакалок в руках у них нет. Но которая потолще все равно часто спотыкается и, начиная все сначала, старательно заводит руки за спину. А под формой с нею вместе будто прыгает спрятанная сибирская кошка. И на нее очень трудно не смотреть. Тем более если с детства любишь кошек.

ОН же, в черной бабочке и синем пиджаке, стоит у края почти незаметно, все про всех насквозь понимая. И Сережа молча говорит: «Здравствуйте, извините, что я так опоздал. Это из-за бабушки и из-за Дианы. И из-за Маргоши тоже. Сделайте так, чтобы они все меня немножко боялись, как милиционера, пожалуйста! Спасибо. Я больше не буду вам мешать».

По ЕГО спокойному лицу ясно, что ОН не сердится ни капельки, и Сережа смолкает, чтобы не отвлекать.

— Спасибо, девочки. Вы замечательно прыгали. Теперь остановитесь и сложите скакалки.

И две дылды принимаются старательно наматывать одна через локоть, другая на пальцы — пустоту. Смешно, но не очень.

— А теперь, — говорит ОН явно что-то самое главное и ждет, пока все отсмеются. — А теперь все, кто хочет попытать свои силы, должны переплести пальцы рук вот так — чтобы получился замок.

Сережа переплетает. И Вейцик. И Ерема. Только некоторые девчонки побоялись. И Маргоша, конечно тоже — только оглянулась на всех, очками сверкая и зализанной головой.

ОН же медленно досчитывает до десяти и — повелевает развести руки в разные стороны. Что обычно получается само собой. Не получается! Руки не слушаются — замок закрылся.

Зал вздрагивает и гудит, потому что еще у некоторых, у многих даже ничего не получается.

— Не волнуйтесь, — сразу принимает ОН испуги, поступающие со всех сторон. — Если вы не смогли открыть замок, значит, природа наделила вас впечатлительной, талантливой душой. Через пять минут вы по очереди поднимитесь на сцену, и мы вместе подберем ключик к каждому замочку.

И все, кто дергался, наоборот, обрадовались ужасно! ЕГО вблизи увидеть и от НЕГО волшебство получить: текел-мекел-бара-пух! — и новыми руками так взмахнуть — под потолок взлететь чтобы! Я маленькая тучка, я... Фух, Сережа опускает руки — они теперь как орех еще не расколотый, целехонький, живой. Не суетиться, ждать.

А ОН, девиц расколдовав, про Леху вспоминает. Ширява же до сих пор еще ползает, рвет, нюхает — цветы, конечно!

— Молодец, хватит! — объявляет ОН. — Ты уже собрал огромный букет. Покажи его мне. И скажи: какие это цветы?

Леха неслышно бурчит. Неужели не понимает: нельзя же подводить!

— Скажи громко!

— Ромашки, — все равно мямлит. Но успех имеет, как на прошлом КВНе, когда девчонкой переоделся: ха-ха, хи-хи. Хотя смешно не очень.

— Отвечай четко: кому ты подаришь этот букет?

Возникает тишь. Никто же не знает — один Сережа только: Оле, скажет, Оле Петровой. Не в себе ведь человек — как же можно? Леха, когда случайно Сереже проговорился, потом его же чуть не убил: «Ты мне тоже теперь должен — имя! Имя!» И Сережа сказал:

«Вику». А он кричал: «И фамилию!» Сережа сказал: «Онопrienко», — лишь бы землю не есть: Леха уже ком для него в ладони мял.

Самый страшный конец все равно лучше, чем вот эта середина, когда Петрова еще не вскочила ошпаренно: «Дурак вольтанутый!» — и пальцем в него пока не тыкали все до первоклашек вплоть...

— Маме, — вдруг говорит Ширява.

И Маргоша громко хлопает. И ее любимчики с нею — трусы, побоявшиеся пальцы сплести и не расплести. Но Петрова все равно прыскает: «Во вольтанутый!», и как-то сразу становится хорошо.

А ОН снова просит тишины и повелевает: построиться у стены тем, у кого не раскрылся замок, чтобы потом друг за другом подняться на сцену. Зачем? Чтобы ползать и цветы не в себе рвать? А — кому? Отвечай: кому? — Вике-нет-тетеньке-голой-Диане-прикрыться-она-из-ноги-писает! — Кто она? — Я Олег! Гы! Гы! — Нет, ты — Паркин. И ты за все ответишь! — Цветы к Вечному огню ради мира на земле! — Хитришь! Спи глубже! Кому цветы? — Маргарите Владимировне на похороны — я всех гаже-ниже-жуть-жать-жить!

— Откройте скорей!

— Ты куда? — удивляется Га-Вла. — А руки? — Но швабру из двери вынимает. — Пойти с тобой?

— Я сам, сам! — и мчится по надраенному в честь НЕГО паркету, неуклюже, с заносами, потому что маневрировать без рук — это как самолету без крыльев. И когда падает и два метра на пузе едет, до конца понимает, несмотря на все дяди Борины насмешки над их программой старорежимной, как все-таки хорошо, что отрывки про Маресьева они уже проходили.

А на улице и не холодно ничуть. И оставленная на вешалке куртка особенно не нужна. Все люди вокруг размахивают руками, как глухонемые или шестирукие. И объявление на столбе про срочно продающийся холодильник «Днепр» весело манит к себе пальчиками из мелко нарезанных телефонов. Перед витриной «Овощей» с ненастоящими сверкающими фруктами стоит девица, то взбивая себе волосы, то пригладывая, — и так раз двадцать, когда к ней подходит наконец парень и набрасывает руку на плечо. А она ее скидывает. Тогда он ей жвачку дает. Даже не взглянув, есть ли внутри — это был бы сорок шестой Сережин «Макдональдс»! — девица сует серую пластиночку в рот и, парня за пояс обхватив, в лужу бумажку швыряет.

Через три прыжка присев у самого ее края, Сережа пытается разглядеть. Конечно, придя с работы, папа придумает, как растащить пальцы, хотя может и сломать один, другой... Мама говорит, раз по гороскопу он — бык, то всегда идет напролом, не имея вкуса к маневру. Скомканная оберточка доплывает до середины. «Я завтра утром приду, — говорит ей мыслями Сережа. — Ты уж меня дождись — я же первый!»

В сквере он плюхается на скамейку, и голуби, воображая, что все только ради них сюда и садятся, сходятся и сходятся — от клумбы и от урны перевернутой. Один мельче всех

бежит — вот что: у него лапки ниткой связаны. Ему еще хуже — он и про Маресьева знать ничего не знает. А гипнотизер сейчас, конечно, расколдовывает Симагу. Руки ему разомкнул: ты, говорят, отличник, ну-ка, ну-ка — сколько будет дважды два? А тот дрожащим голосом: де-есять! И все от смеха покатываются. А Сережа: ведь под наркозом же! — мог бы вполне: «Четыре раза, как Прости-господи!» — «Что? Кто?» Это Белкин в лагере записную книжку стащил у одной из первого отряда. Ее все называли Прости, потом пауза, потом: господи. Там было написано: «В.Т. — 2 раза, М.С. — 1 раз, Р.О. — 1 раз, С.К.П. — 2 р. + 2 р. = 4 раза». Целовались, что ли? А Белкин сказал: пилились. И на пальцах показал, единицу в нолик просунув. Но самое странное, что к ней тоже мама приезжала и клубнику ей привозила, сахаром пересыпанную. Сок в банке, как кремлевская звезда, горел — на солнечной поляночке, это она на конкурсе военной песни пела. Сережа стоял перед ней и не мог уйти, а она тянула сок из банки с прихлопом, точно маленькая, и красная струйка бежала вниз из угла губ, как в «600 секундах» уже на месте преступления. «Че — не приехали твои?» — и банку ему протянула. И Сережа немного отпил, чтобы узнать ее мысли. «Четыре раза, — заухало в ушах. — Че-ты-ре-ра-за!»

На другой край скамейки стелет газетку и садится седая тетенька в панаме из вельвета. Скосив на Сережу глаза, она их быстро отводит, как Ширява от Ольки Петровой. Холод влажного дерева вдруг пробирается в тело, и Сережа начинает трясти перед собой плетенкой рук, как пулеметчик, кося цепи душманов. Плюс еще хорошо то, что это — мелкая вибрация, от которой разваливаются даже мосты и самолеты.

Включившиеся вокруг фонари, будто глаза, освещают лишь самих себя. И удивленно смотрят на облетающие на них деревья. Седая бабуля приподнимает газету и вместе с ней приставными шажками подсаживается поближе к Сереже. Помада с ее узеньких губ по кругу съехала на морщинки кожи, как если бы она тайком обьяелась варенья.

— Не так и не вот так следует молиться, — вдруг говорит она и прижимает ладонь к ладони. — А вот так: Господи, помилуй мя.

— Прости господи? — говорит Сережа.

Она же этому рада без памяти:

— Молитва ребенка невинного быстрее всего до Бога дойдет. А уж как она Богородицу обрадует! — И, щелкнув замком своей, как черепаха, потрескавшейся сумки, она обещает ему адрес церкви, где красиво играет орган и куда он сможет с бабушкой по воскресеньям приходиться. — Вот, пожалуйста! — специально приготовленная бумажка уже подрагивает в воздухе.

И Сережа вскакивает:

— У нас никто не верит в Бога! Даже прабабушка — никто! — и идет, и бежит. И чем быстрее бежит, тем резче мечется слева-направо то целое, что сразу и пулемет, и тачанка, увлекающая вперед, и весло, и цепь, и галера. Господи-помилуй-мя-маленький-мальчик-зенитку-нашел-поздняя-осень-грачи-улетели-лес-обнажился-в-Москву-не-пришел-родина-слышит-родина-знает... и вбежал в гастроном. В его вестибюле из зарешеченной стены

дует сильный теплый сирокко. Сережа вертится в нем флюгером, не зная, что раньше отогреть. Глаза щурятся, волосы прыгают, когда из зарослей общего «бу-бу-бу» вдруг яркой синицей выпоркивает мамин голос:

— Это — для инвалидов заказ!

Все смотрят на палку колбасы, торчащую из ее целлофанового пакета.

— Отцу — в больницу! Что — нельзя? — звенит мама и, руками раздвинув драповые плечи, которые и не думают драпать, которые: «По средам — для инвалидов? С луны упала? Бесстыжая!» — пробивается все-таки и выскакивает вон. А еще у нее есть удостоверение многолетней одиночки, чтобы вместо стояния в очередях шить, читать и ходить к друзьям. Но прежде чем выбежать следом, приходится впустить в магазин долгих двадцать человек, хотя, конечно, вполне весело смотреть, как дующий с юга сирокко: х-х! — затуманивает очки студенту из ПТУ и сбрасывает волосы с дяденькиной головы, распахивая лысину.

На улице мамы нигде нет. Сережа добегают до угла, но на Мариупольской, к дому ведущей, все чужие, кроме Калачова на велосипеде — он везет на раме из сада свою толстую сестру.

— Калач! Вечером выйдешь? — кричит Сережа.

Но он уже далеко и не слышит. Больше маму искать негде — не в «Овощах» же, когда Сережа видит ее перед собой — за стеклом. В машине — в дяди Бориной «восьмерке». Они молчат рядом, как космонавты перед стартом. И дядя Боря иногда поглядывает на часы: пять, четыре, три... — они у него японские, с кнопочной подсветкой. Мама же сморкается в платок и им же вытирает размазанную под глазами краску. Целлофановый пакет с их заказом лежит на заднем сиденье, и теперь еще видны шпроты, коробка конфет и, наверное, цитрусовое желе. Если «Вечерний звон», загадывает Сережа, значит, она с ним опять кончает. А раз плачет — значит, навсегда.

— Тебя Га-Вла по всей школе искала.

— А куртка твоя где?

Это Ольга Петрова с Чебоксаровой под ручку — откуда ни возьми. В одинаковых белых куртках, потому что их мамы тоже дружат. Выездное заседание совета отряда. И Сережа на всякий случай закидывает сросшиеся пальцы за голову:

— Поза полулотоса — закаливание воли и организма.

— Вон мама твоя в машине сидит, — подбородком тычет Чебоксарова.

— Ты сочинение переписал? — нудит Петрова. — Учти, нам Саманта из-за тебя не достанется.

— Павликов Морозовых на всех хватит — и бороться не надо, — Чебоксарова тоже сплетает пальцы и ими затылок обхватывает. — Твоя вон из машин вылазит. Серый, а ты мог бы уговорить Вейцмана, чтобы он завтра ко мне на день рождения пришел?

Сереза пожимает плечами и оглядывается. Мама как пощечиной ударяет «восьмерку» дверцей и бежит через дорогу. Пакет же со всеми вкусностями — «Э-э! Э!» — дергается на заднем сиденье и уезжает с дядей Борей. Далее без остановок. Неужели в Америку? Папа объяснял тете Нелли, что он и не делает из этого трагедии, раз дядя Боря уедет туда в ноябре навсегда.

Калач гоняет по двору на велосипеде уже без сестренки. Дворничиха жжет костер из листьев и мусора, а женщина из окна кричит, что и так ей нечем дышать. Самое главное в цитрусовом желе, пока оно только полужастыло, успеть накапать в него из ложки капельки варенья. Если они получатся по-настоящему маленькими, то не провалятся до дна, а повиснут выше и ниже, тут и там, тихо сверкая. Очень важно, чтобы горячее желе бабушка налила именно в стакан, и когда оно вместе с бусинками окончательно замрет, на них можно смотреть снизу, сбоку, сверху — на свет, на солнце, на огонь плиты. И еще самое вкусное в цитрусовом желе — это то, что оно подрагивает на ложке, как живое. Правильный же способ поедания конфет «Вечерний звон» таков:

- 1) аккуратненько зубами отделить от верхушки облитый шоколадом орешек;
- 2) прожевать его отдельно, чтобы если он окажется сухим и горьким...

— Ширява-а-а! — вдруг орет Сереза до боли в гландах, потому что они опять преувеличенно большие. — Леха! Вейцик! — и воет, закинув голову к их освещенным окнам: — Меня загипнотизировали!

Верхний край серого облака смугло-розов и, значит, еще видит солнце. Сначала он возьмет губами черный фломастер и нарисует в «Дневнике наблюдений» тучу с дождем, а потом обнимет губами желтый...

— Серый, не трать! — они бегут к нему от гаражей наперегонки.

Ширява, перепрыгнув через кусты, налетает первым:

— Где? А ну?

Обежав кусты, и Вейцик с пытением дергает за руки:

— Вот же халтурщики! И что за страна — работать никто не умеет! — и плечи приподнимает высоко-высоко.

— Не нравится — вали в свой Израиль! — Ширява дергает Серезины руки сильнее, еще сильнее. — Навеки сработано — понял? И без единого гвоздя!

Вейцик начинает сопеть, примеряясь, в какую скулу Ширяве заехать.

— Мужики! — встречается между ними Сереза. — Вы чего, мужики?

— Тяни давай! — командует Леха и Серезу за левый локоть поддевает. А Вейцик тогда, упершись в него коленом, тянет за правый:

— Позвал дед бабку!

— Молчи!

— Позвала внучка Жучку!

— Заткнись! Силы береги!

Вдруг кто-то из них пугает, но никому не до смеха — все падают на землю. И заколдованные костяшки глухо вдавливаются в битый кирпич.

— Дохлый номер! — сопит Вейцик. — Медицина бессильна.

— Точно! — говорит Леха. — Надо «скорую» вызывать.

И мокрая грязь стала сквозь брюки вдруг слышна.

— Тебе хорошо. Завтра можешь спокойно в школу не ходить, — Вейцик обеими руками штанины себе трет. Пальцы слюнявит и снова трет. — А мне еще к Чебоксаре потом, к дуре этой.

— Пойдешь?! — И не понять по Лехиному вою, чего он вдруг психует. — Ты к ней пойдешь?

Из костяшек пальцев кровь сочится. Но небольно, как из другого человека.

— Ну, ладно. Выздоровливай. Мы тебя завтра проведать придем, — говорит Вейцик и руками разводит широко. — Медицина бессильна.

И они уходить начинают. Но потом Леха возвращается от кустов и шарф с себя снимает и на Сереже завязывает, потому что у него есть сопливый младший брат и Ширява привык.

— А вы куда? — Сережа стоит, как дурак, и дает себя обматывать, но интересно же.

— На кудыкину гору.

— Сказать трудно?

— Секрет! — и под горлом самым ему шарф душно стягивает. Этот Ширява или не понимает, дурак, или издевается. А просить его — вот еще, раз секрет!

— Ты идешь? — Вейцик уже возле карусели злится.

— А... а мне можно с вами? А он потом человека перепиливал?

— Я пошел! — орет Вейцик и к гаражам бежит. Там в одном гараже только свет, где дед Капусты свой драндулет инвалидный держит по кличке «пукалка».

— Ха! — Сережа пятится. — Вас Капуста позвал!

— Ну, позвал.

— И весь секрет?

— Он сказал, чтоб мы других пацанов не звали.

— А я б и не пошел! — Сережа ему вслед уже кричит: — Я б и не пошел! Я бабушке слово дал! Много случаев гибели известно, — чего зря кричать? они уже далеко совсем, — от взрыва выхлопных газов!

И совсем темно оказалось, как в кастрюле под крышкой, как шпротине в консервной банке, у которой ведь тоже рук нет, которую дядя Боря с собой увез. Сережа не в сторону гаража пошел, а просто в ту сторону, в которой стояли и гаражи — замками, как орденами, наглухо увешанные — важные. И только Капустин — настежь. И все на цыпочках склонились карбюраторные внутренности погладить, потрогать, ногтем подцепить. Ты же — только килька в ночном томате, которую Капуста может спокойно за шкурку взять и хоть на крышу зашвырнуть, хоть куда! Он Ширяву летом в бак для мусора посадил, в квадратно-железный, его еще там две кошки помоечные исцарапали. Самая же лучшая в мире машина — марки «мерседес». Хотя она и не самая быстрая, и не самая вместительная, и не самая вездеходная. По отдельности она ни в чем не самая. Так еще бывает только с некоторыми людьми. Например, когда мама в весенние каникулы сказала, что они, наверно, не будут вместе с папой жить, потому что папа и не самый умный («Ты что? Наш папа?!»), и не самый сильный («Ты же не видела! Он, в парке Горького когда мы были, 70 килограммов выжал!»), все умные и сильные давно в кооперативы ушли и деткам своим видушки купили, как дядя Боря девочке Санне, а твоему папе за семь лет двадцать рублей пристегнули, он и рад без памяти, а знаешь ли ты, что бедный человек не может быть ни сильным, ни добрым — не на что ему! («А наш папа все равно! Все равно!») Что все равно? Это ему все равно.

Вот что надо было тогда ответить: он просто самый-самый, как «мерседес». А ты, мамочка, самая умная, самая красивая, самая быстрая, как «тойота». А бабушка — как «нива», незаменимая осенью на проселочной дороге.

Нос снова шмыгает, шарф жмет, рук по-прежнему нет, а без них, как без куртки, а без куртки, как без рук, и судороги, как 220 вольт. Батарея! Если положить на батарею, пальцы разгорячатся и оживут. Ежу понятно. Вот. Он бежит к подъезду, не разбирая луж, они — мокрые, и асфальт мокрый, а когда оглядывается, сияющий гараж, как пряничный домик в дремучем лесу, а в нем тысяча прекрасных вещей, домкрат нечеловеческой силищи, тугая шина про запас, леечка с маслом, которое льется из ее длинного клюва, как будто это цапля кормит своих птенцов, — и все по отдельности, и все вместе они сверкают. В 24 прыжках, в 38 шагах — а еще дальше, чем война, когда немцы в Полтаву пришли. И бабушке тогда тоже было десять лет и еще страшней, чем ему сейчас. Но она же выдержала. Как же он мог пропагандировать войну — неужели непонятно?

Я — раненый солдат, мне осколком руки оторвало, я не вернусь домой, я — сын полка, я по-маленькому хочу. Я умру сейчас! И всегда почему-то начинает хотеться вот в этом месте — на подъезд условный рефлекс, а уж в лифте я точно... Надо думать о другом! О Диане! У нее унитаз голубой, только треснутый весь, как в паутине, а в школе — там все курят, в лагере же просто дырка была, и страшно подумать, если рядом поскользнешься... ой, смотри, из ноги писает! Люди женятся, чтобы сделать ребенка, а она ведь уже одного сделала, и хватит — зачем же ей на дяде Боре жениться? Она больше не хочет иметь детей: ей единственный ее сыночек всю печень отбил, пока сидел внутри. Польется сейчас!

— Сережа?!

— Ой, здравствуйте.

— Ты чего, как старичок, скрючился? Коля был на уроках?

— А вы мне подъезд, пожалуйста, откройте.

— Ты что мне мозги крутишь? Был или нет?

— Был. До свидания.

— Маме своей скажи: если ей нужны такие же, как она брала, пусть ко мне зайдет. Только, скажи, теперь дороже.

— Кто дороже?

— Она знает, она брала. Коля на всех уроках был?

— На всех.

— Маме передай. Не забудь! — и дальше пошла, к десятому подъезду, сама маленькая, а две сумки — до земли.

И опять захотелось! И две капли уже наружу выпрыснулись. Только прыгать! Выше! Чаше! В роще! В чаше! До задыхания! До полного наплевать, что там у них в гараже! До грудной жабы, ква-ква-квакающей в горле! А-нам-все-рав-но! На-по-лу-ле-жит-то-пор. Ле-хин-шар-фик-ос-лаб! Рас-хо-те-лось-по-чти! Вот бы за дяденькой успеть, нырк, чирк, фырк, юрк — вскочил! И уже на втором, нет, на втором с половиной этаже — рухнул. Грудная жаба в груди все еще прыгает, и от нее черные круги по воздуху, как по воде. Лифт гудит. Едой отовсюду пахнет. Раньше такие черные круги получались, если на лампочку быстро взглянуть, зажмуриться и на глаза пальцами надавить. А теперь сами плывут — здорово, удобно!

«У тебя от бабушки не должно быть секретов! Ты что сейчас делал под одеялом?» — «Колено чесал». — «Честное слово?» — «Честное слово». — «Все равно руки надо под щечку положить». — «Неудобно мне так!» — «Всем удобно, а ему неудобно! Нельзя неправильно спать!»

А теперь будет можно.

Руки, руки! Я — ваш хозяин, как меня слышно? Прием! — Мы — руки, мы — руки. Слышно нормально, прием! — Руки, руки! Я — ваш начальник-генерал. Приказываю прекратить сближение. Приказываю начать отдаление. Как поняли? Прием! — Поняли! Хорошо даже поняли. Пытаемся перейти к отдалению. Мешают пальцы! — Пальцы! Пальцы! Я — ваш генерал. Как меня слышите — нормально? — Фить, фить, фить, фьюить! — Пальцы, пальцы, кто на связи? — Быр-быр-быр, пук-пук! — Приказываю устранить помехи! Слушай мою команду: равняйся, вольно! Вольно-о! Я кому говорю? — Мы ничего не понимаем, пальцы не выходят на связь. — Пись-пись-пись! — Молчать!! — П-с-с... — Отставить! Смирно! — Пс-с!

Ужасно! Горячо! Хорошо! Ужасно! Хорошо-то как! Хоть лети! Как же ужасно хорошо! И нестыдно-легко-легко. Только надо подальше уйти. Подальше, повыше. И не особо большая лужа получилась. Я маленькая тучка, я вовсе не медведь, ах, как приятно тучке... Пролилась и улетела на третий, нет, на третий с половиной этаж. На четвертый — где дядя Юра живет и всегда немного страшно: здесь летом гроб стоял в оборочках, как бабушкин фартук. Если брюки сами собой просохнут, никто и не догадается. Там, где крышка гроба стояла, — детские санки. А если Диана вдруг выйдет? «Ну ты, чудо в перьях, — что, до горшка не добежал?» Надо ответить: «Я в лужу упал!» Но она же бесстыжая, она принюхиваться начнет, таких, бабушка говорит, раньше за сто первый километр выселяли. Надо сказать: «Я от Белкина заразился. Называется энурез. Вот я на вас как дыхну!» Но бабушка говорит: «И как она никакой заразы не боится?»

Лифт наверху открывается, и сразу собака лает — это же Тимошка, на восьмом. Он и лапу умеет подать, а палку принесет — не из-за сахарка, из чистой дружбы. От мокроты и прилипшести только сейчас по-настоящему противно делается. Сделалось уже. И зачем-то он все-таки пришел на свой этаж. Чьи-то шаги за дверью? Там — мама? Мамочка, только не ругай меня. Я знаю, это я сам виноват. Я же бил тебя по печени — помнишь? До сих пор себе этого простить не могу. Я тебя, наверно, все-таки не ногами бил, а руками — ты же не могла видеть, чем. Руками! Вот им за это! Все по-честному. Награда нашла героя. Ты же когда поешь что-нибудь вкусненькое... Только надо негромко реветь. Ты после вкусненького таблетки пьешь, за бок держишься. Прости меня! Я больше... я никогда больше...

— Их сука — опять! Ты посмотри! — крик на одном этаже, но на все этажи помноженный. — В стране жрать нечего, а она себя поперек шире! И не держит уже!

— Тише. Что ты нюхаешь? Ты еще лизни, — но шепот тоже умножается, и в сумме — шипение.

— Она завтра твоему внуку кучу в коляску наложит!

Неужели не понимают, что такую лужищу не мог сделать карликовый пудель? Господи! И уже в какую-то дверь кулаками стучат.

— Зина, не глупи. Я пошел.

— Тоже в штаны наложил? Мужик! Нет! Я этому сейчас положу конец!

А вдруг они по следу пойдут? Опять в дверь стучат. А если пойдут? А я тогда лбом на наш звонок надавлю — чик-трак, я в домике! И коврик у нас мягкий — надо же какой! раньше на нем не сидел — удобный. Ногами так не почувствуешь. Больше всего, конечно, щекой почувствуешь, а еще больше — руками. Руки — это вообще, оказывается, такая удивительная вещь — от них всё! От них драка, от них и любовь, когда, например, кошку гладишь или под шейкой чешешь, а она мурлычет, жмурится — это ведь самое лучшее, что ты можешь для нее сделать. Люби ты ее в сто раз больше — ничего ты для нее лучше не сделаешь уже. И кровь из пальца руки берут, чтобы потом жизнь спасти. И Вика ведь палец резала, чтобы... Руками рисуют, едят, чешутся, одеваются, раздеваются, играют на пианино, если умеют, чинят, ломают, опять чинят, хватают, отпускают, чешут спину,

набирают телефон, если мокрое к телу прилипло — руками можно бы было отлепить, чертят на работе чертежи, домой их в руках приносят и дальше чертят, руками теплые вещи к зиме вяжут, палками лыжными от земли отталкиваются и, как на рапирах, дерутся. Разговаривают даже! Глухонемые, например, или если на уроке надо незаметно подсказать. И ругательства нехорошие руками тоже есть. В древности, раз ты украл, рукой — руку человеку и отрубали. Все по-честному. Если, например, взять глаза, или нос, или уши — они, конечно, лучше рук: не дерутся, не царапаются, не крадут, попу не подтирают, не воняют — табачищем, как у Капусты. Зато они, как девушки-крестьянки в доме Троекурова, — за всех, для всех стараются. Чтобы глаза могли читать — они свет зажгут, чтобы уши могли балдеть — они кнопку нажмут. Особенно много нос о себе понимает: фу, фи! А руки и в мусорное ведро полезут и один раз в унитаз — но все равно тогда уплыло Викино колечко. И зимой руки больше всех мерзнут и в реке больше всех гребут. И вообще руки — это неполучившиеся крылья. Надо только правильной конструкции на них надеть перистое облачение. В этом смысле руки вообще лучше всего прочего, вместе взятого! И еще они в том смысле лучше, что самое пушистое — кошку или кроличий хвостик, — самое нежное, самое гладкое, как, например, фольгу от конфет, они могут почувствовать, полюбить как никто! И мамыны плечи на пляже — теплые-теплые, гладкие-гладкие — они могут посыпать стружкой песка, а когда песок утечет, а его остаток сдуется и плечо снова засверкает, они по нему заскользят подушечками, до шелушинки дойдут: «Мам, можно я ее ногтем подцеплю?» — «Только осторожно!» — и когда эта шелушинка с тихим треском, как крик кузнечика далеко за рекой, оторвется, тогда — но это лучше другой рукой, которая незнакома с шершавостью чешуйки — по этому месту плеча быстро проскользнуть. Ни для чего, просто так. Хорошо! Левая рука, безусловно, умней правой. Она же ничего не делает и много думает: ну вот зачем она родилась и что оставит после себя? Лифт опять вверх поехал — перегруженный, что ли? весь дрожит! Поэтому левая рука всегда с удовольствием приходит на помощь правой. Во-первых, конечно, руки в тысячу раз порядочней ног: они ни за что никого не раздавят, а нога — пожалуйста. Ушам и тем приятен хруст тараканьей смерти. И глазам — любопытен. Одни только руки этого вынести никак не могут. Вот они, оказывается, какие! А то, что они под одеялом могут, допустим, не только колено чесать, но и пиписю трогать — это потому, что им скучно с коленом. Колено тупое, а писюлька живая, она до того живая — что ты весь от нее живой делаешься, весь! Что же в этом плохого? Если руки человека кормят, чтобы он был живой, — это, бабушка, по-твоему, хорошо. А здесь же то же самое почти, только они уже теперь проверяют: ты живой? весь живой? — да, да! очень живой! Хорошо ведь? Ужасно хорошо! Только... Когда гроб на табуретках во дворе летом поставили, дядя Юрина мама в нем со сплетенными руками лежала — не живая! Вика говорила, всех мертвых так в могилу кладут. А душа еще дней девять-десять или даже сорок кругом летает и видит все. Неграмотные люди раньше думали, что это — привидения, а на самом деле это — летающая душа. Потому так страшно на кладбище ходить. Вика говорит, одни бандиты поймали девушку, замучили, убили ее, отрубили ей ноги, потом поставили их перед дверью и записку написали: «Мама, я пришла домой». А Белкин рассказывал, что один мальчик не подозревал, что у него дедушка лунатик, увидел, как он ночью по бельевой веревке идет, — и умер от страха. А еще одна мать не любила своих детей...

Телефон звонит — совсем рядом.

— Я слушаю, — говорит за дверью папа. — Нет, не приходил. Что? Бред какой-то... Ну давай будем вместе искать.

Это — с работы. Там у них опять что-то сломалось, и надо искать — что! Сейчас он скажет: совдепия чертова!

— Татуль, ты не волнуйся. Ну сказал он тебе «честное пионерское» — это же для них сейчас!..

Мама? На другом конце — мама.

— Татуль, я не спорю. Хорошо. Найти в красной книжке телефон и сказать «от Вербицких». Я понял, понял.

И опять телефон звонит — за Дианиной дверью. Диана кричит:

— Кто? Жопа! — и хохочет вдруг.

Папа говорит:

— Добрый вечер. Я... Нам порекомендовали к вам обратиться Вербицкие.

Диана говорит:

— А больше ты ничего не хочешь?

Папа говорит:

— До завтра мы не можем ждать.

Диана кричит:

— Сам туда сходи! Был? Еще раз сходи! — и опять хохочет вдруг: — Ну ты меня, Фунт, заколебал! Ты че? У парня дизентерия! Не, я невыезная.

Папа говорит:

— Вы не имеете морального права!

Диана говорит:

— Я больше с козлами не тусуюсь.

— Тогда порекомендуйте нам кого-нибудь... Ну то есть, конечно, не лишь бы кого-нибудь.

— Пупок развяжется!

И тихо-тихо стало — оба молчат. У кого-то на плите картошка сгорела, как в лесу, только дыма не видно. Папа радостно:

— Пишу! От Мирзоева.

Диана ехидно:

— Так ему кто игрушку купил — тот и папа.

— Огромное вам спасибо!

— А ху-ху не хо-хо?

Душа — это и есть я сейчас. Всех слышу, а меня — никто. Они все есть: ходят, говорят, а я их потрогать не могу. Хотя, конечно, тело еще мешает немного. И мокрятина липкая. А то бы улететь к морю и жить там — всей душой. Днем под водой жить, среди водорослей, рифов, а всю ночь смотреть на звезды, как спутники между ними медленно-медленно плывут. Это очень сложно — сразу отличить звезду от спутника. Особенно, когда долго смотришь и уже все звезды тоже подрагивают. А ты все смотришь, смотришь и вдруг кричишь на весь двор, нет, на весь Афон — потому что явно же это падает наш корабль с нашими космонавтами. И тетя Айган и дядя Арсен сбегаются и над тобой смеются: «Э-э! Был бы корабль — программа бы „Врэмья“ сказал!» А ты кричишь: «Это он сейчас, сейчас упал!» А тетя Айган говорит: «Э-э! „Врэмья“ бы все равно сказал!» Шершавой ладонью по голове гладит и уходит. Цикады же позванивают в черноте, как электронный телефон за дверью директора: пилик, пилик — а там никого! Их в траве столько же, сколько звезд. И подрагивают они так же, просто их не видно. А звезды далеко, и их не слышно. Когда же папа с мамой наконец приходят из кино...

Дверь вдруг начинает хрустеть замком. Но подняться без рук, оказывается, невозможно почти.

— Я как почувствовал! — Это папа вышел на порог. — Мама уже не знает, куда бежать! — под локти схватил и сразу на ноги поставил. — Ей мальчики во дворе рассказали. Бред какой-то! В самом деле! — и то ли руки Сереже разжать хочет, то ли ждет, что все сейчас шуткой обернется.

И снова железный лязг — Диана в щель лицо просунула, потом и плечи — в своем халатике скользком.

— Слышу мужской разговор — дай, думаю, разживусь сигареткой! — и носом шмыгает, и ускользящий атлас обратно на плечо тянет. — Вот только узнала: у подруги муж час назад на машине разбился. Мне бы хоть бычок!

Бычок по гороскопу — это папа. Стоит и смотрит исподлобья.

— Да. Большое несчастье. Он сам был за рулем?

— Слушай, дай закурить. Ну, что ты?.. — Диана то место ладонью трет, куда при ангине кладут горчичник. — Душа болит! Вина нет граммульки?

Папа принимается рыться в карманах, когда вдруг открывается лифт и из него — мама:

— Мне Вейцман сказал... Покажи руки! Я этого гипнотизера посажу! Ты помнишь его фамилию?

Хлоп! И никакой Дианы! Она только участкового милиционера и маму боится.

— Он мне до конца своих дней будет пенсию платить! — Мама на нервной почве кладет свою сумку на плиту и тоже начинает Сережины руки дергать, как будто это поломанный шпингалет в уборной. — Ты до Мирзоева дозвонился?

— Он твоих Вербицких еле вспомнил.

— Ты сказал, что мы две таксы платим?

— А ты сказала так сказать?

— Идиота кусок! Ничего нельзя доверить!

— Можно. Я выпросил у него другого сенса. Не знаю уж, экстра или нет.

— Юмор твой, знаешь! Господи! Он же весь мокрый. Уписался? Чей он дал телефон?

— Серебро. Фамилия сенса: Серебро.

Быстрые мамины руки, как две мышки, бегают по пуговицам и молниям, стягивая мокрое.

— Мирзоев — гений. Он нашей Нелечке ребенка сделал! Андрей! Не стой! Держи его за плечи. Сережик! Эй! Ты почему молчишь? Ты можешь говорить?

— Ты же видишь, что не может!

— Боже мой! Неси его лыжные брюки. И трусики. Сынуля, ручкам не больно? Головка не болит? Давай и носки снимем.

— Эти брюки?

— Лыжные! Теплые! Ну что за козел?

— Если взяла отгул — надо дома сидеть! За ребенком смотреть!

— Я взяла отгул?!

— Мне твой Кузнецов сказал...

— Он же меня сам отпустил к заказчику, он забыл!

— Он сказал, что ты пошла с сыном к врачу! Ты же у нас ведьма. Накаркала!

Они думают, что я не говорю. И что я не слышу. И что я даже не душа. У папы руки медленные, как две черепахи в панцирях.

— Когда ты брала отгул под мамин сердечный приступ...

— Уйди с моих глаз! Звони Серебру!

А сухие трусы — это, оказывается, еще и безумно тепло. И сухие брюки. Всего-всего обняли, как будто любят-любят! Я вас тоже, брюки, ужасно люблю!

— Пап.

— Что? Он что-то сказал, Тата! Мне показалось...

— Показалось — перекрестись! Вот мы и одеты. Раз плюс раз — бабушкин звонок.

Мама кричит:

— Не вздумай ей говорить.

Папа уже от двери:

— Но она сама у...

— Не у!.. Сережа, иди в свою комнату!

Бедная бабушка опять звонит: раз плюс раз. Папа открывает.

— Зачем ты? Такая тяжесть!

Две полные сумки капусты — голова к голове. Бабушка их ставит на пол и гордо растирает разругавшиеся руки:

— Можно ли было не взять? Два часа — и мы с капустой! Ой, какие люди в очереди злые стали! Сереженька, будем мириться?

— Ольга Сазоновна, мы все сейчас на пару часов уедем.

— Куда же на ночь глядя? Ему уроки делать! Сережа, скажи бабушке, что случилось!

— Сережа, иди к себе. Я кому сказала? — Мама в спину подталкивает и в темной комнате оставляет. И нечем зажечь свет. Зато из темноты голоса слышней — лица же не мешают.

Мама кричит:

— Нелечка! Как хорошо, что я тебя застала! Скажи мне честно: что такое этот Серебро? Да нет! Экстрасенс!

Папа считает:

— Раз, два, три, четыре, пять...

Бабушка говорит:

— Мне давно пора, как ты говоришь, андеграунд.

— Двенадцать, тринадцать, четырнадцать... Мама, это же в другом смысле!

— Ты сам мне объяснял: это — «под землю».

— Двадцать! Не под землю, а под землей. Течение такое. На выпей. Мама, пей!

— Я знаю, там река мертвых течет. Теперь опять в это стало модно верить! — Бабушка заплачет сейчас. — Только бы не лежать, чтоб от вас и часа не зависеть! Только бы сразу!

Шкаф, кресло, стол выступают из темноты, как крупные звери из зарослей. Они и пахнут похоже с тех пор, как их в прошлом году сюда привезли. Но если Серебро — это тот самый, который в школу сегодня приезжал... Их, может быть, всего два или четыре. Ну ясно, что не больше! А-а, скажет, как же, как же! Давно тебя жду! Я ведь сразу тебя насквозь увидел! Ну-ка, говори при всех: для чего тебе руки? колено чесать или не колено? Позор! Позор и грязь! Микробы и позор! Все слышали? И обязательно бабушке его передайте, чтобы недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах. На полу лежал топор, весь от крови розовый, — это сын играл с отцом в Павлика Морозова. Нет, вы послушайте! Если бы Казя сегодня испугалась машины и укусила его за ногу или лучше если бы Га-Вла в зал его не пустила: опоздал — сам виноват! Лучше если бы Серебро выступал бы в Индии, заразился там малярией и сейчас бы под тремя одеялами там дрожал!

— Серебро! Серебро! Я же знаю, ты меня слышишь! В моих руках — часть твоей силы! Я же унес ее с собой! Что — испугался? И сети расставил. И ловишь меня! Серебро, я приказываю: замри, замри, умри!

Свет. Я не вижу ничего. Кто-то вбежал. Папа. И бабушка. И мама. Все стоят.

— Я — сам гипнотизер! Я не поеду! Не двигаться! Стоять!

— Сереженька, — это бабушка.

Бабушка не поддается. Крадется ближе.

— Бабушка, замри! Я — гипнотизер!

— Уже замерла, — а сама крадется.

— Ольга Сазоновна, стоять, — мама — сквозь зубы и глаза закрыла.

И папа прищурил. Но видно же: некрепко спят.

— Дети! Вы все — дети! Папа, собирай цветы! Тебе десять лет. Собирай! Их тут целое поле!

— Собирай, — мама шепчет.

— Но, Татуль...

— Собирай, прыгай, бегай! — Мама быстрее всех поддалась.

И папа нагнулся и воздух хватает.

— И тебе, мама, десять. Скажи, девочка, громко: сколько тебе лет?

— Десять, — говорит мама.

— Он же горит весь.

— Бабушка! А тебе как раз именно сегодня десять лет исполнилось!

— Почему сегодня? — Бабушка наполовину уже!

— Сегодня, сегодня! — кричит мама, брошку от себя отстегивает и, как медалью, бабушку награждает. — С днем рождения, Оленька! — и целует ее и обнимает, как никогда, как в детстве.

— Надо же! — Бабушка брошку рукавом трет. — Можешь ведь, Наташа, можешь!

— И цветы вот — я собрал! — Папа охапку воздуха держит, не знает, куда деть.

— Расти большая! — Мама за края юбки берется и книксен делает.

— Ему надо ложиться спать в девять! — Ну опять ее в старость несет! — И пить натуральные соки, а не ваши полувитамины!

— Мы к девяти вернемся, — и все цветы на пол уронил.

Вот я сейчас! Вот я всех вас сейчас! Насквозь! Надо делать пассы! Вся же сила — в руках!
Я — ОН! Пассы! Пассы-лаю!

— У нас — праздник! За руки! Всем! — Так не может кричать мальчик, я — ОН! И стрелы и молнии из рук: — Папа! Мама! За руки! Водим!

И мама вдруг больно левую хватает:

— Праздник-праздник-хоровод! — и правую тоже, но правая же — папе.

— Я вас! Я вас всех — вас сейчас! — Жаба в груди вздрагивает и клокочет.

— Сереженька, все уже хорошо!

Огромная — а хочет через горло!

— Мы никуда не едем, ну? — Мама тесно обняла всего.

— А-а-а! Гы-а! — Я Олег. Мне пчела горло жалит.

— Папа нам сейчас постель постелит.

И лицо жалит:

— А-а! Гы-а! А!

* * *

Теперь уже из окна весь двор виден. И как Вейчик с Ширявой войдут, сейчас видно будет. Если, конечно, Вейчик прямо из школы не свернет к Чебоксаре. Все лужи как в медных монетах. Потому что березам вот-вот умирать — они и бросают медь, чтобы весной снова вернуться.

Вот где эта муха! Надо же — ползает. Он ей утром крылья оторвал: любит — не любит? Вышло, что Маргоша его не любит. А еще ползает! Крылья были с прожилками, он бросил их рыбкам, но они и не заметили.

Как бабушка идет из школы, тоже видно будет сейчас. Как она куртку несет и втык от Маргоши: «Я же написала, чтобы пришел отец!» А бабушка: «Вот вам от него записка. Я — старый человек, и нечего на меня кричать!» Листья только на макушке березы остались. Стоит без ничего, а не стыдно: ни ей, ни кому. Как слониха в цирке. Хотя в цирке было немного стыдней. Я тебе, муха, сейчас и лапы оторву. Это лучше всего, когда ты уже душа. Ты тогда уже ничего плохого сделать не можешь. И все тебя любят. Как Ленина. Как Саманту. Как Вику, когда она умирала в халабуде.

— Вот, смотри! — Сережа посадил муху на ладонь. — Ты сейчас никому не нужна. Вот, теперь смотри! — он бросил ее в аквариум, она задергалась, заплавала — и сразу три меченосца бросились к ней с вытянутыми губами. Черный самец как будто бы ее целовал в живот, а отливающий зеленым — в щеки. — Вот как теперь все тебя любят!

Но крупнее их была самка. Она сразу смогла всю муху губами обнять и втянуть. Втянула и дернулась, словно бы поперхнулась, но весь ее раздутый живот все равно сверкал улыбкой.

— Серый! Серый! — это Ширява кричал со двора.

Улиточка же, которая спала на боковой стенке, вдруг высунулась и повела рожком. Потому что что-то случилось и она это поняла.

Сережа забрался на подоконник и высунулся в форточку.

Леха с Вейциком запрыгали на скамейке и затрясли над собой сплетенными руками:

— Друж-ба! Друж-ба! — Как два гамадрила, смешно и нелепо.

И Сережа запрыгал, нельзя было не запрыгать:

— Друж-ба! Друж-ба! — и руками им замахал.

Подогнув задние ножки, у кустов тужилась Казя. Ее бабушка помогала ей сморщившимся лицом. Это тоже была дружба. И Сережа еще громче закричал:

— Я сейчас выйду! Я выйду! Не уходите!

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Разговор о крокодиле, который «наше солнце проглотил!», есть лишь в одном эпизоде рассказа, когда Сережа успокаивает малыша Владика, стоя с ним на балконе, и «прогоняет» с неба облако-крокодила: «Блысь, крокодил!» «Блысь!» - взвизгивал Владик». Как вы думаете, почему Вишневецкая назвала свой рассказ «Брысь, крокодил»?
2. Как соотносятся, по-вашему, позиции повествователя и автора в этом произведении?
3. Чем определяется появление в тексте разнообразных бытовых деталей?

4. Что привлекает внимание М. Вишневецкой в отношениях детей и взрослых?
5. Тема гипноза возникает в самом начале произведения и завершает его, с ней связана кульминация рассказа. Как можно объяснить замысел автора?
6. Почему постоянно «перемешивается» время событий, о которых узнает читатель? Обнаруживается ли связь героев рассказа с конкретным историческим временем?
7. Выскажите свое мнение по поводу размышлений критика А. С. Немзера о прозе М. Вишневецкой. Она «...строит рассказы, как бурный поток мыслей, образов, ассоциаций: точных, едких, остроумных. При первом чтении ее монологов, написанных от лица вымышленных людей, кажется, что писательницу несет как на надутых ветром парусах по волнам памяти, темперамента, предложенных обстоятельствами. Переполненный внутренними событиями текст несется без руля и ветрил к неожиданному, потому что, как правило, — оборванному финалу».

Дополнительные вопросы

1. Прочитайте другие произведения М. Вишневецкой, в том числе книгу «Опыты» (М., 2004), состоящую из семи текстов. Здесь есть «опыт возвращения», «опыт любви» и даже «опыт неучастия», написанный в жанре детектива. Какое впечатление произвело на вас это произведение? О каком из монологов автора и ее героев вам бы хотелось рассказать и почему?
2. В интервью журналу «Итоги» Марина Артуровна сказала, что главное «предназначение человека — услышать другого, различить его душу. А предназначение человека пишущего уж точно в этом». Как вам кажется, удалось ли автору решить намеченную задачу?
3. Среди современных писателей М. Вишневецкой близки Людмила Петрушевская и Асар Эппель, тексты которых она называет безукоризненными: «В них я не могу пропустить ни одного слова. Потому что именно слова, их ритм, их неожиданные столкновения, их вязь и создают для меня неповторимость этих двух писателей. Мне искренне кажется, что всякий хороший писатель должен быть узнаваем на уровне фразы».

Можно ли эти слова отнести к стилю самой М. Вишневецкой?

Андрей Дмитриев (1956)

Дмитриев Андрей Викторович родился 7 мая 1956 года в Ленинграде.

Советский, русский писатель и сценарист. Лауреат премии журнала «Знамя» (1995), лауреат премии «Русский Букер» и «Ясная Поляна»(2012).

В 1977 году окончил филологический факультет МГУ имени Ломоносова, в 1982 году окончил сценарный факультет ВГИКа. В 1983 году дебютировал с рассказом «Штиль» в журнале «Новый мир». С 1983 г. по 1986 г. работал редактором, членом коллегии Центральной сценарной студии Госкино СССР.

Пролетарий Елистратов

...И небо за окном светлеет, и Елистратов устает страдать. Как перед тихой смертью, к нему приходит умиление, и он видит: мать, живая, режет арбуз. Елистратов улыбается, слезно просит невесть кого: «Теперь можно уснуть?», но неведомый спать не велит, а велит вспомнить все, чем до сих пор держалась жизнь. И Елистратов вспоминает, как мать резала арбуз, как она пела, стыдясь своего неверного слуха. Вспоминает ловлю раков в черной воде озера. Отец, мать и какие-то дядьки варили их на костре под звездами. Возвращались под утро, мотоциклы трещали в тающей тьме, нестерпимо хотелось спать. Он бы и уснул в коляске под громко хлопающим брезентом, но дядьки завопили: «Заяц! Заяц! Гляди, заяц!» — огромный заяц метался в электрическом желтом луче. Он рассердился: ну и пусть, что заяц, а я маленький и хочу спать... В надежде заслужить сон Елистратов вспоминает жесткие гривы и упругие крупы лошадей на областной сельхозвыставке, запах яблок в павильоне «Садоводство», таких громадных, такой красивой окраски, что казалось, они не настоящие — их из воска для выставки вылепили, а потом раскрасили кисточкой... Вспоминает стадион. Пытавинский «Данко» принимал псковского «Выдвиженца» и проигрывал, отец пил пиво на прогретой солнцем деревянной трибуне. Подражая отцу, он пил из горлышка «дюшес» и, когда допил, вытер горлышко ладонью... Вспоминает школу, где был сильнее всех, но не злой. Вспоминает, как перешел в десятый и пил с одноклассниками вино по кругу на предзакатном озерном берегу. Татьяна одна не пила, они отошли вдвоем с Татьяной к темной воде и говорили о книжном и непривычном. Пока говорили, под брючину залез муравей, дополз, сука, доверху и укусил смешно сказать куда. Удалось не измениться в лице, Татьяна ничего не заметила — дрожала, будто от холода... Она и потом всегда дрожала, отводила в сторону глаза, всякий раз порывалась выскользнуть, увернуться и убежать, но всегда оставалась. Она всегда была рядом, честно ждала из армии, и глаза у нее, когда дождалась, были такие удивленные, такие глупые, что хотелось уже не просто спать с нею, изматывая ее и себя, но как-нибудь по-доброму вместе уснуть и увидеть, если повезет, один сон на двоих... Потом была свадьба в ресторане «Бриг», родня и гости орали через стол свои слюнявые глупости, и нагревались в пламени люстр загодя замороженные водочные бутылки. Плавился жир в буженине, расползался желтый майонез, слоясь, стелился над скатертью табачный дым, и, перекрывая звон стекла, лязг приборов из нержавеющей стали, чмокание, хохот и пение вразнобой, звучал насмешливый фальцет официанта

Краснопевцева: «Командиры, решайте, горячее нести?» — ему пора уже выйти, посаженному в восемьдесят четвертом за убийство офицеру Краснопевцеву...

Елистратов открывает глаза. Душно. Зудит сопревшая кожа. Жарко похрапывает Татьяна, дети всхлипывают и вскрикивают во сне. Уснуть не суждено. Вставай и начинай жить: двигайся, действуй, говори слова, исполняй команды. Не думай и не прислушивайся к отчаянию, уже убившему сон и готовому убить душу.

...В полночь, когда укладывались, на этаж поднялся вахтер общежития Семенов и позвал Елистратова к телефону. Если бы Семенов позвал его весело и важно, если бы ревниво поторапливал, это означало бы — звонят со службы, но вахтер был презрителен, заспан, он зевал на ходу и скулил: «Чтобы мне в последний раз эти звонки среди ночи, а то милиция, а сами порядку не знаете».

Ясно было, звонил отец.

Он долго кашлял, не решаясь говорить, и в трубке удивительно хорошо было слышно, как там, в Пытавине, на переговорном пункте брякает ведро, хлопает тряпка, шлепает босыми ногами по линолеуму уборщица Соня, потом загудел отдаленный голос телефонистки Казанкиной, сильно искаженный неисправным динамиком: «Новозыбков Брянской, вторая кабина... Новозыбков, вторая... Мурманск не отвечает, не отвечает Мурманск, будете повторять?»... Отец прокашлялся и сразу спросил:

— Ты что-нибудь надумал?

— Я думаю, думаю, — тоскливо сказал Елистратов.

— Ты думай, Гена, думай, а то я больше не могу. Ты думай, я с пониманием приму любое твое решение.

— Потерпи еще... Мне нужно расшевелить полковника Хмолина, да все некогда.

— Кому некогда?

— Хмолину! — обиженно ответил Елистратов. Он под любым предлогом оттягивал встречу с полковником, наверняка унижительную, бесполезную, то есть отцу он лгал, и, оттого что лгал, надо было немедленно возненавидеть хоть кого, лишь бы не себя самого, и он поспешил возненавидеть вахтера Семенова, равнодушного свидетеля его лжи. «Сволочь», — тихо выплюнул он в горящую на кушетке, обвернутую байковым одеялом спину вахтера...

— Я не слышу тебя. Ты что-то сказал? — забеспокоился отец, в трубке пискнуло, ворвался голос Казанкиной: «Заканчивайте, ваше время вышло», — и опять, ее же голос: «Гена, намекни своей Татьяне, пусть посмотрит мне какой-нибудь дезодорант, только хороший», — вновь пискнуло, загудело. Елистратов бросил трубку, еще раз процедил «сволочь» спящему вахтеру и поднялся к себе на десятый этаж, в комнату № 1042, где дети, Петя и Митя, уже успели надыхать до духоты и Татьяна тоже спала. Елистратов улегся рядом с женой, предчувствуя каждым нервом: будет бессонница.

Раньше Елистратов всегда спал крепко и спать любил. Тех, кто страдает бессонницей, не жалел, даже презирал, не признавая в них нездоровья и подозревая распущенность. Но около года назад, в апреле, пришло нехорошее письмо от отца. Там после привычных пытавинских новостей было вот что: завезли поднадзорных, поселили их кого где, у тех, кто согласился взять, «а я к себе никого не пустил: денег мне хватает, а чистоту люблю», — хвастался отец, но тут же сообщал, что они уже наведывались, и не сами по себе, а в компании с Богатовым — «ты ведь помнишь этого Богатова?» — и приходили они пьяные. Намекнули: ты, старый дурень, — отец милиционера, — «они сказали не „милиционер“, а другое слово, но не хочу тебя, дорогой мой Гена, сейчас расстраивать» — мы, дескать, это знаем и помним, у нас еще будет время, чего-чего, сказали они, а времени у нас навалом... «Ты догадываешься, как я им ответил, разъяснил кое-что. Они теперь пять раз подумают, прежде чем сунуться». Елистратов насторожился, вчитавшись в эти слишком бодрые строки. Как отец ни хорохорится, а напуган, и правильно, что напуган, тут лишь полный дурак не испугается. Блатная пришлая шваль снюхалась с пытавинской швалью — с теми, кого он, Елистратов, в свое время не раз тягал за шкуру и многих дотягал-таки до тюрьмы.

Оплошно обиженный сумеет простить. Безнаказанно содеявший зло, бывает, что и раскается, одурев в своей потаенной жизни от страха, одиночества, от тяжбы с самим собой. Но всякий, кого хоть раз, уличив в явной гадости, тягали за шкуру, не прощает никогда: не только тому, кто тягал, но всем, — и от этого неизбывного непростения пьет, опускается либо, напротив, старательно бережет здоровье, но втайне копит яд и желчь, сочиняет, вынашивает и лелеет в себе ритуал расправы, часто подсмотренный в кинокартинах с лихим кровавым сюжетом, подслушанный в слезливых и жестоких песнях уголовной России. Стоит лишь таким непростившим волею случая или казенного дурака свободно собраться кучей в одном месте — они вдруг смеют и, охмелев от долгожданной смелости, принимаются вершить свой суд. Подсудимым избирается неважно кто. Им может стать любой, с кем не слишком опасно связываться, лишенный власти, малозаметный человек, обычно старый, слабый и одинокий... Так учил когда-то начальник пытавинского РОВДа Белоглазов, Елистратов доверчиво усвоил урок, теперь вспомнил его и впервые в жизни пожалел, что не держит димедрола в домашней аптечке.

Чтобы бессонница не повторилась, он успокоил себя привычным «обойдется» и прекрасно спал несколько ночей подряд — до следующего, уже не бодрого письма... Опять приходили, опять пьяные, требовали самогона и денег «в долг», самогон отец не гонит и денег не дал; они угрожали, пришлось идти жаловаться Белоглазову, тот обещал повлиять и, похоже, повлиял. Больше никто не приходил, но двое пытавинских, Богатов и Орлов, встретили на улице и сказали: «Зря ты улыбаешься, недолго тебе улыбаться». Это Богатов сказал. А Орлов добавил: «Весь в сынка пошел, ну прямо вылитый сынок»...

В третьем письме отец был прям: «Горько мне будет расстаться с Пытавино, горько оставлять дом неизвестно каким чужим людям, но нет теперь у меня другого пути, как только к тебе. Татьяна, я верю, меня поймет. Главное, все сделать как можно быстрее. Я не знаю, что ждет меня завтра, даже не знаю, что ждет меня сегодня вечером, так что ты решай, как сделать быстрее и лучше для всех. И вот что мне особенно обидно, но ты не

обижайся. Ты, Гена, в далекой столице охраняешь общественный порядок, а я здесь оказался совсем без защиты. И получается, что из-за тебя, потому что ты служишь в милиции, жизнь моя становится невыносимой и опасной. Ты, я повторяю, не обижайся и не подумай, что я тебя упрекаю. Я всегда гордился тобой, и все тебя здесь абсолютно уважают...»

Елистратов показал письмо жене.

— Он у тебя что, ку-ку? — неожиданно зло сказала Татьяна. — Мы, кажется, задыхаемся. Мите, кажется, с осени в школу, а у Пети колиты, я еле вытянула. Да и кто его сюда пропишет, скажи на милость?

— Никто, — вздохнул Елистратов.

— Дадут квартиру, тогда поглядим, — примирительно сказала Татьяна.

— Когда еще дадут...

— Когда ты пойдешь и возьмешь их за горло... Я даже рада, что так вышло. Ключнул тебя петушок, теперь забегаешь.

Елистратов не забегал. После рождения Пети он и так подал два рапорта, третий был бы наглостью. Но на выходные он отправился в Пытавино, чтобы разобраться во всем самому и кого надо поставить на место.

Оказалось, приехал на Пасху. Городок был залит солнцем и водой. В лужах плавали изломанные пучки вербы, и Елистратову, шагавшему по лужам со станции, пришла на ум баня. Потянуло в дымный сумрак пытавинских бань, еще в начале века поставленных купцом Зельцем на озерном берегу. Захотелось направиться напрямиком в Зельцевы, выпарить усталость, неуверенность и тревогу, а там, пока лупишь себя веником по утомленным бессонной дорогой мослам, все, глядишь, и образуется. Придешь к отцу вымытый, веселый, и отец повинится: зря ты, Гена, волновался, прости, что я тебя задержал, но нету больше никаких беспокойств — всех этих гавриков сегодня вымели из Пытавина решительной метлой...

Отец рассердился, увидев его:

— ...Не желаешь видеть меня в Москве, а самому стыдно. Зато будешь потом говорить: съездил к отцу, вытер старые сопли... Кто тебе их вытрет, когда меня зарежут или дом спалят? Татьяна утешит, это понятно... Она тебя послала? Или сам?

— Не заводись, — как мог спокойно, сказал Елистратов. — Я знаю, зачем я здесь. И знаю, что мне делать.

— Врешь, не знаешь, — победно рассмеялся отец. — Приехал, отдыхай. Потом — на кладбище, я пока на базар сбегая, за цветами. В баню ходим, с дороги надо. Посидим, праздник... А там делай что хочешь, только не сделай как хуже.

— Веники, как и были, за двугривенный?

— Полтинник... И дрянь веники, скажу я тебе.

Дом, лишенный былого уюта, не утратил напоминаний о нем. Разводы на потолке, потеки на обоях, ретушь фотографий, громкий стук огромного ржавого будильника, ровный зябкий сквозняк, колеблющий марлю в форточке, — приметы родного жилья по-прежнему примиряли с жизнью, и, вобрав их в себя одним быстрым рассеянным взглядом, одним глубоким вдохом, Елистратов опустил на высокую кровать и уснул мгновенно, едва коснулась голова тугой подушки, пахнувшей лекарствами и дешевым одеколоном... Сон был — смутивший душу, без картинок, красок, штрихов и промельков, сплошная тьма, и в ней жили звуки, гулкие, как капель в подворотне: незнакомые голоса, и смех, и плач, и терпеливое тихое увещание, и ленивое тягучее пение хором, и тяжелый строевой шаг, и хохот, и лепет утешения, и до того непривычен был темный сон, что он испугался во сне, не ослеп ли. Рвался неведомо с кем объяснить, растолковать, что наказан по ошибке, это не его, другого приговорили быть слепым, но никого вслепую не нашел, ни до кого не дотолкался, растерялся, закричал, и ударил свет в глаза — отец тряс за плечо, говорил:

— Чего орешь? Вставай, я достал гладиолусы.

Они шли в нешумной медленной толпе на Сеницынское, самое молодое в округе кладбище, где матери Елистратова суждено было лечь в числе первых. Когда она умерла от обычной быстрой болезни, Елистратов отбывал священную повинность в мотострелковых и, насилу добравшись домой из заполярного далека, опоздал на похороны. Зато пришла хоронить Татьяна, еще не жена, для отца и вовсе никто, — помогала, утешала, когда нужно, плакала, будто знала, что Елистратов сумеет оценить это навсегда. В минуты семейного разлада и раздражения он легко смирял себя воспоминанием о том, как вошел в дом, услышав храп отца, запахи водки, табачного перегара, перестоявшего салата и бумажных цветов, увидел Татьяну, ловко и совсем не громко убирающую грязную посуду с поминального стола...

Толпа с авоськами, газетными кулками, бидонами и уже ополовиненными бутылками растеклась по замусоренным красно-белой скорлупой дорожкам, разбрелась по могилам. Елистратовы постояли насупленно возле холма с крестом из арматуры, не зная, чем занять руки. Тем же ненужным жестом, каким армейское и милицейское начальство Елистратова всегда поправляло перед строем складки переходящих и прочих знамен, он поправил прошлогодние стебли травы в изножье материнской могилы. Отец одобрительно прокашлялся. Опустил цветы на желтый, едва оттаявший дерн и грузно зашагал прочь, что-то стыдливо насвистывая.

А потом — после нехитрых сборов, после долгой очереди на ветру, после привыканий к босой ходьбе по скользкому цементу, к непрестанному гулу шаек и голосов — Елистратов увидел, как из сумеречных клубов пара выплыло лицо. Подслеповато глянуло, улыбнулось отцу и, перемогая оголтелое, барабанное шмяканье дюжины веников, звучно поздравило:

— С праздничком вас!.. Я говорю: и Христос воскрес, и с благополучным прибытием сынка!

— Спасибо, Арсирий, — тускло отозвался отец. Бросил веник в угол, сказал: — Плохой сегодня пар, мокрый, тяжело... — и, пошатываясь, выбрался из парилки на холодок.

— Пар паршивый, — согласилось лицо. — Но и такой веселит... Что, если попрошу я тебя, молодой человек, слегка постучать меня по лопаточкам?

Елистратов обрадовался, принялся не мешкая щеголять давним своим умением, и расстарался, и быстро дождался похвалы — изумленного стона и уханья:

— Ух ты! У, как! Как же это у тебя получается!

— Обыкновенно! — посмеивался Елистратов. — Обыкновенно получается!

— У-у, нет! Умело получается!

— Да это я так! Это слегка! — покрикивал довольный, раззадоренный лестью Елистратов. Он еще разок — хлестко и дробно, с отяжкой да мягким прищелепом — прошелся по красно-белой веснушчатой спине и услышал наконец:

— Будет, будет, спасибо тебе... так и помереть недолго...

— А не за что! — Елистратов горделиво и шумно сдул капли пота с усов и бросил веник под полки.

Отца баня сломила. Он жалобно жмурился, осторожно дышал и еле перебирал ватными ногами, когда Елистратов с Арсирием вели его к дому; покорно помалкивал и подремывал в креслице, пока они в доме хозяйничали: Елистратов потрошил холодильник и орудовал консервным ножом, Арсирий собирал на стол и неумолчно болтал в манере массовика-затейника:

— ...Килечку мы — сюда, а водочку — ее мы сюда, а хлебушек мы в середку: пусть у нас не густо, но ведь и не пусто, и на что нам жирно — нам бы живо, чтоб чуток парку, жбан кваску, склянку водочки да молодочку, закуток у печки да тарелку гречки... Складно ли я говорю?

Елистратов вежливо закивал в ответ.

— Или, скажешь, нет справедливости в моих словах?

— Разве я с тобой спорю?

— Вот и не спорь, москаль; да и не можешь ты с нами спорить. Я в Москве бывал — и больше никогда, не хочу, хоть зарежь, не хочу! Помолчим о присутствующих, но люди там козлы, им лишь бы успеть друг у дружки нахапать, им бы — хап-хап-хап, пока не сдохли, это у них прямо на мордах написано... А мы здесь живем смиренно, жрем не жадно, и себя жалуем, и ближнего жалеем.

— Это кто же? Это ты кого жалеешь? — неожиданно подал голос отец.

— А как же! И я жалею, всегда жалею, как велит нам райсовет и святая русская церковь, — радостно отозвался Арсирий. — Ты, чем ныть, шел бы к столу, дорогой хозяин.

Отец, кряхтя, перенес себя из креслица на табуретку и, когда выпили по чуть-чуть и обсосали по первой килечке, насмешливо бросил Арсирию:

— Ты же в церковь не ходишь!

— Не хожу, — мигом согласился Арсирий. — Я захаживаю. Я так решил: лень не лень, охота не охота, верую не верую, а захаживать надо, потому что чем черт не шутит — может, Бог мне маленько грехов и отмажет.

— Жаль, что нету его, этого Бога, — сказал отец, себе одному наливая и в одиночку проглатывая стопку водки. — Он бы тебе живо башку отвертел.

Арсирий помолчал, не дыша и не моргая, потом быстро захлопал прозрачными сухими веками, поднялся с табуретки — кадык его задрожал, заходил ходуном:

— Все... Вот теперь — все, извинения не принимаются, рукописи не возвращаются и обжалованию не подлежит! Сынок-москаль свидетель — я с тобой по-человечески... И хватит, разбилась чаша моего терпения, на тысячу махоньких осколочков рассыпалась, а чтоб их собрать да склеить — я слишком горд и стар... Спасибо этому дому, прощай и ты, молодой человек, но чтобы мне потом — не скулить, слез не лить и на судьбу не жаловаться!

Арсирий ушел. Елистратов на отца не глядел. Выпил одну за другой две стопки водки, потом, подумав, еще две, съел блюдечко килек и, наконец, решил высказаться:

— Мы его за стол не звали, навязался, но если не выгнали, значит, гость — или не так? Зачем было спускать на него всех собак?

— Ты у меня вовсе глуп или прикидываешься? — со злобой отозвался отец. — Ты вообще зачем приехал? Я не понимаю, ты приехал с Арсирием водку пить или чтобы призвать его к порядку?

— Не понял.

— Все ты понял, не дури, — устало и как бы нехотя сказал отец. — Если меня в конце концов удавят или, лучше того, подколют, знай — это он команду дал, Арсирий, которому ты жопку парил.

...Гудят краны, трубят бачки, в 1044-м у Косых скулит младенец, над головой, у Кондаковых или у Новиковых, хрипит и заходится гитарной бранью магнитофон, — пора будить Татьяну, и пока она стонет в духоте, позевывает да потягивается, пока тормозит детей, можно без особой спешки выбрить щеки, обдать лицо ледяной водой, потом долго драить крепкие, хотя и пожелтевшие зубы, силясь выскрести и выплюнуть без остатка вкус желчи, скопившейся за ночь во рту, вкус унижения, растревоженного воспоминанием о том, как встретили его, Елистратова, в прокопченном доме на пытавинской южной окраине Арсирий и двое местных гавриков, Орлов и Богатов.

Встретили спокойно и дружелюбно, будто ждали. Массовика-затейника Арсирий больше не ломал, был трезв, говорил коротко, прореживая медленные фразы властными многозначительными паузами. Понадеялся, что разговор пойдет доверительный, человеческий и завершится к обоюдному удовольствию и успокоению... Пожаловался на отца: оскорбляет при каждой встрече, говорит хамские слова, катает кляузы в РОВД, а кляузы те — вранье; так и чешутся кулаки иной раз, да связаны руки, — какая охота наживать себе неприятности и вконец ломать себе и без того поломанную жизнь?.. Слова убаюкивали, и тон был ласков, но в этой ласковости Елистратову слышалась издевка, а смех Орлова и Богатова, слишком громкий, частый, слишком неуместный, ее и вовсе не таил.

— Серьезная просьба к тебе, — говорил Арсирий, вызывая очередной взрыв смеха. — Ты как-то его урезонь, а то и впрямь выйдет худо... Тебе обратно в Москву возвращаться, а у мальчишек моих вконец истрепались нервы.

Елистратов сказал:

— Имя у тебя какое-то сирийское, не наше.

Орлов и Богатов напряглись. Осадив их взглядом, Арсирий кротко ответил:

— Это не имя — фамилия. Самая наша, украинская фамилия... А значит, думай и делай вывод: характер мой хохлацкий, певучий и жалостный, я ко всякому как к родному, но сердить меня нельзя. Не люблю, когда меня злят. Я просто зверем делаюсь, это все-таки нужно заранее понимать...

— Как по-украински будет «поберегись»? — спросил Елистратов.

— Где ж мне знать, — спокойно ответил Арсирий. — Я языков никаких не знаю. Я сирота.

На том и увял полуночный разговор на пытавинской южной окраине, длить и усугублять его не имело смысла, а наутро начальник родного РОВДа Белоглазов как бы даже с сожалением сказал, что никаких действий в отношении отца поднадзорные не совершали...

— Пока! Пока не совершали! — повысил голос Елистратов.

— Может быть! — рассердился Белоглазов. — Может, ему и угрожали... А кто свидетель? Кто покажет, где настоящая была угроза, а где просто такая манера разговаривать? У них у всех, сволочей, препоганая манера разговаривать, мы уж и сами так разговариваем — с кем поведешься!.. Зато на работе, в траншеях корячатся — ты бы видел! — скоро весь район перепашут траншеями; подрядчики балдеют, Корнеев из «Бурводстроя» мне говорит: им бы, козлам, по совести, полную волю дать, а сам, слышишь, смеется — кто тогда работать будет, кто траншеи рыть будет?.. То есть будь хорошим сыном, Гена, заberi лучше отца в Москву, если сильно волнуешься. — Белоглазов сконфузился, потускнел и уныло повторил: — Да, ты лучше заberi его. И всем нам будет спокойнее.

Провожая Елистратова, отец заспанно молчал, все поглядывал на медленные вокзальные часы, а когда, наконец, время подошло — шлепнул, поторапливая, сына по задку да еще ухмыльнулся на прощание и после в изнурительных письмах, в монотонных телефонных причитаниях только и делал, что напоминал и разъяснял свой тогдашний шлепок, свою победную горькую ухмылку: «Я просто потешаюсь, Геннадий, над твоей наивностью. Неужели ты все еще надеешься что-нибудь наладить в моей жизни, не меняя ее решительно? Или ты все еще рассчитываешь напугать кого и поставить на место? Думаю, ты сполна убедился в своем бессилии, вот и не обманывай себя, вот и думай теперь, как поскорее забрать меня в Москву, я согласен спать и на коврик».

— И раскладушку ему поставить негде, и даже, извини, коврика для него у нас нет, — заученно напоминает Татьяна, подавая на стол глазунью.

Пока Татьяна несла ее из кухни по длинному коридору, пока здоровалась с соседками, пока смотрела возле лифта в большое настенное зеркало, яичница остыла и затвердела. Елистратов царапает вилкой резиновый желток и покорно молчит. Ему было бы много легче, если б Татьяна была не права, если б она была стерва, но Татьяна права, и выход не в том, чтобы сокрушить ее упрямство, — выход нужно искать самому, искать неизвестно где, а пока выход один: двигаться, действовать, утомлять мышцы, бороться с недосыпом, то есть не думать, и Елистратов спешит уйти, пока не проснулись дети: они не должны видеть его лицо...

Поскрипывая голенищами, похрустывая ледком, накипевшим за ночь на асфальте, Елистратов направляется к автобусной остановке. Кварталы молодого микрорайона, в ясные дни белоснежно-голубые, парящие над серебряными искусственными прудами, в это серое мартовское утро тяжелы, грязноваты, бесцветны. Хорошо бы так всегда, — это было бы справедливо, это было бы без обмана, язвительно думает Елистратов... Когда-то он думал иначе и не раз утешал Татьяну: пусть общежитие, пусть душно спать, пусть то и дело стынет яичница на долгом пути от плиты к столу — но зато какая голубизна, какой простор, какой воздух! Ветер по микрорайону гулял вольно и нагло, воздух и впрямь был исключительный, однако, стоило ветру улечься или пойти побродить по другим окраинам бескрайнего города, воздух не то чтобы портился, но менялся: он не то чтоб дурно, но непонятно пах. Казалось, это был запах стройки, каких-нибудь доселе неизвестных передовых технологий в области смесей, взвесей и растворов...

Однажды участковый Ринат попросил Елистратова помочь ему выгнать детей из подвалов и бойлерных ближних домов. Елистратов помог, но, убедившись, что дети в подвалах не безобразничают, засомневался, стоило ли вообще их трогать...

— Дураки они совсем, бараны недоделанные, — гортанно и грустно пропел Ринат Елистратову, взмокшему в обморочной подземной духоте. — Я им говорил, родители им говорили: газ! А они упрямые. Все дети упрямые. Все дети любят подвалы. Если гнать не будем — обязательно выносить будем.

Никогда прежде, если верить Ринату, не селились люди в этой окраинной местности. Была здесь обширная низина, вернее сказать, впадина, куда, подобно остывающей магме,

десятилетиями стекалось и сползалось содержимое московской канализации. Оно проседало под собственной тяжестью, трамбовалось годами и, наконец, образовало так называемое «нижнее поле»; его прогасили известью, присыпали землей; затем на нижнее поле стало надвигаться «верхнее», — оно поднималось стремительно и бурно, ибо как никогда стремительно и бурно росла в эти годы Москва, и поднималось до тех пор, пока не достигло предельно допустимой отметки высоты над уровнем моря... Теперь уже верхнее поле прогасили известью, засыпали толстым слоем земли, потом утоптали ее и разгладили, потом возвели на ней все это бело-голубое великолепие, все эти дома и пруды, детские сады, кинотеатры и универсамы... Пока здесь, наверху, обживались да радовались — там, внизу, шевелилась и продолжает шевелиться своя неживая жизнь: нарождаются неведомые соединения, быть может невиданные в химической истории Земли, сталкиваются и совокупаются их молекулы, и сочится сквозь плотно застроенную поверхность бесцветный и невесомый, странно пахнущий газ. Тихой сапой заполняет подвалы, при полном безветрии хозяйски осваивается в невысоком воздухе дворов и улиц...

— Боюсь, ты прав, трогать их бесполезно, и стараюсь я зря, — сказал Ринат. — Гоняй эту шантрапу из подвалов, не гоняй — здоровья у них не прибавится. Этот несвежий воздух всех нас полегонечку скушает изнутри. Ты на каком этаже, на десятом? Тебе немножко повезло...

— Что с тобой сделать, если ты все это загнул? — с надеждой спросил Елистратов.

— Полагаешь? — удивился Ринат. — А ты попробуй найди у нас хотя бы одно живое дерево.

Мягко качающийся на ровном ходу переполненный жаркий автобус... Говор толпы и свист проводов на заплыванной узкой платформе... Продутый вагон кольцевой электрички: из тамбура тянет табаком и стылым железом; за окном движется, не меняясь, тесный городской пейзаж; в голове закипает и крепнет отдельный от колесного грома посторонний ласковый гул, голова клонится, наливаясь свинцовой пустотой... Внезапный крик встречного поезда вышибает сон из головы и столь же внезапно смолкает. Неведомый и неслышимый Елистратову, несется встречный к окружной и дальше, прочь от Москвы... Хорошо бы оказаться во встречном и увидеть за окном не бурый кирпич да бетон, не одно только лежащее, торчащее и едущее злое железо, но и кустики, заборчики, флюгера и наличники дач, — увидеть сырые, едва освободившиеся от снега поля, кроны сосен, столбы и быстрые облака над ними, хорошо незаметно задремать, силясь удержать и проследить во сне этот упрямый, уверенный вал облаков, хорошо проснуться отдохнувшим и свежим посреди совсем отдаленных пространств, — сойти на первой же станции и по тяжелому, набухшему льдом, навозом и соляжкой грунту добрести до любой, какая лучше покажется, деревни... Деревня — не Пытавино с пытавинской публикой, деревня — это одни лишь старики и старухи: им без Елистратова никак нельзя, им без него страшно, особенно по вечерам, копать в своих картошках, им от пришлых хулиганов и от собственных бестолковых распрей непременно нужен не общепринятый участковый, приезжающий раз в неделю на вонючем мотоцикле за самогонкой, а во всем свой, сильный, зоркий, понимающий совесть и совершенно свободный, то есть только ради них и отчасти ради себя свободно живущий человек... К нему в любое время дня и

ночи — пожалуйста: и за неторопливым житейским советом, и просто душу отвести, и деда запившего образумить, и внуку-раздолбаю преподать суровое дружеское наставление... И вот шагает он, Елистратов, в пронзительно синей шинели вдоль скамеечек да калиточек, палисадников да завалинок — вроде бы и отдыхает, но все подмечает, всюду хозяйски заглядывает, у всех о течении жизни выспрашивает; ему даже необязательно самому в огороде корячиться, потому что каждый ему из простой человеческой благодарности поднесет чего-нибудь витаминного на прокорм... Потом повсюду слух пойдет: в некоторой деревне вольный милиционер поселился — на службу не ходит, зарплаты не имеет, просто так живет, но вот что удивительно: во всей округе, если не по всей России, у него одного чистота и порядок — ни чепе, ни пожара, ни, тем более, грубого криминала... Хотели его местным председателем сделать, да он отказался: на хрена ему маета с бумажками, у него порядок не на бумажках держится, а на людском к нему, Елистратову, уважении, на народном почитании... Пусть дети с Татьяной приезжают, пусть своими глазами увидят это к нему уважение, пусть оно им в душу проникнет и сделает на всю жизнь гордую радость душе... Пусть и отец приезжает — вот кто любит горбатиться в огороде, вот кто скажет ему, наконец, свое родительское спасибо... Елистратов вспоминает капризный голос отца, и хрупкий, пестренький, из нервов сотканый пейзаж мигом блекнет, деревья на нем становятся бесцветными, очертания домов — размытыми, глаза старух глупеют. «Еще неизвестно, есть ли там речка, есть ли там поблизости лес, — придиричиво рассуждает сам с собой Елистратов. — Ведь если лес далеко, то как быть со стройматериалами?.. Хотя, конечно, и лес, и речка, и доски, и старухи — все это, в принципе, может быть, но это в принципе. А в жизни — неизвестно еще каким боком выйдет»... Исчерпав мысль и заскучав на ней, Елистратов всю оставшуюся дорогу в глубь Москвы старается не думать ни о чем — даже о службе.

В вокзальной толчее Елистратов встречает Степу Швеца. К месту сбора они идут вдвоем. Степа Швец тоже невыспан, взвинчен и, кроме того, болтлив:

— Как тебе, Гена, вообще, вся эта арифметика? Какие-то тридцать засранцев испугались, что им плюнут в рожу, — и выписывают себе на подмогу полсотни тыщ одной кирзы и еще нас с тобой в придачу!.. В результате наш народ — то есть ты, я и лучшая его часть, которая в кирзе, — должен мерзнуть весь день с бодуна...

— Кто же, Степа, виноват, что ты опять с бодуна? — вяло перебивает Елистратов...

Милиционеры, толпящиеся в длинном дворе, сосредоточенно и жадно накуриваются впрок. Поосмотревшись, Елистратов замечает Консевича из своего отделения, вернее — его голую лысину, нежно розовеющую среди тусклых сизых ушанок.

— Ко мне, ко мне, Елистратов! — живо машет шапкой Консевич. — Будет нас двое некурящих, будем друг на друга дышать... Это же не милиция — экологические бандиты!

— Ладно тебе, — примирительно оглядываясь, замечает Елистратов. — Пусть люди курят, если им это в радость.

— Когда в людях нет полезного убеждения, когда нету в них стержня — тогда им любая гадость в радость, — холодно говорит Консевич, опустив ресницы, после чего спешит отделаться от Елистратова. — Тебя Мелентьев спрашивал: ты потолкайся, он где-то рядом.

Мелентьев сам выныривает из-за спин и, не здороваясь, спрашивает:

— Хмолину — сколько рапортов подавал?

— Подавал, — Елистратов виновато отводит глаза.

— Я спросил, сколько?

— Два рапорта, товарищ майор.

— Я к тому, что Хмолин должен быть... Ты подкатись к нему, не упусти, но — сам, сам, Елистратов! Без меня!

— Спасибо вам, товарищ майор... — Елистратов поднимает благодарные, мгновенно повлажневшие глаза, но Мелентьева уже нет перед глазами, и Консевича не видно, даже болтливый Степа Швец давно исчез куда-то: кругом сплошь полужнакомые и вовсе незнакомые, стянутые скукой и холодом лица.

Пестрым мусором, что дрожит, исчезает и выпрыгивает вновь на серой озерной ряби, маячат перед воспаленными глазами Елистратова белые зрачки, сизые шапки, розовые хрящи ушей, сигареты в мокрых губах. Время идет, шинелей прибывает, густеет холодный воздух, отягченный запахами одеколона, сукна, табака и кожи, чем-то приторно-кислым тянет из опрокинутого в глубине двора мусорного бака. Испугавшись обморока, Елистратов протискивается наружу: работает локтями, таранит грудью, плечом и, наконец, вырывается на малый простор, на вольный воздух — к подворотне, в просвете которой брезжит и дрожит от дальнего гула пустынный асфальт улицы. Гул близится. Очувтившись на широком тротуаре, Елистратов с зябким любопытством поглядывает туда, откуда доносится гул, и, пока тяжелые машины не показали из-за горба мостовой, слушает цокающие шаги патруля, механически отмечая про себя, что один из патрульных потерял набойку с левого каблука... Стремительно выплывает рыло крытого грузовика — и вот они идут один за другим неумолимым конвейером: гудят моторы, хлопают на ветру армейский брезент, люди в хаки с сонным равнодушием выглядывают из-под брезента, и Елистратов завидует им, греющим друг друга плечами, лишенным возможности жаловаться на судьбу, избавленным от необходимости угадывать ее и спорить с нею... Колонна прошла. Поднимается сильный ветер, рвет в лоскуты ядовитый дым выхлопов. Шаги патруля гулко цокают в отдалении... На перекресток выскакивает приземистый короткий автобус, лихо поворачивает, мчит по середине мостовой, вновь поворачивает и, едва не задев Елистратова, ловко въезжает в подворотню. Слышно, как вскрикивают тормоза, и наступает тишина.

...Окна автобуса зашторены. Треск радиостанции доносится из-за штор. Поправив ремень, Елистратов направляется к автобусу. Протискивается в полуоткрытую дверь. Подумав, снимает шапку и произносит:

— Разрешите, товарищ полковник?

— Плохо спал, сержант?

— Бессонница. — Елистратов тщетно пытается разглядеть в полумраке лицо полковника Хмолина, забившегося в угол салона.

Хмолин молчит, размышляя или же уснув. Трещит радиостанция. Радист горбит спину и бормочет: «Понял... понял, девятый, понял... Понял, понял, шестой, не орите так...»

— Бессонница — это очень хорошо, — очнувшись, подает голос Хмолин. — Не спим, переживаем, значит, не совсем еще освинячились. В наше с тобой время, сержант, спокойно спят только воры и подлецы... — Хмолин со стоном подавляет зевок и смущенно смеивается. — Да, не высыпаемся... Но откладывать не будем, разберемся не спеша. У меня, например, вопрос: почему бы ему не перебраться в любой другой город или, чтоб еще проще, в какой-нибудь соседний район?

— Я предлагал. А он говорит: везде сейчас одно и то же. Всюду Пытавино.

— Он прав, — соглашается Хмолин. — Но ведь и в Москве то же самое, мы с тобой это знаем... Вот и объяснил бы ему: так, мол, и так, Москва — это Пытавино, лучше и не соваться.

— Ну объясню, — смелеет Елистратов. — А что толку?..

И опять Хмолин долго молчит — спит или думает в своем полумраке... Наконец неуверенно спрашивает:

— А если, как некоторые, продать дом и купить кооператив? Ты уже встал на кооператив?

— Ну встану, — отмахивается Елистратов. — А где отцу жить, пока стою? Я же вам объяснял...

— Да помню я, помню, — с досадой перебивает Хмолин, охает, стонет в голос, затем голос его срывается, звенит жалобно и заносчиво: — Вот и скажи мне теперь, сержант, как жить дальше? Что мне делать? На что мне надеяться, если даже лучшим кадрам я не могу создать элементарных человеческих условий? Нет, ты не подумай, я не о каких-нибудь привилегиях, кайфах и разносолах, повторяю — я об элементарных, то есть не свинских, то есть человеческих условиях! У всех у нас — семеро по лавкам, у всех отец в Пытавине из ума выживает — и что? И ничего, связаны мои ручки, а ведь чин у меня не хилый... Не хилый, сержант?

— Не хилый чин, товарищ полковник.

— Вот именно! И я знаю, я на своем месте просто обязан знать и видеть, — я уже ясно вижу, что будет. Бегство будет, повальный исход милиции из Москвы... Мы уже помним с тобой, как солдаты первой мировой уходили с фронта полками и дивизиями, потому что им надоело. Надоело гнить в сырых окопах — без условий, безо всего, без ничего...

— Вас! — зовет радист через плечо, и Хмолин, решительно бросив свое тело через салон, отодвинув Елистратова и отгеснив радиста, располагается у радиостанции.

— ...Понял, второй. Выполняю... Обидно, Вацлав... Нет, я понял, но обидно. — Вернув радисту наушники, Хмолин молчит, цедит «суку», потом спрашивает: — Скажи, сержант, читал ли ты роман Толстого «Война и мир»?

Елистратов зажмуривает глаза, подыскивая подходящие слова для ответа; лицо артиста Бондарчука близоруко щурится перед глазами, губы артиста кругло вытягиваются, мурлычут «я вас люблю»...

— Я читал, — небрежно бросает радист.

— Кто читал, тот помнит. Во время Бородинской битвы полк князя Болконского в бой не ввели, заставили киснуть в резерве. Люди его в битве не участвовали, но массами гибли от ядер... Следовательно, мои будутдохнуть от скуки — нас тоже оставляют про запас. А жаль... Жаль, сержант, что лишили тебя хорошей возможности все сказать этим крикунам. А то они вздумали плюнуть на указ, лишь бы плюнуть тебе, сержант, в морду. Ты, я думаю, смог бы им доходчиво разъяснить. И про свою жизнь, и про их поведение.

— Что же мне теперь делать?

— Отдыхать. Трудно тебе, ты не спал — спи прямо здесь. Я приказываю. — Хмолин открывает дверь и, согнувшись, шагает навстречу упругому, холодному воздуху, хлынувшему в салон.

— Но как же!.. — растерянно кричит ему в спину Елистратов.

Хмолин оборачивается.

— Ты мне сколько рапортов подавал?

— Два.

— Подай еще. Подай двадцать два. А когда устанешь — жалобу напиши. Накатай на меня хорошую телегу.

— Не понял...

— Сумеешь заварить скандал, вонючую кашу — может, тебе и повезет... Рискни, сержант.

Дверь захлопывается. Устал я, думает Елистратов, забирается в угол и припадает щекой к сиденью, хорошо прогретому полковником Хмолиным... Трещит радиостанция, сон Елистратова до краев наполнен ее треском, и не снится ему ничего, кроме страха, кроме покорного ожидания неведомого голоса: неотвратимый и грозный, он вылуцится из треска, велит треску смолкнуть и произнесет: «Спать не смей».

... — Гена, подъем! Повезло нам с тобой, подъем, пока Мелентьев не передумал! — Степа Швец тормозит, торопит, и не напрасно: это и впрямь везение — катить в «уазике», бесповоротно отдаляясь от фургонов, цистерн и шеренг, от скоплений и оцеплений, от

бронежилетов, касок и кирзы, от родных синих шинелей, стынувших и тоскующих на перекрестках и площадях, в глухих переулках и сквозных дворах под присмотром взвинченных, молчаливых, от холода припрыгивающих начальников.

— Останови! — кричит водителю Степа Швец и, когда тот вырывается к тротуару, открывает дверцу и выскакивает наружу.

Мокрый снег разбивается о стекла «уазика», рвется внутрь. Ветер, вздымаясь, подгоняет людей: парами, кучками и большими компаниями, с детьми, термосами и листами ватмана, свернутыми в трубки, они тянутся в одну сторону — к центру Москвы, настороженно поглядывая на желтую милицейскую машину и невольно ускоряя шаги...

— Девоньки! — страдальчески взывает Степа Швец. — Одну сигареточку классовому врагу!

— Как зовут классового врага? — отзывается женщина в пестрой куртке и розовой лыжной шапке, смеясь и морща красный от холода нос.

— Допустим, Степаном.

— Врагу — не знаю, а Степану найдем, — голос ее дрожит, вибрирует и потом долго еще звенит, протяжный, в ушах Елистратова...

Степа Швец, грустно поглядывая в зарешеченное окно, курит сладковатую дорогую сигарету, затем приоткрывает дверцу на полном ходу и с сожалением выбрасывает окурок...

— Нет, ты видел, какая баба? — говорит он Елистратову. — Я вообще от зеленых глаз косею. Для меня зеленые глаза — это смерть.

— Карие, — мягко поправляет Елистратов, осторожно и ласково перебирая в памяти черты женщины, чей голос уже нечетко, как бы дальним эхом, но все еще звенит в ушах: лицо у нее бледное, чуть вытянутое, под подбородком родинка, нос капризно сморщен, и оттого трудно предположить, какова его форма, высоко посаженные скулы остры... — Глаза карие, — уверенно повторяет Елистратов.

— Ты где был? В машине! — заводится Степа Швец. — А я в упор смотрел, — зеленые! Страшное оружие... Если у них там у всех зеленые глаза — тогда хана, надо звать на подмогу Кантемировскую... В любом случае, Гена, из всего этого выйдет один смех, и смеяться будут над нами. Мы с тобой, конечно, уже ни при чем, но выйдет один смех...

— Карие, — ревниво упрямится Елистратов.

Степа Швец угрюмо молчит и мстит вопросом:

— Как Хмолин? Дал миру шанс?

Поначалу увлеченно, затем сбивчиво и растерянно пересказывает Елистратов разговор с полковником, пытаясь в собственном пересказе обнаружить благоприятный исход этого

разговора, и не Степу Швеца, а себя самого убедить в благоприятном исходе, но Степа Швец не дает благополучно закончить и перебивает:

— Ну ясно, не сразу отшил, сперва приласкал... Скажи спасибо, дал выспаться.

— Зато ты не дал мне выспаться! — озлобленно отвечает Елистратов.

Молча ищет слова оправдания Хмолина, как если оправдать полковника означало бы продлить надежду, но надежды нет, и, вдруг полностью поняв, что надеяться больше не имеет смысла, Елистратов уже и не хочет никакой надежды, никаких разговоров, вздохов, не хочет видеть сочувственную физиономию Степы Швеца, не хочет ехать с ним черт знает куда и часами слоняться черт знает где, не хочет возвращаться домой — ничего не хочет, даже высказать все это вслух, лишь произносит:

— Иди ты в жопу.

— Еще бы! — соглашается Степа Швец.

В огромном парке тихо. Наскучив рыскать по мокрым аллеям, ветер поднялся к верхушкам лип, тополей и берез и тихо гудит наверху. Снег не падает... Елистратов слышал об этом парке, вытянувшемся вдоль берега Москвы-реки, но никогда раньше в нем не бывал. Он вслух сетует на то, как много осталось в Москве знаменитых мест, где он, москвич с пятилетним стажем, не бывал никогда... Автобус, электричка, метро, отделение, отрезок улицы Чернышевского с прилегающими к ней переулками и дворами, ограниченный тремя пивными и прозванный «бермудским треугольником», — это все, и это все пять лет изо дня в день, кроме выходных, когда Татьяна азартно гоняет его по магазинам, прачечным и химчисткам. Правда, однажды он повел детей в зоопарк; дети быстро заныли, потому что было холодно, плохо пахло и звери не хотели показываться — спали в темной глубине клеток, зато потом была длинная пешая прогулка до самой улицы Арбат, где, даже не спрашивая детей, он решительно встал в очередь за американским мороженым «Робинс», а когда выстоял — стал еще более решительным: купил разноцветных шариков на восемьдесят четыре рубля, дети были до того счастливы, что Татьяна, узнав о неслыханной трате, ни капли не ругала — осторожно съела два шарика, миндальный и фисташковый, потом не один раз с удовольствием вспоминала их вкус...

— Мне тридцать пять лет, — с горечью говорит Елистратов. — Я скоро буду лысым, как Консевич.

— Ты на что рассчитывал? — кривится Степа Швец. — Ты думал, годик пройдет, другой пролетит — напялишь китель со звездочками на погонах, хряпнешь коньячку и пойдешь глядеть танец маленьких лебедей?

— Нет, совсем не думал.

— Врешь... А если не врешь — зачем тебя понесло в Москву?

— Жена, — отвечает Елистратов.

Устыдившись, Степа Швец спешит утешить — жалуется на свою жену Зою. Елистратову эти жалобы неприятны, он ищет утешение в самой прогулке по незнакомым аллеям и тропам, по рыхлому, едва оттаявшему берегу. Тяжко дышит, перемывая гальку, вода, льдины слепо тычутся в береговые камни, желтыми змеями шевелятся лоскуты прошлогодних газет, намертво прилипших к береговым скамейкам, пахнет мерзлым илом, песком, резиной и нефтью, бесшумно движется за рекой автомобильный поток... Пищит рация, незнакомый голос торопит, Елистратов и Степа Швец бегут, придерживая дубинки, к центральной аллее парка...

— Вас, что ли, прислали? — рослый капитан брезгливо морщится, возводит к небу глаза.
— Я же просил, я думал, моих пришлют!.. Сперва оголили Москву, а как спохватились — затыкают дыры абы кем! Вы ж ни хрена не владеете тутошной обстановкой!

— Обстановка везде одинаковая, — зло цедит Елистратов, и Степа Швец спешит загладить его дерзость, улыбается, заверяет:

— Все спокойно, товарищ капитан.

— А ты не расслабляйся, не расслабляйся, — прикрикивает капитан. — И главное — берег! Держите берег и, чуть что, держите связь!.. Жрать захотите — у метропельменная, но тогда сразу по связи: пост оставлен, ушли жрать.

Берег гол, и пуст парк, в эту пору и погоду малопригодный для безобразий... Немолодая пара с озирающимися, навсегда виноватыми лицами прошла в обнимку по аллее. Старуха с грязным холщовым мешком деловито изучила берег в поисках пустой винной посуды. Поджарый мужик в трусах, хрипло дыша, высоко задирая сизые колени и с безадресной яростью глядя прямо перед собой, пробежал неведомо куда. Мокрый пес проволоком по лужам и кустам упирающегося хозяина... Потом вдруг ожил холодный ветер, упал вниз, сгреб воду с веток, хвои и коры, с размаху швырнул ее в лицо, — не проходит и часа, как Елистратов и Степа Швец оставляют пост.

— Не надо бы мне есть, — вздыхает Елистратов, недоверчиво разглядывая поддетый на вилкупельмень. — Я, как нагуляюсь, как поем, сразу спать хочу. Сперва тупею, потом чувствую, вот-вот закемарю, и почему-то тревога появляется, будто я засну, а кто-нибудь подойдет и что-нибудь со мной сделает... Или же просто тревожусь, потому что спать не положено... А когда положено — не сплю...

— Ешь, ешь, — кивает Степа Швец, жуя. — Надо бы и по рюмке, если честно. Бодун мой прошел, но холод-то не проходит. А к холоду, по мнению науки, привыкнуть нельзя.

— Да, холодно, — соглашается Елистратов, осторожно возвращая в тарелку остывающийпельмень. — Хотелось бы мне знать, почему одни рождаются в Африке, или в Италии, или у нас в Крыму? Почему мы с тобой рождаемся в холоде?.. Когда человек взрослый, тут я понимаю — получай, что заслужил. Провинился или поиздержался — хляй на север, в край вечной мерзлоты, под конвоем или по своей воле... Повкалывал там, искупил или, как свободный, заработал — можешь ехать обратно на юг, нюхать магнолии... Но когда нас еще нет, когда мы еще только рождаемся — мы ведь ни в чем не

виноваты и ничего не заслужили! Вот за что одни рождаются и живут в тепле, а другие сразу мерзнут?

— А ни за что. — Степа Швец перестает жевать. — Каждый рождается там, где хочет родиться. Тот, кто как бы говорит: я буду любить солнце и запах магнолий — тот рождается в тепле. А кто как бы говорит: я буду любить снег и мерзлую осину — тот и рождается под осиной... То есть тебе как бы говорят: пожалуйста, рождайся где хочешь, но уж потом извини — сам, сам, дальше во всем пеняй на себя. Нашкодил под родными пальмами и магнолиями — катись в вечную мерзлоту. Поманил тебя кто-нибудь от родных осин к теплым морям — отправляйся к теплым морям, и живи там, и плачь потом всю жизнь в подушку: ах, и где вы, мои осины!.. С чего бы, кажется, плакать? А с того и плакать, что ты, перед тем как родиться, заказал себе место рождения и жизни, — оно по твоему заказу навсегда поселилось в твоей крови... Между прочим, это и называется любовью к родине. — Степа Швец горделиво и нервно оглядывается, словно опасается, что люди за соседними столиками слышат его, но краснорожий мужик в шоферской кепке и старик в некогда добротном, траченном скверными погодами многих лет двубортном пальто, и те, что стоят в очереди к кассе, одинаковые в своем стремлении поскорее набить желудок и, поковыряв в зубах, уйти прочь, и те, что расположились на подоконнике и попивают принесенное с собой пиво, подпевая нечто невнятное негромкому магнитофону, — никто, похоже, не проявляет интереса к произнесенной Степой Швецом неловкости...

— Но я люблю запах магнолий! — с вызовом говорит Елистратов.

— Ты их часто нюхал?

— Один раз, а люблю.

— Нанюхаешься — затошнит, — наставительно заявляет Степа Швец. — Ты ешь, ешь, не то остынет.

Пресные пельмени уже остыли. Елистратов откладывает вилку на носовой платок и отправляется на кухню, где стоит приторный запах пельменного пара, бурлит дюралевый чан на высокой плите, цементный пол непроходимо завален разорванными картонными упаковками... Распаренный розовый парень доверительно объясняет, что уксус весь вышел неделю назад, подмигивает Елистратову мутным глазом и извлекает откуда-то из грязного белого халата склянку с черным молотым перцем... Зажав склянку в кулаке, Елистратов возвращается к столику, изо всех сил встряхивает ее над своей тарелкой и, глядя в тарелку, спрашивает:

— Ты это сейчас придумал или ты говоришь по науке?

— Считай, что по науке, — недолго подумав, отвечает Степа Швец.

Часто дыша, Елистратов вновь и вновь встряхивает склянкой.

— Что это за новая наука?

— Для нас — новая, а на самом деле очень старая, прежним людям давно известная наука.

— Выходит, я сам придумал себе эту жизнь? — вскрикивает и трясет склянкой Елистратов.

— Так я не говорил... Не переперчи, есть не сможешь.

— Нет, я сам! Ты сказал, я сам!

— Тише, Гена, я так не сказал, дай людям спокойно поесть.

Степа Швец беспокойно озирается. Лица торопливо жующих людей насторожены и брезгливы. Лишь те, что пристроились с пивом на подоконнике, благостно улыбаются... Их магнитофон, щелкнув, умолкает. Побрякивая портфелем с пустыми бутылками, они неспешно пробираются между столиков к выходу и намурлыкивают на ходу невнятную песню без слов... Елистратов тычет вилкой в пельмень, тычет опять и не может попасть дрожащей рукой. А когда попадает и, всхлипнув, подносит вилку ко рту — перец ошпаривает нёбо, опаляет язык, обжигает горло при паническом вдохе. Елистратов стонет, гортанно кашляет и мотает головой...

— Эй! — сочувственно произносит один из тех, благостных и разморенных, проходя за спиной Елистратова, затем вполне дружески, легко и резко бьет его ладонью между лопаток... Икнув, Елистратов оборачивается, изумленно хрипит доброхоту: «Ты что?».

— Я — помочь... — улыбается тот вмиг побелевшими губами, и Елистратов бьет наотмашь по этим губам, бьет еще, хватая за горло, ворот, волосы, валит на пол и падает сам, — и кричит, и не слышит истошное «Гена!», не слышит визга, грохота посуды, не чувствует чужих рук, впившихся ему в плечи, в щеки и в локти, не видит ничего, кроме ерзающего возле самого его лица окровавленного чужого уха, — силится дотянуться, схватить это чужое ухо зубами, но дважды вспыхивает в глазах и течет из глаз невыносимо жаркое жидкое золото, потом приходит прохладная тьма, она тихо звенит, лицо Степы Швец, лицо рослого капитана, еще два или три совсем незнакомых лица то и дело выплывают из тьмы и вновь скрываются в ней, потом звон стихает, совсем тихо делается, спокойно, но если прислушаться, то слышно, как ровно и уютно гудит мотор, и еще слышно, как пахнет кожей, табаком и бензином; потом долго и мягко покачивает, красные, желтые, зеленые лучи светофора попеременно заглядывают в окошко, падают на залитое кровью лицо и гладят его, и уходят, и заглядывают снова...

...Он спит и в блаженном сне слышит хор, неуверенно и порознь пробующий голоса, слышит их прокашливания, вскрики и бормотания; понемногу они переходят в негромкий, ломающийся речитатив и, наконец, осваиваются, подтягиваются друг к другу, — хор поет, поет нешумно и любовно; он силится проснуться, чтобы распознать знакомую песню, и не может проснуться, — призывает невесть кого, и призыв его услышан, неведомо кто позволяет ему, даже велит: «Можешь не спать».

Елистратов послушно и благодарно открывает глаза. Видит отца в новом пиджаке. Отец осторожно трогает его лоб и говорит с тревогой:

— Можешь не спать? Нехорошо столько спать, надо бы и съесть чего-нибудь... Я вот приехал, рыбки привез.

Елистратов садится и оглядывается, улыбаясь. Маленький Петя дремлет у Татьяны на коленях. Степа Швец в рубашке, расстегнутой на красной груди, разливает по рюмкам. Митя гордо говорит набитым ртом:

— Папа, а мы тут пели.

— Я слышал, слышал. — Елистратов встает с кровати и перебирается к столу. — Не надо думать, что я сплю и ничего не слышу.

Татьяна снимает Петю с колен, накладывает Елистратову полную тарелку жареной рыбы. Елистратов поднимает рюмку, ищет глазами отца, и тот подсаживается, покорный, к столу.

— С приездом! — произносит Елистратов и неторопливо выпивает вместе со всеми.

— Здоров ты спать! — хохочет Степа Швец. — Сутки, да нет, почти двое суток продрых.

— Степан Николаевич доставил тебя, оберег, — уважительно поясняет Татьяна. — И опять вот пришел: не нужно ли нам какой помощи.

— Мне у вас нравится, — хохочет Степа Швец. — Я тут у вас поселюсь, ей же богу... И вот что, Гена: на всякий случай, чтобы ты знал. Мне велели рапорт подать, как все было... Я и написал, как все было... Намекнул, как тот придурок на тебя напал... Не знаю, что ихний капитан написал — помнишь ихнего капитана? — а я вот так написал...

— Ты бы выпил за Степана Николаевича, — проникновенно и печально говорит Татьяна. — Я думаю, нам всем за него нужно выпить.

Елистратов, кивнув, выпивает, морщится, трогает разбитую, схваченную пластырем бровь. Встает из-за стола и подходит к окну. Одно за другим гаснут в ночи нестерпимо яркие чужие окна... Елистратов молча направляется к кровати, укладывается лицом к стене, подтягивает к подбородку влажное от испарины одеяло. Неслышно подходит Татьяна, садится на кровать, наклоняется к нему, касается щекой щеки и, помогая уснуть, рассказывает на ухо будущее теплое лето: как они оставят детей отцу, пусть пасет, и поедут одни в Евпаторию — будут пить легкое вино, есть вкусный шашлык, купаться под звездами и очень сильно друг друга любить.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Действие рассказа «Пролетарий Елистратов» разворачивается в день одной из тех демонстраций, которые свидетельствовали о переходе общества к демократии. Что вы знаете об этих событиях? Какие черты конкретного времени, по-вашему, раскрываются в рассказе?

2. Как связано обращение к прошлому с реальными событиями одного дня, о котором повествуется в произведении?

3. Перечитайте описание района, где живет Елистратов: «Была здесь обширная низина, вернее сказать, впадина, куда, подобно скатывающейся магне, десятилетиями стекалось и сползалось содержимое московской канализации... Пока здесь, наверху, обживались да радовались — там, внизу, шевелилась и продолжает шевелиться своя неживая жизнь: нарождаются неведомые соединения, быть может, невиданные в химической истории Земли, сталкиваются и совокупаются их молекулы, и сочится сквозь плотно застроенную поверхность бесцветный и невесомый, странно пахнущий газ...» Можно ли говорить об аллегории, которая вырастает из этой картины?
4. Какие параллели, по-вашему, может вызвать рассказ участкового о газе и о мальчишках, прячущихся в подвале?
5. Поселок Пытавино — родина милиционера Елистратова, там живет его отец. Об этом поселке говорится и в других произведениях А. Дмитриева. В чем смысл развернутой характеристики Пытавино?
6. Связаны ли в произведении темы страха, вины, надежды, ярости и ответственности за выбранный в жизни путь?
7. Как вы понимаете финал рассказа «Пролетарий Елистратов»? Есть ли перспектива в жизни героя?
8. Напишите заключение рецензии на рассказ А. Дмитриева. Оно может включать размышление о смысле финала рассказа или рассуждение о степени связи названия «Пролетарий Елистратов» с содержанием произведения.

Дополнительные вопросы

Прочитайте рассказы А. Дмитриева «Шаги», «Березовое поле», повести «Воскобоев и Елизавета» (сб. «Поворот реки». М., 1998), «Дорога обратно» (М., 2003). Напишите рецензию на понравившееся вам произведение.

Петр Алешковский (1957)

Пётр Маркович Алешковский (род. 22 сентября 1957 года, Москва) — русский писатель, историк, радиоведущий, телеведущий, журналист. Племянник писателя и барда Юза Алешковского. В 1979 году окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, кафедра археологии. Шесть лет участвовал в работах по реставрации памятников Русского Севера: Новгорода, Кирилло-Белозерского, Ферапонтова и Соловецкого монастырей. В 1988 в издательстве "Малыш" вышло его первое произведение «Как новгородцы на Югру ходили. Рассказ о новгородцах, отважных мореплавателях XII века». Повесть «Чайки» (1991), «Жизнеописание Хорька» (Дружба народов. 1993. №7), цикл из 30 рассказов «Старгород: Голоса из хора» (1995) — произведения о народной России, по своему увиденной и сотворенной писателем с оглядкой на классические и фольклорные традиции. Над

повестью «Жизнеописание Хорька» писатель работал в 1990-93. Она вошла в финальный список Букеровской премии. В 1993-94 гг. в журнале «Согласие» опубликован сокращенный вариант исторического романа о В. К. Третьяковском; его полное издание под названием «Арлекин, или Жизнеописание Василия Третьяковского» вышло в 1995 в издательстве «Радикс».

Лауреат премии «Русский Букер» за роман «Крепость» (2016).

История о прекрасной Зинаиде, капитане Федотове и курсанте Котельникове

1

Гарнизонная жизнь вдалеке от столичных огней со всей ее запланированной отмеренностью, но безвременьем изрядно скучна. Даже точка не метит зелень российской карты, кроме как в секретных километровках, надежно упрятанных в несгораемый штабной ящик. Слава и ратные подвиги нынче не в чести, отвага и доблесть почитаются за смешной курьез. Бильярдная пирамида, преферанс с пивком, травля зайцев на лысых пригорках, болотная клюква и грибы занимают все свободное время. Посеченная дождями, стоит линия электропередачи — реальная связь с миром. Антенна спецсвязи — бездельница — изредка принимает пустые наработки столичных штабистов. Куда ни кинь взор — маскировочная краска да поля, жирно развороченные дорогой. Красные аббревиатуры табличек на газонах городка, врытые в землю забеленные колеса грузовиков — оградка детского сада. Кино и баня по субботам. Баню топят безвкусным антрацитом.

В восемь, двенадцать и в пять на северо-западе, за лесом гудит камвольная фабрика. Кто там теперь работает после сокращений — непонятно, но хриплый ревун неизменен. Прапорщик Фархутдинов уверяет, что в лесу поселился неведомый науке зверь. Запутавшись в собственных волосах, он тянет трубочкой губы, извещая болотную нечисть, что ложиться под холодный дерн не пришло еще ему время. Прапорщик Фархутдинов сам волосат, как тот зверь, и в лес ходить боится.

Что до самой службы — дело это обыкновенное, как прокисшая сорочья тушка на шесте в огороде Гречихина. Мелочные ссоры и происшествия хоть и обсуждают до слез и зубовного скрежета за граненым стаканом, но ветер сдувает все, плешивит по осени недобранный овес. Гонит брюшины облаков по поднебесью.

А все ж так устроен человек, что тянет его больше на прекрасное, недоступное. И коли случится раз в столетье ИСТОРИЯ, то помнят долго, благоговейно передают из уст в уста с затаенной гордостью — у нас же было, не у соседей с Маркушева, тем только и знаменитых на округу, что своим старшим прапорщиком Савельевым Славкой, безотказным ремонтером личной офицерской техники: от заводных часов до жигулевского движка, тут, врать неча, нет ему равных.

Но история ИСТОРИИ рознь. Одно — рассказы про старину, про удаль Рюриковой дружины — там что ни удар, то лихой, что ни победа, так славная; с начала перестройки

все ими зачитывались. Да, грех сказать, поостыли. То, что с заглавной буквицы, с ее репортерами, прямым эфиром, враньем и мафией в «шевролях», как лишний укус к пельменям, сушит язык и гортань, оседает на зуб металлом, рождает надпеченочную досаду, вредное для воина бессилье и затяжную злобу, опасную в замкнутой среде, как искра на складе ГСМ. Кража личного оружия, повальное дезертирство господ из ближнего зарубежья, беспрестанная взвинченность, пустое дискутирование гибельны для служивого. В чувстве локтя. В грохоте сапог на пыльном плацу, в лебедином парадном повороте головы. Даже в скучной, никому и не нужной ежедневно повторяемой рутине должно черпать свою маленькую, но гордость, маленькое, но счастье, ибо жизнь тогда слаженна и четка. Когда приятно познать себя в отношении к естественному порядку вещей и подчиниться ему с радостью. Из роду родов так повелось. И не резон лишка прекословить да умничать.

И коли произрастет в подобной глубинке редкий цветок-человек, уж его и ценят, его и любят, особливо потому, что — пример, а нрава простого и больше дело делает, чем слов говорит.

Лет эдак с пять назад перевели к нам батальонным капитана Федотова. Поговаривали, что не ужился в Москве, и была там, конечно, некая тайна, отраженная в личном деле. Ссылка лишь возвышала присланного в наших глазах.

Грозный полковник Нетлихин полюбил капитана с первого взгляда. Что говорить о нас, смертных, не нюхавших настоящего пороху, не страдавших тяжелей, чем от сорванного ногтя, чесотки и затяжного несварения желудка. Федотов бывал ранен и служил, как в старых книжках, — честь офицерскую ценил превыше собственной жизни. Про прошлое распространяться не любил (по иконостасу на груди видно было — есть о чем человеку рассказать), за столом больше слушал, а как доходило до мутного галдежа и перебранки демократов с коммунистами, брал в руки гитару и заводил афганщину или романсы. Тишина зависала, что литое небо над высоковольткой, печаль пробирала до корня волос. Сладко думалось: эти-разъети, ребята, жизнь продолжается!

Одно было в нем странно — холостой. Женскую тему, в нашем котле святую, готов был Федотов поддержать, но, захватив инициативу, глушил форсаж анекдотчиков, не в обиду и деликатно. Выходило вроде, что не бабы кругом, а спелые женщины не клубные бляшки, а красавицы кисти мастера. Жалостливцем не был, просто глядел старомодно и гто-иному. Стоило кому пройти по федотовской целомудренности, как болтуна пресекали — уважение даже такое своеобычие перебарывает.

А ведь в клубе не простаивал у стен — любая б с ним на Берингов пролив выписалась, но дальше галантных вальсов да потного шейка не пускался. Словом, не понимали, да испили, как редкую хрустальную медаль, пока не доперло: влюблен наш Федотов, по уши втрескался в Зинку Нетлихину — раскрасавицу, первую нашу невесту, полковничью дочь.

И, сгореть на сем месте, все как один принялись оберегать и пестовать — тихо и красиво он по ней таял — как дитя над первым одуванчиком во дворе. Зинаида, к слову, начала прозревать и поддаваться.

В июле вышел приказ на уборку сена. Солдат возили недалеко. ночевали в казармах, но неогороженный простор, колхозные

девахи и земляника подняли настроение до боевого. Косили больше неумело, но усердно.

В первый же день младший сержант Пальчиков зарезал ежа. Не то чтоб до смерти, но глубоко рассек бочину. С изумлением

поглядел, пнул сапогом и продолжал бы работу дальше, если б не сбежались вечно алчущие сачкунуть солдатики. Кто-то по-

жертвовал пилотку, ежа уложили и принялись заключать пари: сдохнет ли тот в течение часа или к ночи, переохладившись от

потери крови. Производилась проверка носа на горячность, подопытного взбрызгивали водой. Словом, веселились, как могли.

Симпозиум прервал капитан Федотов. Забрал ежа, восстановил порядок и понес калеку на полевую кухню. Там раненого облепили девчонки. Федотов с временным санинструктором Зинаидой аккуратно промыли порез, залили йодом, посадили несчастного в корзинку из-под картошки, застелив предварительно дно свежей травой. Федотов действовал трезво и умело — Зинаиде это понравилось.

Она взяла пострадавшего домой и каждый день докладывала капитану, как поправляется больной. Они сдружились. Дело, кажется, стало принимать желаемый оборот.

Но тут, как назло, вернулся со стрельб из Маркушева полковник и приказал выставить ежа за пределы квартиры. Зинаида поселила любимца около гаража в старой кроличьей клетке. Часто она навещала его, иногда вместе с капитаном — тот приносил с кухни кусочки свежего мяса — ежи, как известно, больше предпочитают серьезную пищу всяким травкам и капустным листочкам, коими их вечно пичкают сердобольные дети.

Во дворе еж прожил с неделю. Вечером, сдавая назад тяжелый «Днепр», лейтенант Урываев впечатал клетку в гараж. Еж сдох мгновенно. Будучи пьян и желая замять инцидент, лейтенант выкинул останки на помойку, где и нашла их утром Зинаида, вышедшая с мусорным ведром.

Мотоцикл принадлежал Федотову (был взят Урываевым на день по договоренности), бабки у подъезда — свидетельницы трагедии — в сумерках да сослепу не разобрались и донесли, что несчастного прикончил сам капитан.

Оскорбленная, Зинаида затворилась в квартире, ждала объяснений, но свиданий сама не искала. Федотов, понятно, без веской причины не решился нанести визит в полковничьи апартаменты. Он кружил дня два вокруг огорода, где девушка обычно полола морковь. А после началось батальонное дежурство, стрельбы в Маркушеве — недели две они не видались.

Когда же он вернулся в гарнизон, время было упущено. Охлаждением отношений немедленно воспользовался курсант Котельников. Действуя энергично и по-столичному, он пленил сердце оскорбленной полковничьей дочки. Молодые стали встречаться тайком

вечерами в клубе. А после бродили по берегу нашей речки, ибо влюбленным, как известно, требуется уединение. Луна тогда как раз набирала силу, а бобры выползали на берег грызть молодую осину. Любовь их, поверьте, была чиста и невинна, а потому прекрасна в глазах даже окружающих завистников. Только капитан Федотов ни о чем не догадывался. Его оберегали от слухов, решив, что настоящий мужчина сам сумеет разобраться в создавшейся щекотливой ситуации.

Курсанты, надо признать, наша вечная беда. Свеженькие и стильные, появляясь каждое лето на практику, они заводят холостую молодежь, крушат уставной распорядок и постоянно крадут гарнизонных невест. Дело ежегодно кончается дракой, «губой», выговорами, приказы так и летят из штаба, и комсостав в Желтом доме, засыпая, неуютно ворочается в кроватях, вспоминая свои восемнадцатилетние проделки. В части устанавливается нечто вроде комендантского часа. Седое офицерство, проклиная молодежь, вынуждено нести дополнительное дежурство — то есть не спать в караульной, положившись на приданного сержанта с рядовыми, а заводить увлекательные погони и поиск в ночи, сторожить общеизвестные перелазы через ограду, совершать тайные марш-броски по территории, сбивать ноги в поисках нарушителей общественного спокойствия. График службы при том, естественно, неизменен, невыспавшихся поутру запрягают в домашний хомут супруги. Малые дети не дают как следует отдохнуть — в результате люди к концу лета сатанеют, и зло опускается на дно, в казарму, где исторически крайними оказываются затюканные первогодки.

Лето, особенно в августе, когда ночь спокойна под полной луной, превращается в кошмар. Все ждут конца, безмятежного сентября, грибного изобилия и щучьей ловли в старицах у реки.

3

В одну из таких ночей августа, когда стояла ясная и тихая погода, капитану Федотову выпало дежурство по гарнизону. Не в его характере было просиживать в помещении. Собрав четверых подчиненных, он обратился к ним с краткой речью:

— Ребята, вы знаете, при мне не поспится, а потому — ноги в руки и на улицу, ночь чудесна, а свежий воздух чистит носоглотку.

С сим напутствием отправились в обход. Свершив положенный круг, проверив все, что полагается в таких случаях, капитан решил устроить засаду.

— Чует мое сердце, сегодня будет улов, — сказал он, расставляя четверых в кустах у перелаза.

Стараясь не производить шума, принялись ждать. Не прошло и четверти часа, как капитан подал знак. Вскоре уже все отчетливо различали неясный звук.

По главной аллее открыто, веселой походкой спешил к перелазу стройный курсант. Китель расстегнут, фуражка на затылке — он шагал, напевая под нос с самым мирным видом песенку Пугачевой «миллион, миллион алых роз». Искусство его пения было

невелико, но он так увлекся процессом, что сидящие в секрете невольно заслушались и чуть не упустили нарушителя.

Все же один из солдат бросился вперед, догнал певца и стукнул по плечу. Мигом очнувшись, тот профессиональным ударом сразил препятствующего наземь, но тут подоспел капитан Федотов, и курсанту не оставалось иного, как стать подобием истукана, уперши глаза в землю, признавая тем свое поражение.

Капитан оценил и удар, смелый и мастерски исполненный, и отвагу сдающегося. Он отвел его в сторонку и сказал дружески:

— Что, брат, сам понимаешь, «губой» пахнет.

— Да, товарищ капитан, — подхватил юноша, — понимаю, но прошу, выслушайте меня сначала как мужчина мужчину.

Он держался учтиво и доблестно — капитан решил слушать.

— Моя фамилия Котельников, курсант Котельников, — начал задержанный, — и я знаю, что мне полагается «губа». Я не стал бы возражать, кабы не одно обстоятельство. Сегодня наша последняя ночь — сборы кончаются, мне придется уехать в училище. Здесь живет девушка, мы любим друг друга. Она будет ждать меня, но все осложняется тем, что она дочь Нетлихина, я же — сын полковника Котельникова из Генштаба. Наши отцы не любят друг друга нынче, они старые знакомые еще по академии. Знаю, здешний командир будет в бешенстве, узнай он раньше времени про выбор дочери: Нетлихин — коммунист, мой папаша — штабист, а значит, за Ельцина, это ж ясно, так? Полковник с супругой сегодня в отлучке, Зина дома одна, мы договорились о встрече. Если я не приду — она не поймет, а если даже и поймет, будет упущен шанс, вы, надеюсь, понимаете? Мы поженимся — это железно, ничто не изменит положения вещей. Потом, наверное, я брошу академию, это отцова блажь, мы оба по горло сыты армией и не хотим всю жизнь погибать в глуши, как не хотим и пользоваться протекцией Генштаба. Зина, поверьте, сама настояла, чтоб сегодня перед разлукой я получил то, что полагается супругу (так она красиво сказала). Мне необходимо сейчас идти. Прошу вас, отпустите меня до утра. Перед побудкой я вернусь — тому порукой моя честь курсанта и слово мужчины.

Капитан Федотов раздумывал недолго — весь вид юноши, речь его, столь необычная, прямая, гордая, но без надменности, весь порыв и честность обезоруживали. Сыграло роль и имя Зинаиды — он не хотел выглядеть в ее глазах губителем счастья. Чистосердечное признание предполагало столь же чистосердечный ответ.

— Согласен, — сказал он просто. — Иди. Утром жду в караулке.

Курсант отрывисто поблагодарил и рванул к перелазу. Капитан отправился к подчиненным. Ночь просидел на диване, слушая легкую музыку по радио, пил чай под солдатский треп, коротал время до утра.

Зина встретила своего курсанта в дверях, она была взволнованна.

— Что тебя задержало?

Она пыталась упорно, и, видя, что скрывать бесполезно, и ища у нее поддержки, он во всем признался.

— Хорошо, — твердо сказала девушка, — позже решим, как поступить, а сейчас пойдем на кухню и не думай ни о чем — капитан Федотов самый честный человек в гарнизоне, надеюсь, все обойдется.

— Но я должен сдержать слово, — заносчиво твердил курсант, посвященный в их прежние отношения.

— Ты его и удержишь, — пообещала Зинаида, взяла за руку и повела на кухню. Не в силах скрыть восторга, он припал к ее рукам, обнял ее, и свершилось то, что было ими задумано.

Под утро был выработан план. Зинаида решила бежать с любимым в Москву и там обвенчаться — они сжигали за собой мосты. Но сперва следовало явиться в часть, к капитану, и, когда курсант собрался уходить, Зинаида вдруг решительно настояла: «Я пойду с тобой!» Он понял: отказать значило оскорбить ее. Он согласился.

Рука об руку отправились они в гарнизон и предстали перед очами капитана и четырех солдат.

— Мы явились, — честно заявила Зинаида. — Если Леша виноват, я виновата не меньше.

Капитан театрально нахмурился. Он понимал, что девушка блефует, прикрываясь именем отца и былой их дружбой. Еще ночью он решил не казнить курсанта строго, коли тот придет ко времени, но ситуация изменилась. История могла всплыть наружу, и легко было представить себе гнев полковника. Капитан сыграл неожиданно.

— Пожалуйста, располагайтесь, — он приоткрыл дверь каталажки и поглядел на часы, — я сдам вас утренней смене. И пусть решают в установленном порядке.

Ни курсант, ни Зинаида не ожидали подобного поворота. Молча (не позволила гордость) проследовали они в комнату, сели на голую скамью у зарешеченного окошка. Капитан ухмыльнулся, закрыл их на замок. Заключение длилось недолго. Через пятнадцать минут дверь отворилась — на пороге стоял капитан.

— Вы свободны, — объявил он торжественно.

Не веря счастью, молодые выпорхнули на свежий воздух. Капитан хотел что-то спросить, но неожиданно, чуть раньше положенного, ввалилась дневная смена. Задержанные предстали пред очами капитана Портнова, человека болтливого и склочного, дверь каталажки предательски была отворена. Тайна становилась секретом Полишинеля. Им не оставалось другого, как бежать.

На следующий день курсант Котельников отбыл в Москву. Через день за ним последовала Зинаида, не дождавшись родителей, оставив им подробное, но сумбурное письмо на обеденном столе.

Прибыв домой, полковник ходил мрачнее тучи. Нашлись добрые люди, что донесли ему с прикрасами историю ночного пленения. Над капитаном Федотовым нависла гроза.

5

Все шло к развязке, и плохой развязке - полковник принялся придраться к капитану, а так как придраться было не к чему, изводил подчиненного по известной схеме. Ждал только случая. Мы со стороны, сраженные благородством и выдержкой Федотова, лишь тайно выказывали сочувствие — добровольная сдача позиций, неунывающий вид, будто ничего не произошло, поразили всех необычайно.

Тут случился второй московский путч. Он смешал карты, лишил полковника привычных козырей. Спецсвязь требовала немедленного выдвижения на Тулу, чтоб, вероятно, затем следовать в арьергарде на столицу. Телефон предлагал тянуть резину. Нетлихин затворился в штабе, никого к себе не допускал.

«Боевая тревога» прозвучала как гудок камвольной фабрики, но дальше только изображали действие — офицеры перессорились вконец. Лишь Федотов, приведя свой батальон в полную боеготовность, с отрешенным видом ковырял на плацу камешки сапогом и на истерические вопросы отвечал вяло: «Есть кому за меня подумать». Его спокойствие, надо признать, нас несколько трезвило.

Наконец выступили. Сутки месили грязь до Тулы. Вошли на окраину, накормили солдат обедом и повернули назад. История, в который раз, обошлась без нас, победа свершилась. Гарнизон, взбудораженный и подавленный одновременно, рядил о случившемся: жаль было сожженного Белого дома (точнее, денег на его восстановление), афганца Рущкого. Единодушно приветствовали только арест чечена Хасбулатова, ругали фашистов, правительство, Ельцина за нерешительность и страх первых часов, гадали о будущем.

Оно превзошло ожидания: полковника Нетлихина отстранила от должности немедленная проверка, и тот, обиженный, подал в отставку. Отставку приняли. Комиссия на скорую руку произвела перетряску, Федотов, надо сказать, получил долгожданного майора.

Выпал первый снег. Дороги совсем развезло. Жизнь входит постепенно в привычную колею. Нетлихин, к чести его будь сказано, заходил к нам запросто, вздыхал радостно, хвалится свободной жизнью и удачно выгнанным самогоном, но Зинаиду не поминал.

Рана еще не зарубцевалась. Тут как снег на голову свалились из столицы молодые. Приехали каяться. Нетлихин на удивление радостно их принял и даже благословил (любопытствующие соседи тут же разнесли пикантную весть по городку). Но тем не кончилось. Через двое суток прискакал вдогон сам Котельни ков-старший. Вечером они уже парились в бане. На другой день собрали ближайших друзей за столом, с запозданием отмечая то ли свадьбу, то ли всеобщее примирение.

Позвали и Федотова. После торжественной части счастливые молодые повели собравшимся историю с гауптвахтой.

Много и громко смеялись, славили новоиспеченного майора, незло подтрунивая над ним. Тот казался счастливым.

— Я, между прочим, ежа не давил, — признался он под шумок Зинаиде.

— Я знаю, теперь знаю, — поправились новобрачные, скрывая неловкость за показной веселостью.

На другом конце стола старший Котельников изливал душу отцу невесты:

— Ты прости, Коля, что не успел вмешаться. Комиссию проглядел. Я квартиру молодым пробивал, сообразно моменту, значит, — на радостях дали. Мой-то, сукин кот, уперся — в армии не останусь. А что, говорю, в ларек пойдешь торговать? И пойду, говорит, поначалу, а там видно будет. И твоя его поддерживает.

— Ладно, Василий, — размякший, совсем уже не начальственный Нетлихин похлопал родича по плечу. — Я туз теперь битый, своим умом проживут.

Договорились на открытие охоты, весной, стрелять уток. Нетлихин выпрашивал столичного гостя о четырехмиллионном пособии, обещанном к отставке властями. Домишко в деревне он отгрохал загодя, списанный «газик» Савельев из Маркушева превратил ему в конфетку — полковник мечтал о бане, тракторишке, картошке и огороде. Кто б мог подумать, что так изменится человек и как, оказывается, мало ему надо.

Все оказались довольны, сыты и, изрядно выпив, упростили Федотова сыграть на гитаре. Тот заиграл.

Мы, что помоложе, курили на лестнице, и Ванька Костин рассказал историю. Третьего дня они гудели в деревне у Саломадина, тракториста с ПМК. Тот, парень тихий и убитый, схлопотал ни за что год условно, и, когда кто-то из ребят полез к Саломадихе под юбку, мужик, чтоб не натворить лиха, тихонько вышел на улицу и ночь проспал в нетопленной бане. Саломадинскую Таньку все знают, потому мы поржали и пошли слушать Федотова. Пел он задушевно, чувствуя момент и внимание собравшихся. Невеста бросала на него потаенные взгляды, была печальна и чем-то, кажется, весьма недовольна. И такое что-то поднялось в душе, что не передать словами.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. О каком жанре древнерусской литературы напоминает заглавие рассказа? Какие черты этого жанра обнаруживаются в произведении П. Алешковского?
2. Предваряя рассказ о капитане Федотове, повествователь говорит: «И коли произрастет в подобной глубинке редкий цветок-человек, уж его и ценят, его и любят, особенно потому, что — пример, а нрава простого и больше дело делает, чем слов говорит». Сопоставьте позиции рассказчика и автора в отношении к главному герою.
3. Как вы думаете, почему о прошлом героя говорится лишь намеками?

4. Объясните введение в финал рассказа истории тракториста Саломадина и его жены.
5. Подготавливает ли читателя внутренняя жизнь рассказчика, открывшаяся в произведении, к его заключительным словам: «И такое что-то поднялось в душе, что не передать словами». В чем смысл подобного финала?
6. Слово «история» появляется в начале рассказа не один раз. «Но история ИСТОРИИ рознь. Одно — рассказы про старину, про удадь Рюриковой дружины — там что ни удар, то лихой, что ни победа, так славная; с начала перестройки все ими зачитывались». Какие смысловые оттенки приобретает слово «история» в тексте П. Алешковского? Как связано, по-вашему, произведение с конкретным временем?

Дополнительные вопросы

Какие литературные традиции продолжает П. Алешковский? Сопоставьте прочитанную вами «Историю...» с «Поединком» А. Куприна. Совпадают ли позиции авторов этих произведений?

Алексей Слаповский (1957)

Алексей Иванович Слаповский родился в 1957 году в селе Чкаловское Саратовской области. В 1979 году окончил филологический факультет Саратовского университета. По окончании университета работал учителем русского языка и литературы в школе, в 1981—1982 годах грузчиком, с 1982 по 1989 год корреспондентом Саратовского телевидения и радио. С 1990 по 1995 год был редактором и заведующим отделом художественной литературы журнала «Волга». В 2001-м году переезжает в Москву, сотрудничает с телевидением и кино (сценарии сериалов «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок» и др., фильма «Ирония судьбы. Продолжение» (в соавторстве), а также сценарии телефильмов по собственным романам «Я — не я» и «Синдром феникса».

Произведения Алексея Слаповского переведены на английский, венгерский, голландский, датский, немецкий, польский, сербско-хорватский, французский, финский, чешский, шведский и др. языки.

Сайт писателя: <http://slapovsky.com>

Чернильница

Писатель Евдокимов был честолобив за счет молодости, крепкого здоровья и желания решать такие задачи, которые не под силу были предшественникам, пусть даже и великим.

Он прочитал как-то слова Чехова, что рассказ можно написать о чем угодно, хоть о чернильнице. Это его поразило. Сам-то не написал! — неуважительно подумал он о Чехове. Ну-ка я!

Он обошел все магазины в поисках чернильницы и не нашел, потому что давно уже не производят чернильниц и никто уже чернилами из чернильниц не пишет. Тогда он пошел к своей бабушке, зная, что она ничего не выбрасывает из старых вещей, и точно, нашлась у нее чернильница. Он налил в нее чернил (чернила еще продают — для чернильных ручек, хотя эти ручки никто не покупает, они плохие, если не «Паркер», но для «Паркера» нужны совсем другие чернила, а других нет, поэтому эти никто не покупает и зачем их продают — непонятно).

Евдокимов поставил чернильницу с чернилами перед собой и стал думать.

Чернильница была из прозрачного когда-то стекла, но от чернил стала темно-синей.

Она была непроливайка, то есть с конусом внутрь, и действительно не проливалась, если ее осторожно перевернуть. А если плеснуть (Евдокимов попробовал), то проливается, конечно.

Три дня и три ночи он думал над чернильницей — и ничего не придумал, и в отчаянии от своей бездарности повесился.

С одной стороны, грустно, а с другой стороны, вы его не жалеете, ведь никакого писателя нет, я его выдумал. А вот чернильница у его бабушки есть, зачем-то она хранит ее. «С дерьмом не расстанется!» — темпераментно говорит о ней зять, отец Евдокимова, не любящий тещу. Впрочем, тьфу ты, Господи, не может же быть у Евдокимова отца, поскольку нет никакого Евдокимова!

Запутался я. Извините...

СМЫСЛ ЖИЗНИ

17 сентября 1993-го года Евгений Александрович Федоров, бульдозерист 3-й Строймехколонны города Саратова, шел по улице Лермонтова и между домами № 17 и № 19 вдруг остановился и подумал: а в чем смысл жизни?

Тогда он купил бутылку вина «Анапа» и пошел на Набережную Космонавтов, к Волге, там он сел на лавку и, глядя на волжскую воду, речной транспорт и проходящих мимо туда и обратно людей, стал пить вино и думать о смысле жизни. Он выпил вино, и на душе полегчало, но уму сделалось еще тяжелее. Заболела голова.

Тогда он пошел и купил две бутылки водки, потом пошел домой, приготовил себе ужин, стал есть его, пить водку и продолжать думать о смысле жизни.

К полуночи он понял, что в одиночку ему этого вопроса не осилить.

Тогда он взял телефон и стал звонить наугад, доверяя пальцам самим выбрать номер. И всем, кто снимал трубку, Федоров очень вежливо говорил:

— Вы, пожалуйста, извините за столь незнакомый звонок в полночь, но повод для него есть уважительная причина, которая побуждает меня задать вам странный, но жизненно необходимый вопрос, на который, возможно, у вас есть готовый ответ, и вы поможете мне этим ответом. В чем смысл жизни?

Почему-то ему отвечали грубо, с руганью и угрозами.

Федоров уже устал. Он откупорил вторую бутылку и решил сделать последний звонок, а потом алкоголем придушить беспокойство мысли и заснуть.

Ему ответил свежий мужской голос, ответил четко и ясно, словно ждал звонка Федорова.

— В чем смысл? А вот скажи, гад, где ты живешь, я тебе лично объясню и про смысл жизни и про все остальное.

— Улица Мичурина, дом сорок четыре, квартира два, вход с улицы, только на кнопку жмите подольше, звонок плохо работает! — радостно ответил Федоров.

— Я стучать буду, — обнадежил человек с четким голосом.

— Соседей разбудите. Я лучше дверь буду приоткрытой держать.

— Ну-ну, — сказал человек с четким голосом.

Через двадцать минут к дому подъехала большая красивая машина иностранного производства. Из нее вышел высокий мужчина с чем-то в руке.

Когда он вошел в квартиру, обнаружилось, что в руке у него милицейская дубинка.

— Тебе сразу объяснить или как? — поинтересовался он, хлопнув по ладони дубинкой.

— Зачем же сразу? — приветливо улыбнулся Федоров, кивнув на рюмочку, которую загодя налил для гостя. — Вопрос слишком сложный, выпьем сперва, познакомимся.

...И вот уже утро брезжит, гость Федорова, оказавшийся Петром Ильичом Егоровым, начальником охраны фирмы «Старт», в очередной раз набирает номер и говорит:

— Ты только, гад, не ложь трубку, замри, не дыши и слушай, падла, а потом ответь. В чем смысл жизни?

Это — мужчинам. Женщинам он говорит мягче, но тоже просто и прямо.

А потом очередную попытку делает Федоров.

И опять Егоров.

И опять Федоров.

Но ни тот, ни другой не добились ответа.

Правда, иногда к телефону никто не подходил. Федоров и Егоров, выпивая (перейдя при этом на коньяк, который Егоров принес из машины), говорили меж собой, что, может быть, как раз того, кто знает про смысл жизни, нет дома, шляется где-нибудь. Всегда так! — нужен человек, а его нет на месте. Егоров по несколько раз вызывает не отвечающий номер, подолгу слушает гудки.

— Сволочь! Где его носит? Люди дома должны быть! — сердится Егоров.

— Может, он просто заболел и в больнице, — успокаивает его Федоров.

— Разве что, — смягчается Егоров. — Твоя очередь крутить.

— А вдруг никто не знает?

— Не может быть! — не хочет допустить этого Егоров. — Кто-то должен знать! Хоть кто-то — должен! Крути!

Комната смеха.

Я был ребенком пригородным, и поэтому в городе мне стоило палец показать — и уже смеюсь, потому что в городе все по-другому, все иначе.

Меня привезли в парк. Качели, карусель, колесо обозрения, комната смеха.

Комната смеха

При входе там простое зеркало. Глянешь в него мельком: ну, вот он я, обычный и привычный, — и скорей к кривым зеркалам, смеяться тому, как выпячивается живот, как растягивается вширь или вдоль физиономия, как становишься дугообразным, как ноги вдруг отпрыгивают вбок от тела. Умора в общем. Я смеялся до упаду. Отсмеявшись, хотел уже уйти, но решил еще раз заглянуть в то, нормальное зеркало при входе — чтобы убедиться, что ничего со мной не случилось, я такой же, каким и был до этого.

Однако, на меня смотрел из зеркала совсем другой человек. Вернее, тот же, но взгляд мой на этого человека изменился. Я с интересом рассматривал свое веснушчатое не шибко красивое лицо, косой белесый чубчик, голову в целом, похожую на огурец, костлявые свои плечи, тонкие руки, косолапые ноги в штанах, пузырящихся на коленях... Я показался себе каким-то чужим, посторонним и даже более странным, чем был в фантастических зеркалах. Вышел я из комнаты смеха притихший, подавленный, чего-то не понимающий. Испуганно-счастливый.

Миновало много лет. Время от времени я тайком прихожу в комнату смеха. Кривые отражения меня уже не смешат: скучен стал, невосприимчив к простым чудесам. И тем не менее, я с надеждой подхожу к обычному зеркалу: вдруг вернется то детское чувство неузнавания себя и видения себя — как нового?

Нет. Я тот же, какой и вошел.

Жаль.

И пусть я знаю, что на самом деле это не так, что человек меняется каждую секунду, — это не утешает...

Скрипка Страдивари

Всем известно, что саратовцы большие любители музыки — как эстрадной, так и симфонической. Они с удовольствием и постоянно слушают музыку по радио, из телевизоров и магнитофонов, с проигрывателей, ходят даже на концерты — и эстрадные и, само собой, симфонические.

Только К-ов не любил музыки. Рассказ этот документальный, поэтому я не хочу полностью называть его фамилию и выставлять человека на всеобщее обозрение, я ведь не князюшка какой-нибудь, не фельетонист и не литературный какой-нибудь критик.

Итак, К-ов не любил музыки, но странную, переиначим классика, нелюбовью. Он не имел дома ни магнитофона, ни радио, в телевизоре музыкальные передачи переключал на устные. Но если, все же, ему случалось услышать музыку — допустим, из открытого окна,

будучи во дворе, или из машины, или подростки мимо пройдут с магнитофоном в обнимку, он морщился с досадою и неизменно говорил окружающим:

— Мне бы скрипку Страдивари, я бы тогда вам сыграл!

Его соседи знали, что такое скрипка работы великого мастера Страдивари, они все смотрели детективный фильм, как такую скрипку украли, фильм серий на восемь или десять — поневоле запомнишь. Знали, что инструменты этого мастера великолепны и безумно дороги, в Саратове ни одной такой нет, их во всем мире-то несколько штук, знали они и то, что К-ов, проживая их в доме с незапамятных времен, никогда ни на чем не играл. Поэтому считали эту фразу не более, чем доброй шуткой. И откликались:

— А на обычной скрипке ты не сыграл бы?

— А стеклом по стеклу не пробовали царапать? — отвечал вопросом на вопрос К-ов.

В общем, поскольку, кроме этого чудачества, никакой особенной придури в К-ве не замечали, то считали, что он просто имеет свой пунтик, свою шуточку. Многие в этом большом доме имели свои шуточки. Кочегар котельной М-ов тоже любил пошутить над собой, выползая из подвала весь черный, размахивая руками и радостно крича встречающей его гневной жене:

— Грачи прилетели!

Но лететь не мог, а, наоборот, падал, и приходилось жене с помощью мужчин впихивать его в лифт и везти на седьмой этаж. Если ж лифт был неисправен, то волокли М-ва обратно в подвал.

Другой, Л-нин, имел привычку, увидев идущий на посадку пассажирский самолет (а это было часто, потому что дом находился неподалеку от аэродрома, который в Саратове, как вы знаете, в городской черте), задирает голову и азартно говорить:

— Спорим на червонец — упадет!

Спорить с ним никто не собирался, понимая, что он не отдаст, а говорит только ради юмора, — никто не припомнит случая, чтобы хоть один самолет упал при посадке, и с чего у Л-на в голове эта неотвязная идея? — непонятно было.

Время шло. Родившиеся родились, умершие умерли, К-ов состарился, в доме появились люди новые — или стали таковыми выросшие дети старых людей, энергичные, со своими понятиями о юморе и жизни вообще, и прежние шутки их почему-то раздражали, они органически не переваривали абсурда, мешающего им по-новому понимать действительность. М-ова, который уже был не кочегаром, а пенсионером, они еще терпели, когда он, верный привычкам, изображал прилетевших грачей — но уже на балконе своей квартиры, — любителей таскать его на седьмой этаж не находилось более, а подвал занял другой человек, молчаливый, без шуток, он никуда не выходил, а падал там, где работал — без доброй усмешки и острого словца. Л-нин со своим падающим самолетом раздражал их больше. Эти люди часто летали на самолетах, им не нравилась его шутка, они запретили ему ее произносить, он замолчал и вскоре умер.

Но особенно почему-то их стала злить фраза К-ва: «Мне бы скрипку Страдивари, я бы вам сыграл!»

«Говнюк ты старый! — сердито говорили ему. — Ты хоть не на скрипке, ты хоть на балалайке сыграй, ты же глухой, как пень, у тебя вон рука уже левая не гнется, дурак ты такой! Прекрати глупости говорить, не абсурдизируй начавшуюся светлую рациональную жизнь, оглянись, тут дети ходят, мудильник ты стоеросовый, пидарас замшелый, а ты их словами своими пугаешь, козлище вонючее!»

Но К-ов не унимался. Только лишь заслышит откуда музыку, тут же:

— Мне бы скрипку Страдивари... — и т.д.

Наконец один из этих новых людей, Н-ев, не выдержал. У него был пламенный характер, он был человек крайне деловой и привык, чтобы все отвечали за свои слова. Пустая похвальба К-ва выводила его из себя.

— Значит, — спросил он однажды, — если дать тебе скрипку Страдивари, ты сыграешь?

— Сыграю, — кратко ответил К-ов.

— Ну ладно, — со злостью закричал Н-ев, — я тебе привезу скрипку Страдивари! Если ты сыграешь на ней хотя бы чижики-пыжика, будешь жить, если нет, пожалеешь, что на свет появился, я с тобой такое сделаю!

И в тот же день, горячий, полетел в Москву. Там он нашел знаменитого скрипача С-на, играющего на бесценном инструменте работы Страдивари и предложил ему гастроли в Саратове с одним условием: он даст поиграть пять минут на своей скрипке некоему человеку.

Музыкант С-н гастролям обрадовался, но в чужие руки скрипку давать категорически отказался.

— Она ведь и не моя даже, — говорил он. — Она государственная, я ее после каждого концерта сдаю. Честно говоря, мне на гастроли ее брать запрещено, придется, извините, сжальничать, так что обеспечьте охрану.

Н-ев пообещал охрану, назвал сумму за гастроли — при этом играть вовсе не обязательно, и сумму за пятиминутный скрипкин прокат.

Не выдержала душа музыканта, согласился он.

Мигом-мигом схватил его за шкирку Н-ев и примчал в Саратов на самолете, который, по своему обыкновению, не упал, мигом-мигом привез его к себе домой, позвал К-ва, позвал других жильцов, не боясь свидетелей, так как вообще ничего не боялся, вынул на опасливых глазах музыканта С-на скрипку многовековой давности, потертую, с трещинками лакировки, но всем, кто присутствовал, сразу ясно стало, даже тем, кто скрипку живьем в глаза не видывал, а только по телевизору: это уникальный инструмент!

Н-ев достал скрипку, достал смычок, дал в руки К-ву и голосом, не предвещающим ничего хорошего, приказал:

— Играй.

К-ов не смутился.

Он осмотрел инструмент — деловито, будто не реликвию в руках держал, а даже не знаю что — ну, как каменщик мастерок держит. Осмотрел, приложил под подбородочек свой, к морщинистой старой шее, укрепил, встал в стойку, занес смычок.

С-н смотрел на это с ужасом.

Неистовый Н-ев сжал кулаки.

К-в заиграл.

Сочинения, которое он играл, не знал никто, даже С-н.

Он играл без перерыва один час двадцать три минуты сорок секунд.

Закончил, уложил скрипку и смычок в футляр, отдал С-ну — и вышел.

Что было с другими после его ухода, я не знаю, я вышел вслед за К-вым, хотя не стал догонять его и тревожить ненужными расспросами.

Знаю лишь — и могу сообщить, что К-ов свою фразу перестал произносить, соседи же почему-то сторонились его и смотрели на него издали недоумевающими взорами. Как-то тяжело им становилось в его присутствии, нехорошо как-то, муторно. То есть, вроде, как-то светло и печально, но так светло и печально, что — не вмоготу.

Н-ев запил.

М-ов, напротив, бросил пить.

С-н перестал играть на скрипке. И на Страдивари, и вообще.

А К-ов через некоторое время умер. Тихо, спокойно, от возраста.

И соседи, по-человечески жалея его, почувствовали, однако, облегчение, они тут же постарались забыть о нем и о его непостижимой игре на скрипке Страдивари, такой игре, которая... Нет, не буду, я и сам не хочу вспоминать — делается на душе как-то... Так как-то... Как-то так.. Невыносимо!

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Рассказы А. Слаповского «Чернильница», «Смысл жизни», «Комната смеха», «Скрипка Страдивари» включены в сборник «Для тех, кто не любит читать». Какой смысл, по-вашему, вложен в его название?

2. В предисловии к этой книге автор называет свои произведения написанными в духе «антиабсурда», объясняя, что это значит: «Просто же говоря — это местами ироничные, местами юмористические рассказы, безысходный оптимизм сочетается с испепеляющим взглядом на жизнь». Что можно сказать о жизненной позиции писателя, прочитав это вступление? Как перекликаются эти слова из предисловия с прочитанными вами произведениями?

3. Можно ли выделить общие особенности композиции рассказов А. Слаповского? Совпадают ли позиции автора и рассказчика?

4. Как сочетаются в рассказах черты конкретного времени и вневременные проблемы?

5. Об А. Слаповском, как и о других писателях «среднего» поколения, говорят, что в его произведениях сочетаются авантюризм и философичность, занимательность и подлинная реальность. Согласны ли вы с такой оценкой? Обоснуйте свою точку зрения.

Вы можете написать об этом в заключительной части своей рецензии.

Дополнительные вопросы

1. Сопоставьте героев и позиции писателей-современников в рассказах А. Хургина («Виолончель Погорелова») и А. Слаповского («Скрипка Страдивари»).

2. Можно ли найти нечто общее в произведениях М. Зощенко, Д. Хармса и А. Слаповского?

3. Критик А. Немзер, характеризуя литераторов «среднего» поколения, называет писателей А. Дмитриева и А. Слаповского «лучшими», «выдержавшими испытание свободой», «сумевшими почувствовать и выговорить боль, суетливость, жестокость, нелепицу нашего сегодня, “переходного периода”, в котором бессильная ностальгия по якобы уютному минувшему запросто сочетается с лихорадочным желанием “словить свой момент и свой кайф”. Увидевшие все это — и неиспугавшиеся. Не отказавшиеся ни от уважения к тайне человека, ни от “вечных ценностей”, ни от культуры, ни от свободы, ни от веры в будущее».

Согласны ли вы с такой оценкой? Обоснуйте свою позицию.

Николай Кононов (1958)

Николай Михайлович Кононов (14 апреля 1958, Саратов) — российский поэт и прозаик.

Родился в Саратове в семье военнослужащего. По вероисповеданию католик. Окончил физический факультет Саратовского университета (1980), после окончания университета переехал в Ленинград и поступил в аспирантуру философского факультета Ленинградского университета, но написанную диссертацию защищать не стал. Работал учителем математики в школе. Некоторое время посещал ЛИТО Александра Кушнера. Как поэт дебютировал в 1981 году. В начале 1980-х годов входил в метагруппу саратовских поэтов «Кокон» (Б. Борухов, С. Кекова, С. Надеев, А. Пчелинцев). В 1992—1993 годах был главным редактором ленинградского отделения издательства «Советский писатель». Один из основателей (вместе с прозаиком Александром Покровским) и главный редактор петербургского издательства «ИНАПРЕСС» (1993), специализирующегося на выпуске интеллектуальной литературы, в частности издал большое избранное поэтов Елены Шварц и Александра Миронова, первые после длительного перерыва российские (пере)издания стихов Бориса Божнева и Софии Парнок, а также «Мой временник» Бориса Эйхенбаума, мемуары Эммы Герштейн и Бориса Кузина, большого друга Осипа Эмилевича и Надежды Яковлевны Мандельштам.

Отмечен малой премией имени Аполлона Григорьева за роман «Похороны кузнечика» (2000), Премией Андрея Белого за книгу стихов «Пилот» (2009), Премией имени Юрия Казакова за рассказ «Аметисты» (2011). Занял второе место в сетевом литературном конкурсе «Улов» (2000, с рассказом «Воплощение Леонида»). Входил в шорт-листы премий: Андрея Белого (2000, подборка стихотворений 1998—1999 гг.; 2004, роман «Нежный театр»), Букеровской премии (2001, «Похороны кузнечика»), имени Юрия Казакова (2001, рассказ «Микеша»), «НОС» (2011, роман «Фланёр»).

Микеша

Если бы моя судьба сложилась так, что я был бы вынужден жить в этом городе, то о лучшем месте, о лучшем виде из окна, я и не мечтал бы. Это следует описать, чтобы многое стало ясным.

Мне и посейчас зрелище, видимое из их окон представляется видением. Как если бы черно-белая фотография оживала, когда, всласть на нее насмотревшись, закрываешь глаза. Вообще в их жизни на склоне холма, в утесе кирпичной башни на восьмом этаже было нечто от фотографии, – их нельзя было застать врасплох, они были готовы к съемке, и разговаривали и вели себя так, словно вся их маета, перетекающая в хаос прошедшего времени, имеет цену, ну, солей серебра хотя бы.

Когда я заявился к ним со звонком, с назначением часа визита, с долгими подробными описаниями транспортных развязок, автобусных маршрутов, которые чуть хуже, но надежнее трамвайных, почему-то с перечислением железнодорожных переездов, где можно прождать от десяти минут до получаса, потом подъезда с торца, плохо

работающего небезопасного лифта, сейфовой двери, где еще нет звонка, так как эти пошлые квазиптичьи трели немисливо слушать и т. д. и т. п., – то, выйдя на балкон, я поразился тому, как время суток, глупый календарный час может смешаться, как подкрашенная жидкость, с совершенно иными изумительными вещами. С далеким гудком еле видимого парохода, с подвешенной связкой циклопических луковиц, с кургуазным приветствием их маленького сына, преувеличенно хорошо воспитанного. Стеллаж с его многочисленными фирменными игрушками по упорядоченности мог потягаться с таблицей Менделеева. У пухлого мальчугана должна была быть борода, сюртук и золотой брегет на цепочке через живот...

Они стремились к евростарндарту – тотальной белизне и гладкости.

Непобежденной оставалась лишь лоджия, заваленная прелестными пожитками.

И сегодня, невзирая на время, превратившее случайности в пылеподобную труху, а из сильных впечатлений извлекшего острый и неизживаемый вкус, я все еще храню в себе невероятный и нежный вид с лоджии восьмого этажа их дома на холмистой окраине моей родины.

Я бы вообще-то хотел оставить эту топографию в своей памяти в виде чистого описания, без какой бы то ни было рефлексии, просто вид, просто пейзаж. И можно спокойно стареть, созерцая его.

Эти люди, к которым я пожаловал в гости, изначально относились для меня к той же породе тихого зрелища, я ничем общим не был с ними связан, и, кроме одного безумного друга, – пьяницы, даже алкоголика, теряющего разум истерика, у нас не было ничего общего. Под «почти» я подразумеваю редкие встречи у милых людей.

– Через год здесь будет все устроено для барбекю, – важно заявила она.

– В лоджиях Рафаэля не жарят мясо, – пошутил я.

– Милая мамочка, я прошу прощения у тебя и у Микеша за то, что я рассыпал «леголенд» с пиратиками...

– Я-то прошу тебя, мальчик, немного повременив, но вот сможет ли простить тебя Микеша – большой вопрос. Ты ведь нарушил распорядок дня, а сейчас, тебе прекрасно известно, забывчивый друг, время, отведенное чтению и рисованию впечатлений карандашами.

– Ой-ой-ой, но, может, он меня все-таки простит? Мне бы очень хотелось, чтоб он меня все-таки простил, я так боюсь его гнева, – запричитал ребенок как в сказке о хорошо воспитанных детях.

– Наказание может усугубиться, если ты не избавишься от отвратительной привычки именовать Микешу в третьем лице. Поди в детскую, плотно закрой дверь, а я сейчас попробую поговорить с Микешей, – сказала она, без тени улыбки посмотрев и на меня. Сдерживая слезы, мальчик ретировался, закрыв за собой дверь – тихо и плотно.

Через несколько минут до меня донесся тихий монолог:

– Микеша тебя не прощает, так как ты нарушил порядок. Он даже передал, что собирается придти и наказать тебя.

В ответ раздался сдавленный писк.

– А сейчас будет сладкий стол. Ведь вечером так приятно почаевничать...

Мы перешли в просторную белую кухню, и я бы нисколько не удивился, если бы увидел четвертый прибор – для Микеша. Но его не было.

– Что-то наш мальчик расшалился, – тихо промолвил хозяин. Он вообще-то был в этом доме на вторых ролях, так сказать певцом за сценой.

Стоит описать меню. Оно было душераздирающим: сладкий немецкий ликер цвета дыма над трубами завода «Крекинг», немецкие же кексы в серебряной бумаге, джем из консервной банки. Хозяйка сдержанно улыбалась этому импорту из ближайшего ларька. Да, еще у всех троих рядом с чайной чашкой лежал «Марс», и он должен был нас, как говориться в рекламе «зарядить бодростью на целый день». Но день уже подходил к концу. По-моему они просто отобрали гуманитарную помощь у какой-то старухи. «Вот это скупость, – подумал я, – от этого стола не может быть никакого стула». Тем более мы восседали на высоких неудобных табуретках.

– Мы как Оман, Артаксеркс и Эсфирь. Помните, у Рембрандта? – блеснула хозяйка.

«У них на столе не было «Марса», – сказал я сам себе.

Потянулся культурный разговор о культуре. И это тоже было невыносимо и душераздирающе. Я спасался только тем, что давился ликером и выходил на балкон, где через год должен потечь жирный угар барбекю.

Вечерело. Ликер кончился, а я почему-то не уходил.

– Может быть, пригубить что-либо более крепкого, – возбудил я тишину, прошиваемую только тиканьем пошлых настенных часов в духе Дали, стрелка на потекшем блине циферблата уперлась в «семь», – пока не поздно, можно и сходить.

– Да что вы, сейчас одни суррогаты! – Вскричала она с какой-то нечеловеческой брезгливостью.

– Ну, ни одни.

– У нас вообще-то все свое, так сказать с дачи, не знаю, как вы к этому отнесетесь...

– К этому я отнесусь хорошо.

– Павел, набери штоф.

Павел набрал.

Дивный-дивный самогон, дивные-дивные сладкие помидоры, дивные-дивные малосольные огурцы. И разговор у нас совсем другой пошел.

К середине штофа выяснилось, что она женщина необыкновенной доброты. Или я что-то упустил, но когда стал прислушиваться, то понял, что путанная история уже подходила к сладостному завершению, и та женщина, о которой шла речь, выглядела просто из ряда вон, восхитительно, а муж так ее любил и нежил, что даже сам подкрасил ей помадой губы, оправлял складки и вырез платья, взбивал челку... И я напрягся при словах, сказанных с радостной улыбкой, что она, та чудная женщина совершенно, абсолютно ничем не пахла...

– Почему это совершенно ничем? Ведь хоть чем-то, пахнут...

– Я имею ввиду очень неприятный летом запах тления. Ведь иногда к покойнику невозможно подойти.

Тут неожиданно вступил певец за сценой:

– У нее, помнится, были очень хорошие работы по Тамбовским говорам, где она приоткрыла проблему аканья...

– У этой злобной суки, Павел, да будет тебе известно, хорошо приоткрывался только кошелек, когда она экзаменовала заочников!

И хозяйка, горя углями ненависти описала несколько жарких эпизодов, которые покойную характеризовали не с лучшей стороны, а скажем честно, – омерзительно. Партийная карьеристка, бездарь, существо удивительной злобы, блядь и подстилка, только в гробу в ней проступило что-то человеческое. Но смерть вообще великий лекарь. Она так преображает людей. Сильней чем сон.

Под эти речи сыну в печке СВЧ разогревался спартанский ужин.

Стрелка стекала к «девяти».

Действие развивалось по законам С. Дали.

Штоф опустел.

Ребенок, постучавшись и пропищав: – Можно войти? – Принес поднос с грязной посудой. Уходя, он грустно сказал:

– А теперь я хочу пожелать всем покойной ночи и передать мой привет и благодарность Микеше.

Именно покойной, а не спокойной ночи.

Когда он вышел я спросил:

– За что он благодарит Микешу?

– За то, что сегодня не было наказания за содеянное, – отвечала, улыбнувшись, добрая мать.

– Угу, не было, – икнул певец.

Он явно хотел за сцену, где можно было нацедить еще один штоф.

За сцену, так за сцену. Тем более, добрая мать с радиотелефоном ушла в глубину квартиры. Что ж добрым друзьям не нацедить добрый штоф доброго зелья.

– Правда, Павел?

Певец уже не вязал языка, он гордо бормотал, обращаясь ни к кому:

– Он хоть и член-корр., но пьет на мои деньги.

– На твои, на твои, на твои. Кто спорит? – подпевал я ему по дороге за сцену.

И вот мы оказались за сценой.

Лучше бы меня никогда там не было.

Ибо у меня нет слов, что бы описать Микешу, который во всем своем нестерпимом блеске там обитал.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Рассказ «Микеша» включен в книгу «Магический бестиарий в трех разделах» (М., 2002). Эпиграфом к ней послужили слова Св. Бернанда: «Но для чего же перед взорами читающих братьев эта смехотворная диковинность, эти странно безобразные образы? К чему тут грязные обезьяны? К чему дикие львы? К чему полулюди?» Находит ли читатель в рассказе ответы на вопросы, поставленные в эпиграфе?

2. Можно ли назвать рассказ зарисовкой, описанием визита рассказчика в несимпатичную семью?

3. Как вы думаете, почему писатель заменил первоначальное название рассказа «Как мне жаль» именем фантастического существа?

4. Показал ли Н. Кононов, как возникают в современном обществе люди-монстры, подобные героям произведения?

5. Рецензируя произведение, целесообразно сопоставить свою точку зрения с позициями других. С какой из реплик читателей вы бы согласились и почему;

• «*Николай Кононов — новатор*»;

- *«Художественный мир Н. Кононова не исключает возможности множественных толкований»;*
- *«Кононовский стиль плотный, вязкий, перенасыщенный подробностями и тропами»?*

Сергей Солоух (1959)

Сергей Солоух (псевдоним) родился в 1959 году в Ленинске-Кузнецком. По образованию горный инженер. Первые рассказы были опубликованы в 1982 году в газете "Московский Комсомолец". Роман "Шизгара" (1989) опубликован в 1993 г. в журнале "Волга", номинирован на Букеровскую премию годом раньше (по рукописи). Вторым роман "Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева" (1995) вошел в шорт-лист премии Анти-Букер. С января по декабрь 1998 года ежемесячно публиковал в интернете по рассказу из цикла "Картинки" (отдельное издание в 2000 г., шорт-лист премии Анти-Букер). Лауреат и победитель конкурса "Тенета" в 1998 и 1999 гг. Опубликовал также биографию американского музыканта Фрэнка Заппы "Паппа Заппа", создатель сайтов "The Home Of Frank Zappa Heritage Studies" и "RU: История Интернета в России". Постоянный автор сайта "Блюз в России".

Поединок

Греческий унциал сделал нас европейцами. С конской сбруей глаголицы, ее оружейным метизом мы бы навсегда остались удалыми степняками, безрассудными храбрецами-азиатами. Как вы считаете, Владимир?

Владимир Васильев молчит.

Слишком много глаз, Ольга Михайловна, разве вы не понимаете? А те, что заняты морским боем, имеют длинные, чуткие уши. Уж вам-то известно, как невероятно обостряется слух от долгого сидения на цепи в собачьей будке парты.

Пожалуй.

Мокрый локон на круглом лбу - словно хвостик черноглазой зверюшки, одно неосторожное движение, и он тут же скроется в непроходимых зарослях мальчишеских кудрей.

А ведь я вам, Володя, собираюсь выкатить пять, зная прекрасно, что вы это опять превратно истолкуете, примете за продолжение кина, очередной сердолик в коллекцию счастливых камешков... когда на самом деле все гораздо проще, у вас товар, у нас купец, вы Маркса не читали?

Копеечный мел ложится на доску комками, словно первая помада на губы старшеклассницы.

- Хорошо. Садитесь.

Юношеская сутулость заставляет думать, что мальчишки рождаются дважды. В семнадцатилетнем эмбрионе мужчины не меньше семидесяти килограмм.

- Ольга Михайловна, а вопрос можно?

- Можно.

- Кто такая зегзица?

- Которая кычет?

- Ну, да.

Птица. Пернатая особь. Лесной метроном с волнистой окраской брюшка, аккомпаниатор молотобойца-дятла.

Классный журнал, словно дырявое сито старателя, ни одной золотинки, лишь арабские червячки натуральных чисел. Некому склевать. И так, следующим будет... Пойдет к доске... А впрочем, не успели... Звонок, как сладкий приступ зубной боли. Десятиминутный бюллетень нетрудоспособности. Подпись. Печать.

- Все свободны.

Окно учительской распахнуто настежь. Директор школы, Павел Петрович Востряков - морж несгибаемый, отличник ГТО, велел проветривать вверенные ему помещения зимой и летом. Изрешеченный пулеметными очередями капли, дырявый мартовский воздух хочется хватать губами и втягивать ноздрями, но баловник мечтает только об одном, за шиворот залезть и побыстрее.

- Виктор Андреевич, мне кажется, уже достаточно озона.

- Ольга Михайловна, я с вами скоро превращусь в подвальное растение, вялое и безжизненное.

Ну, уж конечно, Витя. Ты даже в вакууме будешь розовым и бойким, как после полусотни приседаний.

В школе пара физруков. И у того, и другого фамилии с орфографическими ошибками. Первый Грибцов, а второй Лоткин. Но если Д.Н.Лоткин, бывший жим-силой, ныне способен только крестиками однообразных рассуждений вышивать Суворова по безразмерной холстине педсоветов, то Витя Грибцов - единственный мужчина в коллективе моложе тридцати, да и вообще... Он каждый праздник дарит учительнице русского и литературы розы, цветы огромные и алые, как оригами из пионерской атрибутики.

За это благородное гусарство учительница ходит с ним в кино и посещает всякий раз его хрущевку однокомнатную, когда случается Марине Викторовне - Грибцовой-маме к сестре уехать в Кировский.

- Оля, ну почему ты не хочешь выйти за меня замуж?

Стать преподавателем словесности с неверной глухой гласной в корне? Да брось, закрыть глаза всего лишь на парность с Лоткиным, и сразу получают домашние грибки, цветы, лесная ягода в лукошке деревенском.

Вот-вот. Омлеты по утрам, побелка, субботнее окучиванье грядок, плетенье макраме и натирание мазью лыж в зависимости строгой от состоянья снежного покрова.

На стене среди прочих классиков портрет В.Маяковского. Штаны поэту-облаку заменяют трубы отопления. Стучать никто не пробовал?

- Да, чуть не забыл, Ольга Михайловна, вы там со своим мечтателем поговорите, а то он как не ходил, так и не ходит на уроки. При всей моей любви к искусству я ведь ему испорчу аттестат.

Классное руководство, оно же клевое и обалденное, но как не хочется тащиться на пятый этаж.

Ну, так и есть, все они под дверью кабинета биологии. Двадцать восемь человек на одну дохлую лягушку.

- Васильев, вас можно на минутку?

- Да?

- Вы почему весь месяц не ходите на физкультуру?

- Потому что Грибцов пообещал отучить меня на веки вечные писать на партах.

- А вы пишете?

- Ага.

На самом деле и на стенах тоже. Ольга Михайловна я Вас люблю, на двери лифта у нас в подъезде, я полагаю, не дворничиха гвоздиком царапала.

- И что, Виктор Андреевич вас прямо за руку поймал?

- Нет, он только подозревает.

Если мальчик выпрямится, он будет шире Витьки в плечах и на голову выше.

Электрический лобзик звонка привычно ломается, так и не успевая выпилить что-нибудь путное из фанерки школьного будня.

- Тема сегодняшнего урока - полет. Щекот славий успе, говор галичь убуди, а что между? Тюркские руны ночи - острая бронза ловцов единорога и овцетура. Кривые курятники вавилонских созвездий - жалкая попытка на огородные лоскуты разделить бескрайнюю синюю скифскую ширь. Не выйдет, не дадим, не позволим. Так ведь?

Ответить некому. Владимир Васильев бежит просроченный лыжный кросс. Он поклялся, он пообещал.

- Ольга Михайловна, а бебрян рукав - это значит шуба бобровая?

- Нет, это сорочка шелковая, легкая и кружевная, как парашютики цветов желтых и синих на берегах сибирских быстрых рек.

Дверь приоткрывается, но вместо носа в щелке поблескивает спортивный полубокс. Виктор Андреевич Грибцов.

Витя, почему бы тебе не выкинуть какой-нибудь отчаянный фортель, отрастить, например, волосы, черные и гладкие, как у крылатых воинов Тохтамыша?

Ты знаешь, на самом деле это и непрактично, раз, и непедagogично, два.

Шепот подобен шуршанию тараканьих лапок, он едва слышен, зато сверчок кистевого эспандера похаживает в новых сапогах.

- Оля, черт, не отвертись, Востряков мобилизовал, ага, ему новую мебель таскать. Я тебе ключ в карман пальто сунул. Чаек пока согреешь, то да се... Лады?

Идиотская школа, везде сквозняки, и в каждом красном углу растение буравчиком растет из кадки. Эта зеленая рептилия с гусиными лапами листьев однажды ночью непременно кого-нибудь придушит.

Ключ от Витиной квартиры действительно на самом доньшке кармана, припал к платочку, холодная железочка из маникюрного набора таежного медведя.

На закате весенний небосвод сверкает, словно алюминиевая сковородка. Где твой рассеянный, чтобы надеть бездумно набекрень?

- Ольга Михайловна, вы не торопитесь?

- Здравствуйте, Вера Федоровна... Нет, собственно, не очень.

Биологичка, Вера Федоровна Терентьева, усата, как гениальный изобретатель таблицы Менделеева в студенческую пору. Вот только борода, проклятая, пока что не растет.

- Тут, Олечка, плащи болгарские в универмаге больших размеров. Сегодня утром уже мерила, но с их зеркалами совершенно невозможно понять, как вещь сидит. Не зайдете со мной, так сказать, экспертом?

- Конечно.

На площади перед стеклянными витринами, где, кажется, совсем еще недавно стояла елка и лампочки накаливания цветных гирлянд пищали, справляя нескончаемые поросычьи поминки, нынче ломами лихо крушат лед. Мокрые звезды впиваются в прохожих, как злые водяные осы.

- Олечка, вы только не подумайте чего, но я сегодня нечаянно, пока Васильев ходил, мыл тряпку, открыла его тетрадку, а там между страничек ваша фотография. Вас не пугает это обстоятельство?

Обстоятельство места не очень, а действия, ну, может быть, слегка.

- Знаете что, Вера Федоровна, плащик и вправду неплохой, а вот что надо сделать, так это пойти прямо сейчас и у них же, здесь, на третьем этаже купить пуговицы поярче и покрупнее.

Ехать надо автобусом, а хочется подобно гоголям, что уже ходят в широких полыньях реки Томи, скользить, плыть ковшиком серебряным с холодной и прозрачной влагой.

Шаманским настоем, в котором отражаются рогатые знаки кочевников, солярные символы всадников - вся гортанная азбука первозданных хозяев земли и неба.

От остановки тропинка между черных, словно тонущих в суглинок, глинозем, сугробов ведет во двор, петляет среди еще холодного металла детских качелей, лесенок, лошадок и упирается прямо в подъезд пятиэтажки. Избитая ногами дверь вечно дрожит, из-за перегоревших осветительных приборов многоколенный змеевик лестничной клетки кажется полным накипи и мути.

На подоконнике между вторым и третьим темный силуэт.

- Ольга Михайловна...

- Васильев? Вы меня просто напугали... Что вы тут делаете?

- Простите, я нечаянно... пришел сказать, что все нормально с физкультурой. Мне Лоткин поставил четыре за четверть.

- Как так?

- А я ему поэму написал, у него у дочки день рождения завтра, ну, знаете, нет в мире краше Лоткиной Маши.

- Поэму?

- Поэму.

- Сегодня?

- Сегодня.

Там, где заканчиваются слова, оказывается, что губы мальчика шершавы и сочны, как спелая антоновка.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. В чем, по-вашему, заключается особенность повествовательной манеры автора? Чье внутреннее состояние писатель передает при помощи несобственно-прямой речи?

2. Определите свое отношение к мнению рецензента Н. Александрова, высказанному в статье «Картинки С. Солоуха»:

«Автор не описывает прямо действие, пейзаж, человека, то есть не дает объективного отстраненного описания, но как будто полностью идентифицируется со взглядом самого героя, видит его глазами происходящее здесь и сейчас.»

Герою же, который сам участвует в действии, нет нужды подробно распространяться о том, что, собственно говоря, случилось. Его взгляд на совершающиеся события неотделим от внутренней рефлексии, настроения, эмоций.

Таким образом и читатель лишен возможности отстранения. Он видит то, что видит герой, как если бы при съемках фильма камера была привязана к герою. Он должен уподобиться герою, но намеками понять обстановку действия, разобраться в том, что все это значит».

3. В рассказ вводится портрет Маяковского: «На стене среди прочих классиков портрет В. Маяковского. Штаны поэту-облаку заменяют трубы отопления. Стучать никто не пробовал?» Упоминание о «поэте-облаке» вызывает в сознании строки: «не мужчина, а облако в штанах». Но в произведении С. Солоуха все приземляется: штаны — это отопительные трубы, по которым можно постучать. В чем смысл таких ассоциаций? Связаны ли они с внутренней жизнью героев, обстоятельствами, в которые их помещает автор?

4. Почему писатель выбирает такое название для рассказа? О каком «поединке» идет речь?

5. Автор пишет: «...Юношеская сутулость заставляет думать, что мальчишки рождаются дважды. В семнадцатилетнем эмбрионе мужчины не меньше семидесяти килограмм». Как разрабатывается тема второго рождения в рассказе?

6. Какое высказывание о произведениях С. Солоуха кажется наиболее убедительным? Обоснуйте вашу позицию.

«По чувству стиля, изяществу языка, ритму фразы, тонкой лиричности он явно выделяется в современной прозе». (А. Немзер)

«Солоух прост и ясен, несмотря на видимую сложность». (Н. Александров)

«В рассказах немало блестящих строк, но общее впечатление — скучно. Не оттого, что рассказано плохо (рассказано хорошо), не оттого, что неинтересна сама тема, а именно потому, что форма и содержание как-то не соответствуют друг другу». (Интернет-читатель)

Дополнительные вопросы

Прочитайте рассказ С. Солоуха «[Крыжовник](#)» (сб. «Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева». М., 2002) и выскажите о нем мнение.

Ольга Сульчинская (1966)

Ольга Владимировна Сульчинская родилась в 1966 г. в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и Высшую школу гуманитарной психотерапии. Работала редактором, психологом, копирайтером и др. Любимые писатели - Гилберт К. Честертон, Торнтон Уайлдер, Уильям Голдинг. Любимый композитор - Антонио Вивальди. Стихи и рассказы публиковались в журналах "Знамя", "Новый мир", "Октябрь".

Настоящее

Сходя с ума, испытываешь страшное одиночество. Страх, что тебе не найти того, кто сможет разделить твои мысли, сводит тебя с ума.

К.М.

Сходящий с ума испытывает страшное одиночество. Он лежит на дне ванны и держит в поднятой руке душ, ярко-теплые струйки приятно пощипывают кожу. Он недавно открыл, что времени нет. Или есть все одновременно: настоящее — прошлое — будущее. То есть мы либо уже давно-давно умерли, либо нам только предстоит родиться в незапамятном будущем. И сейчас и есть будущее того прошлого, где нас и в заветах еще нет, и одновременно прошлое того будущего, где мы давно умерли. Отчего же печаль? Он знает, что если поделиться этим знанием с людьми, то прошли бы их горести вмиг. Но как донести его, знание, такое отчетливое, как переложить его из своей головы в другую, где время поделено на непересекающиеся отрезки?

Вода вдруг становится кипятком — наверно, сосед снизу включил холодную воду. Кожа мгновенно розовеет и начинает зудеть. Сходящий с ума выпрыгивает из ванны и бежит мазать бедное место бальзамом “Спасатель”.

После ванной с электрическим светом странно обнаружить, что снаружи сияющий день и в окне трепещет и дышит подвижная листва — она ходит ходуном, словно ее щекочут. Оторвав глаза от хохочущей листвы, голый сходящий с ума вытирается полотенцем, старательно обходя пострадавшее бедро. Потом он одевается и перед зеркалом видит себя в клетчатой юбке и вспоминает, что он женщина и зовут его Лена. Но тут же забывает про это, потому что начинает сходить с ума дальше.

Почему так одиноко в этом несуществующем времени, и ты не можешь позвонить и сказать “приходи”, потому что неизвестно, придет ли. Вдруг не придет? Ожидание просто еще можно как-то выносить, а вот ожидание после “приходи”, если не пришел, к нему же тогда прилипает раненое самолюбие. Вернее, самонелюбие, потому что именно что невозможно любить себя такой — к которой не пришел, ненавидишь себя за то, что не пришел, говоришь: вот ты какая — такая, что он к тебе не пришел. Сколько я могу ждать? Сколько я могу ждать?

Сходящий с ума проголодался, он хочет пожарить себе котлеты. Он помнит, что для этого нужно открыть холодильник. Но как он открывается? Ключа от холодильника нет на той связке, которая торчит в двери.

Если бы пришел к Лене, он бы знал, как пожарить котлеты, он нашел бы недостающий ключ, ему было бы не все равно, голодная она или нет. А так — в конце концов, какая разница?

Когда-нибудь пройдет несколько тысяч лет и станет совершенно неважно, было ли что-нибудь съедено вот именно этим человеком-женщиной, одной из миллионов женщин, живших на этой планете в тот день.

Я не понимаю только, если все равно, если сегодня — далекое прошлое того будущего, когда станет все равно, почему я до сих пор все чувствую?

Вот если бы точно знать, что ты придешь — тогда бы я могла позвонить. Если бы не бояться, что твой голос будет ледяным, как замороженные котлеты в запертом холодильнике. Знать бы, что ты скажешь: “Я уже еду. Я буду у тебя через час”, — если бы так, я бы согласилась, чтобы час длился вечность, я могла бы ждать целую вечность, если бы знать, что ты придешь. Но знать наверняка, что придешь, можно только если ты уже пришел. Потому что пока событие не состоялось, оно каждую секунду имеет возможность так никогда и не состояться — мало ли что. Поэтому звонить и говорить “приходи” имеет смысл, только если ты уже пришел. Но тогда зачем звонить и что-то говорить?

Сходящий с ума испытывает большие трудности с мышлением. Чем он логичнее мыслит, тем к более странным выводам приходит. Концы с концами не сходятся. Можно их свести — но тогда нарушится вся логика. Тогда получится, что можно вообще не думать — а просто в конце сказать готовый ответ — и все. Но тогда получится, что можно сказать все, что захочешь, что ответ может быть любым. Потому что если к нему не ведет логическая цепочка, то он ничем не обусловлен, и истинность его невозможно проверить. Ты можешь сказать любой ответ, но ты никогда не будешь знать, правду ли ты говоришь. Сходящему с ума нелегко думать.

И потом, он очень тревожится. Чем больше тревога, тем труднее думать. Тем больше хочется лечь и спрятаться. Может быть, вечность ожидания закончилась? Если сегодня — прошлое того будущего, в котором ты пришел, то можно ли сказать, что ты уже пришел в будущем?

Раздается звонок в дверь. Сходящий с ума надевает кофточку и открывает дверь. Это сосед. У него волосы трех цветов. Очень светлые, светлые и рыжие. Он говорит, что в ванной по стене течет вода. Почему бы ей не течь в ванной. Ванная на то и ванная, чтобы там вода текла. Он говорит, что в его ванной вода выключена, а вода течет. Как же она может течь, если она выключена? Оказывается, сходящий с ума не был внимателен и не закрыл воду, выскакивая из ванны, и теперь она из его ванны течет через край и через пол в соседскую ванную. Не беда, это поправимо. Выключим, вытрем, не надо беспокоиться, потому что будущее, когда все вытрем, оно как бы уже сейчас, а когда не вытерто — оно уже сейчас прошлое того будущего, где все хорошо.

Сходящий с ума закрывает воду в ванной. Возвращается в коридор — сосед ушел, а входная дверь не закрыта. Надо ее закрыть. Так. Кто-то, значит, пришел, раз дверь открыта была. Это ты пришел. Я знала, что ты придешь. Дай я поцелую тебя. Я так и знала, что вечность закончится и ты придешь. Теперь у нас будет настоящее время. Я могу

даже позвонить тебе, хочешь? Хотя теперь это уже не важно. Ну конечно, чтобы открыть холодильник, не нужно ключа. Воду в ванной я уже закрыла, тоже без ключа. А холодильник просто открывается, сам по себе, и закрывается так же — стоит только легонько толкнуть белую дверцу. Как я рада тебе, ты даже не представляешь, что можно так радоваться. Какое лето за окном, правда? Сколько солнца. Колышется все, какой ветер, и шумит. Будем жарить котлеты и смотреть в окно. Ты любишь смотреть в окно?

Сошедший с ума не испытывает одиночества. Потому что он больше не один.

Игра в метро

Взрослые боятся играть. Их научили думать об ответственности.

Мне нравятся светлые ботинки этого парня и его голубые джинсы. Каждый раз, когда мой взгляд попадает на них, внутри у меня отзывается. Не знаю, может, светлая замша напоминает мне горы, а джинсы — небо. Его лицо меня не интересует. Но мне нравится сочетание песочного с голубым. Почему, спрашивается, я должна думать о его бессмертной душе?

Я отвожу взгляд от ботинок, смотрю на девушку, которая сидит в самом конце вагона нога на ногу — ярко-белая блондинка. Неужели и у нее есть душа? Замша поворачивает голову и смотрит туда же. Мне нравится эта девка, а ему? Украдкой подглядываю — фу, какая блеклая физиономия у Замши, и без всякого выражения, ничего не поймешь. Ладно, едем дальше. Тут вдруг он встает. Выходит? Нет, просто встал у двери. Стоит посередине между мной и белой. Поглядывает то на нее, то на меня. Нет-нет, мне есть дело только до твоих ботинок. Если бы мы заговорили — у нас не нашлось бы и трех тем. И вообще, я выхожу, всем спасибо.

Людей в метро несметное множество. Каждый из них — возможность. Ведь они совсем рядом. И, в принципе, к каждому можно подойти, заговорить, можно войти в его жизнь, разузнать, как там что устроено, и продолжать время вдвоем — с этого момента. Но войдя в чужую жизнь, ты уже никогда не вернешься в то время, когда знакомство еще не состоялось. Ты начнешь влиять на другого человека. Из-за тебя он сделает одно и не сделает другого. Вот что будет, если я подойду к этой девушке на высоченных каблуках и в вязаной шапочке-ажур и спрошу: “Кого вы ждете?”

На переходе с “Марксистской” на “Таганскую” на лестнице разбрызгана вареная вермишель. Побольше на нижней ступеньке, вверх по убывающей. Этот бедняга, которого вырвало на лестнице, мало того что пил какую-то скверную водку, так еще и закусить ему было нечем кроме вареной вермишели. Какая скучная у него жизнь! У меня желудок сжимается от жалости к безвестному идиоту.

Я сажусь на боковое сиденье, чтобы удобно смотреть в соседний вагон. Люди там как на экране. Могу рассматривать их сколь угодно беззастенчиво. Через два стекла мой взгляд неосязаем. Никто не поворачивается в мою сторону.

На “Кузнецком” заходит. Очень высокий, небось, колени будут на полпрохода, когда сядет, — накрест от меня, на такое же сиденье на троих. Профиль, длинные волосы, в руках скрипичный футляр. Для скрипача его лицо слишком резкое, слишком интеллектуальное. Может, это не его скрипка? Или вообще пустой футляр.

Он улыбается. Знаю это выражение. Я так улыбаюсь, когда на меня смотрят. Между нами возникает “ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь”. Игра продолжается. И вдруг на “Беговой” он вышел! Наверно, на электричку. Жаль. Но раз он догадался, что я не просто смотрю, а на него смотрю, то я не желаю провожать его взглядом. Из чистого упрямства не поворачиваю головы, продолжаю смотреть, куда раньше — на место, с которого он встал.

И тут спиной понимаю, что он не ушел, а вошел в мой вагон. Я не оборачиваюсь. Теперь я его вижу: отражение его в стекле передо мной. Значит, ощущение в спине меня не обмануло. Поезд тронулся. Я поворачиваюсь, но смотрю не на него, а в даль вагона. Я не должна на него смотреть — если мы встретимся глазами, он подойдет и заговорит.

“Полежаевская”. “Осторожно, двери закрываются, сле...” — и тут я быстро поднимаюсь и выскакиваю из вагона, двери захлопываются за мной. Он подается вперед, но поздно, двери закрыты. Вот теперь можно смотреть. Мы смотрим друг другу в глаза через дверь. Радужка темно-серая, с черным ободком. Я люблю такие глаза. Он подходит к двери и кладет ладонь на стекло под “не прислоняться”. Я кладу свою — со своей стороны. Стекло толстое, не пропускает тепла. Мне так безумно жаль, что оно между нами. И это такое облегчение — знать, что уже ничего нельзя поделать. Мы смотрим друг на друга без улыбки, смотрим изо всех сил. Поезд трогается. Я отнимаю руку и делаю несколько шагов, но и взгляд разрывается.

Я никогда не доигрываю до конца. Я боюсь. Меня научили думать об ответственности. О том, что будет наутро. О том, что каждому из нас может быть больно.

Взрослые люди боятся играть.

Нигде не сказано

Нигде не сказано, что этот плод был привлекателен.

Г.К. Честертон

Эти яблоки не были ни спелыми, ни вкусными. По правде сказать, они никогда так и не созревали. Маленькие, темно-зеленые, с мохнатенькими хвостиками, они крепко держались на своих черенках. Потом они так и засыхали на ветках и даже в середине зимы продолжали висеть, как дохлые летучие мышки. Короче, ожидать от них приятного вкуса не приходилось. Интрига была в другом.

Яблоня-дичок, на которой они росли, стояла на окраине сада. Она была не наша. Почему-то считалось, что она принадлежит Федору Саввичу, чье громадное садовое хозяйство соседствовало с нашим скромным участком. Федор Саввич был высокий чисто выбритый старик в белой рубашке. Однажды он пригласил всю нашу семью — то есть Маму, Папу,

брата Сережу и меня — к себе в гости. Он водил нас по аллеям и показывал свои деревья. Вот где были настоящие чудеса! Там было дерево с удивительной ветвью. На всем дереве росли яблоки, а на этой были странные плоды, по виду схожие с яблоком, но имеющие грушевую медвяную, сочащуюся соком мякоть. Один такой фрукт (на ветке их было всего три) Федор Саввич торжественно снял и дал нам попробовать. Мама и Папа отказались в нашу пользу, и мы с братом по очереди вонзали зубы в плод, пока взрослые в благоговейном молчании взирали на нас с высоты своего роста, пока мы не перевели дух, утирая замаранные сладким соком щеки. Брат положил отгрызок в карман.

Потом он объяснил, что хотел вырастить такое дерево у нас. Была выковырена специальная ямка подальше от взрослых глаз — мы скрывали наш замысел, — и Сережа ссыпал туда с ладони совершенно заурядные на вид семечки. Я поливала землю из синего пластмассового ведерка с ребристой красной ручкой. Из того самого, с которым папа показывал мне фокус — налив ведерко водой, крутил его, но даже когда ведерко оказывалось наверху, вода не выливалась. Я поливала из него землю, вода быстро впитывалась, земля пахла сыростью, к концу лета из нее выросла крапива.

Так вот, по какой-то загадочной причине маленькая корявая яблоня-дичок на окраине нашего сада считалась принадлежащей Федору Саввичу, и яблоки с нее рвать не разрешалось.

— Если тебе надоели наши яблоки, давай я куплю у тети Веры сливы, хочешь? — вот и все, чего я добилась от мамы своими вопросами.

Мы выступили в пиратский поход, прячась за кустами и подавая друг другу тайные знаки. Мы зарубили нападшую на нас крапиву, я упала с качелей, беря на abordаж королевское судно. После необходимых медицинских мероприятий (пиратский платок теперь красовался у меня на ноге, кое-как прикрывая ссадину на колене) мы продолжили победоносное шествие по неведомым землям. С тыльной стороны дома нашли отсыревший том Карла Маркса с вырванными из середины страницами и по нему отыскивали спрятанный аптеками клад — им оказался гладкий белый камешек, который Сережа положил в карман. Клад охранялся Великим Змеем — огромным розовым червяком, который пульсировал кольчатым телом, пока не удрал от нас подальше. Доблестные и уставшие, мы вышли к забору. Нам хотелось увенчать свой поход каким-нибудь великолепным подвигом, и, пузырясь отвагой, мы нарушили запрет и сорвали зелененькое яблочко с дичка. Оно было кисло-горьким, мы по очереди откусили от него и стали ждать кары. Но ничего не произошло, кроме того, что наступали сумерки и пора было возвращаться домой.

У нас была теперь своя страшная тайна. За ужином мы безропотно съели по порции овсяной каши, а когда дело подошло к чаю с пряниками, мы рассказали Маме и Папе, что играли в индейцев, и они радовались за нас. Но мы не могли разделить их радость. Каким-то образом она становилась невзаправдашной — мы-то знали, что если бы они знали, они бы не радовались. Прошел еще день. Не сговариваясь, мы отправились к Федору Саввичу. Вышли за калитку, долго шли вдоль забора.

В конце концов мы отыскали его в одной из уходящих в бесконечность аллей. Он приматывал веточку к дереву и попросил нас подождать. В полном молчании мы ждали, пока он закончит.

Потом мы признались, что сорвали яблоко с дичка.

— Они же невкусные, — сказал старик.

— Дело не в этом. Мы сорвали с вашей яблони, — сказал Сережа.

— Без спросу, — уточнила я.

— Допустим, — согласился наконец Федор Саввич, — и что?

— Наверно, вы должны наказать нас.

Он задумался. А потом сказал: “Я накажу вас так. С сегодняшнего дня всякий раз, когда вас кто-то полюбит, вы усомнитесь, правда ли это. А когда вас будут ругать и гнать, вы будете точно знать, что все происходит на самом деле”.

Мы стояли перед ним, замерев, и даже не переглядывались. Он отпустил нас движением руки и вернулся к своим занятиям. А мы отправились домой.

К концу лета ребристая ручка у моего ведерка отвалилась. Осенью Сережа пошел в школу.

Любовь

Десять лет я люблю Тимура Кибирова. Его книжка у меня совсем истрепалась — я читаю из нее всем друзьям и знакомым. “Пишем в книжки записные по-над бездной роковой”. Или “Не стыдно ли тебе? Не страшно ли тебе?”. Я, можно сказать, живу с его бессмертными строками, как северные корейцы с идеями чучхе. И десять лет я думаю — вот встречу когда-нибудь Тимура Кибирова и скажу ему, что он гений и какое это мое большое личное счастье, что все это написано — словами на бумаге. Но как-то я с ним все не встречаюсь. И вдруг.

Захожу я однажды в “Знамя”. Там — самый уютный отдел поэзии в Москве. Ольга Юрьевна Ермолаева — его редактор. Обычно она очень приветлива, всех входящих друг другу представляет. Можно посидеть, поговорить. А тут она над бумагами, вид имеет крайне занятой. И так и говорит — я ужасно сегодня занята. Ну, пошла я со своей дискеткой в машбюро, там мне все распечатали, приношу. Смотрю — сидит у нее какой-то дяденька, лицо его мне показалось смутно знакомым. Здравуюсь вежливо. Он отвечает вежливо. Ну, думаю, Ольга Юрьевна нас представит — тогда и выясним, правда знаком или показалось. Но она нет. И присесть мне не предлагает. Ладно, думаю, занят человек, не хочет разговоров общих заводить. Можно понять.

Отдаю распечатку, говорю — я тогда еще позвоню, скажу, что именно осталось от того, что “Новый мир” хотел брать. Прощаюсь, дяденька тоже говорит “до свиданья”, я думаю — точно знаком, но откуда? Но не спрашивать же. Вышла я в коридор. А коридоры там

длинные. Иду. Тут Ермолаева меня догоняет — вы все-таки отметьте здесь, что “Новый мир” не взял, — и показывает мне на кресло в коридоре.

Я сажусь, достаю списочек, начинаю отмечать и слышу, как она кому-то кричит: “Кибиров пришел! Хочет...”. В общем, что-то там хочет, не помню уже что. И тут я понимаю, что этот смутно знакомый дяденька и есть любимый мной Тимур Кибиров. Сердце у меня упало и ноги стали ватными. Пришлось бы сесть, если б я уже не сидела. А так нормально, только руки дрожат. Понятно, что я его не узнала, в книжке-то моей фотография десятилетней давности. И вот ставлю я галочки влажной рукой и думаю.

Во-первых, я думаю о том, что надо же! Все-таки ведь я стихи его люблю, не его самого — не реального мужчину из плоти и крови. (Плоть и кровь автора, для любви читателя к поэзии, вообще, надо сказать, лишнее. Потому что ведь — как свое любишь. Как часть себя. А тут выясняется, что вот этот человек вроде как на эти стихи имеет какие-то права. То есть на часть меня права имеет. И куда это годится?) Короче — люблю-то я стихи, а не его. А симптомы, однако, совершенно те же. И заговорить так же страшно. И так же я думаю, что зря я платья не надела, а в старых штанах пришла. Видно, любовь есть любовь.

Во-вторых, я, конечно, думаю, сказать—не сказать. Очень хочется — ведь десять лет, можно сказать, ждала такого случая. С другой стороны, нас не представили. Самой представиться? Сказать, я, мол, такая-то и очень ваши стихи люблю? Прямо, “Я Дон Гуан — и я тебя люблю”. После этого надо гибнуть.

Просто сказать: “Уважаемый Тимур, мне ваши стихи очень нравятся”, — это как-то по-школьному. И сколько он таких школьных признаний уже получил? А я все-таки про себя много понимаю.

Думала я думала, чувствую, чем больше я думаю, тем хуже мне становится. Уже и язык к нёбу присыхает. Решила — ладно, пусть будет как будет. “Явлюсь импровизатором любовной песни”. Ну вот, захожу я со всеми своими листками опять же к Ермолаевой. Кибиров сидит за столом над версткой, головы не поднимает. Отдала я ей распечатку с пометками, что-то там еще скрепкой скрепила, что-то сказала — он так головы и не поднял. Уткнулся носом в верстку, только лысина просвечивает. Посмотрела я на нее с грустью, сказала еще раз “до свиданья!”, но он и тут от верстки не оторвался. Так я и ушла, ни слова о любви своей не сказав.

Иду по улице и плачу.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Какие стороны мироощущения автора раскрывают интонация и сюжет рассказов «Настоящее», «Игра в метро», «Нигде не сказано», «Любовь»?
2. Как можно понять замысел писательницы, сделавшей названием одного из рассказов часть эпиграфа: «Нигде не сказано, что этот плод был привлекателен»?

3. Какой дополнительный смысл вкладывается в слова «Мама» и «Папа», написанные в тексте с большой буквы? Обогащается ли благодаря этому содержание произведения?
4. Помогают ли конкретные детали проникнуть в замысел писателя?
5. Каждый из рассказов завершается значимым предложением: «Взрослые люди боятся играть», «Осенью Сережа пошел в школу», «Иду по улице и плачу». С какой целью автор прибегает к такому приему? В какой мере это помогает понять основную мысль произведения?
6. Напишите рецензию на один или несколько рассказов О. Сульчинской.

Виктор Пелевин (1962)

Виктор Олегович Пелевин родился в 1962 году семье военного. Окончил Московский энергетический институт (1989), учился в аспирантуре МЭИ и заочно в Литературном институте им. М. Горького (не закончил). Литературный дебют – публикация на страницах журнала «Химия и жизнь» рассказа «Дед Игнат и люди» (1989). Пелевин – автор книг: «Синий фонарь. Рассказы» (1992); «Омон Ра» (1993); «Чапаев и Пустота. Роман» (1996); «Жизнь насекомых. Романы» (1997); «Жёлтая стрела. Повести, рассказы» (1998); «Generation «П». Роман» (1999); «Затворник и Шестипалый. Повести» (2001); «Хрустальный мир» (2002); «Встроенный напоминатель» (2002); «ДПП (NN) (Диалектика переходного периода из Ниоткуда в Никуда): Избранные произведения» (2003). В своих произведениях Пелевин создаёт фэнтезийный, виртуальный мир, демонстрирует множество других текстов, цитат, образов, игру со словом, создавая таким образом интертекстуальное пространство. Характерные особенности прозы Пелевина обозначил критик А. Немзер: «Пелевин всегда склеивал сюжет из разрозненных анекдотов – то лучшие, то хуже придуманных (взятых взаймы в городском фольклоре, американском масскульте, у братьев по цеху). И всегда накачивал тексты гуманитарными мудростями. Буддизм, теории массмедиа, юнгианство, структурный анализ мифа, неомарксизм, кастанедовщина – кучу модных заморочек «перепёр» он на «язык родных осин». Проза Пелевина переводится на иностранные языки, вызывает пристальный интерес и читателей, и критиков.

Сайты писателя: <http://pelevin.nov.ru> <http://www.pelevin.ru>

Жизнь и приключения сарая номер XXII

Вначале было слово, и даже, наверное, не одно — но он ничего об этом не знал. В своей нулевой точке он находил пахнущие свежей смолой доски, которые лежали штабелем на мокрой траве и впитывали своими гранями солнце, находил гвозди в фанерном ящике, молотки, пилы и прочее — представляя все это, он замечал, что скорей домысливает картину, чем видит ее. Слабое чувство себя появилось позже — когда внутри уже стояли велосипеды, а всю правую сторону заняли полки в три яруса. По-настоящему он был тогда еще не Номером XII, а просто новой конфигурацией штабеля досок, но именно эти времена оставили в нем самый чистый и запомнившийся отпечаток: вокруг лежал необъяснимый мир, а он, казалось, в своем движении по нему остановился на какое-то время здесь, в этом месте.

Место, правда, было не из лучших — задворки пятиэтажки, возле огородов и помойки, — но стоило ли расстраиваться? Ведь не всю жизнь он здесь проведет. Задумайся он об этом, пришлось бы, конечно, ответить, что именно всю жизнь он здесь и проведет, как это вообще свойственно сараям, — но прелесть самого начала жизни заключается как раз в отсутствии таких размышлений: он просто стоял себе под солнцем, наслаждаясь ветром, летящим в щели, если тот дул от леса, или впадая в легкую депрессию, если ветер дул со стороны помойки, депрессия проходила, как только ветер менялся, не оставляя на его неоформившейся душе никаких следов.

Однажды к нему приблизился голый по пояс мужчина в красных тренировочных штанах, в руках он держал кисть и здоровенную жестянку краски. Этот мужчина, которого сарай уже научился узнавать, отличался от всех остальных людей тем, что имел доступ внутрь, к велосипедам и полкам. Остановясь у стены, он обмакнул кисть в жестянку и провел по доскам ярко-багровую черту. Через час весь сарай багровел, как дым, в свое время восходивший, по некоторым сведениям, кругами к небу, это стало первой реальной вехой в его памяти — до нее на всем лежал налет потусторонности и счастья.

В ночь после окраски, получив черную римскую цифру — имя (на соседних сараях стояли обычные цифры), он просыхал, подставив луне покрытую толем крышу.

«Где я, — думал он, — кто я?»

Сверху было темное небо, потом — он, а внизу стояли новенькие велосипеды, на них сквозь щель падал луч от лампы во дворе, и звонки на их рулях блестели загадочней звезд. Сверху на стене висел пластмассовый обруч, и Номер XII самыми тонкими из своих досок осознавал его как символ вечной загадки мироздания, представленной — это было так чудесно — и в его душе. На полках с правой стороны лежала всякая ерунда, придававшая разнообразие и неповторимость его внутреннему миру. На нитке, протянутой от стены к стене, сохли душица и укроп, напоминая о чем-то таком, чего с сараями просто не бывает, — тем не менее они именно напоминали, и ему иногда мерещилось, что когда-то он был не сараем, а дачей, или, по меньшей мере, гаражом.

Он ощутил себя и понял, что то, что ощущало, — то есть он сам — складывалось из множества меньших индивидуальностей: из неземных личностей машин для преодоления пространства, пахших резиной и сталью, из мистической интроспекции замкнутого на себе обруча, из писка душ разбросанной по полкам мелочи вроде гвоздей и гаек и из другого. В каждом из этих существований было бесконечно много оттенков, но все-таки любому соответствовало что-то главное для него — какое-то решающее чувство, и все они, сливаясь, образовывали новое единство, огороженное в пространстве свежескрашенными досками, но не ограниченное ничем, это и был он, Номер XII, и над ним в небе сквозь туман и тучи неслась полностью равноправная луна... С тех пор по настоящему и началась его жизнь.

Скоро Номер XII понял, что больше всего ему нравится ощущение, источником или проводником которого были велосипеды. Иногда, в жаркий летний день, когда все вокруг стихало, он тайно отождествлял себя то со складной «Камой», то со «Спутником», и испытывал два разных вида полного счастья.

В этом состоянии ничего не стоило оказаться километров за пятьдесят от своего настоящего местонахождения и катить, например, по безлюдному мосту над каналом в бетонных берегах или по сиреневой обочине нагретого шоссе, сворачивать в тоннели, образованные разросшимися вокруг узкой грунтовой дорожки кустами, чтобы, попетляв по ним, выехать уже на другую дорогу, ведущую к лесу, через лес, а потом упирающуюся в оранжевые полосы над горизонтом, можно было, наверное, ехать по ней до самого конца жизни, но этого не хотелось, потому что счастье приносила именно эта возможность.

Можно было оказаться в городе, в каком-нибудь дворе, где из трещин асфальта росли какие-то длинные стебли, и провести там весь вечер — вообще, можно было почти все.

Когда он захотел поделиться некоторыми из своих переживаний с оккультно ориентированным гаражом, стоящим рядом, он услышал в ответ, что высшее счастье на самом деле только одно и заключается оно в экстатическом единении с архетипом гаража — как тут было рассказать собеседнику о двух разных видах совершенного счастья, одно из которых было складным, а другое зато имело три скорости.

— Что, и я тоже должен стараться почувствовать себя гаражом? — спросил он как-то.

— Другого пути нет, — отвечал гараж, — тебе это, конечно, вряд ли удастся до конца, но у тебя все же больше шансов, чем у конуры или табачного киоска.

— А если мне нравится чувствовать себя велосипедом? — высказал Номер XII свое сокровенное.

— Ну что же, чувствуй — запретить не могу. Чувства низшего порядка для некоторых — предел, и ничего с этим не поделаешь, — сказал гараж.

— А чего это у тебя мелом на боку написано? — переменил тему Номер XII.

— Не твое дело, говно фанерное, — ответил гараж с неожиданной злобой.

Номер XII заговорил об этом, понятно, от обиды — кому не обидно, когда его чувства называют низшими? После этого случая ни о каком общении с гаражом не могло быть и речи, да Номер XII и не жалел. Однажды утром гараж снесли, и Номер XII остался в одиночестве.

Правда, с левой стороны к нему подходили два других сарая, но он старался даже не думать о них. Не из-за того, что они были несколько другой конструкции и окрашены в тусклый неопределенный цвет — с этим можно было бы смириться. Дело было в другом: рядом, на первом этаже пятиэтажки, где жили хозяева Номера XII, находился большой овощной магазин, и эти сараи служили для него подсобными помещениями. В них хранилась морковь, картошка, свекла, огурцы, но определяющим все главное относительно Номера 13 и Номера 14 была, конечно, капуста в двух накрытых полиэтиленом огромных бочках: Номер XII часто видел их стянутые стальными обручами глубоководные тела, выкатывающиеся на ребре во двор в окружении свиты испитых рабочих. Тогда ему становилось страшно, и он вспоминал одно из высказываний покойного гаража, по которому он временами скучал: «От некоторых вещей в жизни надо попросту как можно скорее отвернуться», — вспоминал и сразу следовал ему. Темная труднопонимаемая жизнь соседей, их тухлые испарения и тупая жизнеспособность угрожали Номеру XII, потому что само существование этих приземистых построек отрицало все остальное и каждой каплей рассола в бочках заявляло, что Номер XII в этой вселенной совершенно не нужен, во всяком случае, так он расшифровывал исходившие от них волны осознания мира.

Но день кончался, свет мерк, Номер XII становился велосипедом, несущимся по пустынной автостраде, и вспоминать о дневных ужасах было просто смешно.

Была середина лета, когда звякнул замок, откинулась скоба запора и внутрь Номера XII вошли двое — хозяин и какая-то женщина. Она очень не понравилась Номеру XII, потому что непонятным образом напомнила ему все то, чего он не переносил. Не то чтобы от женщины пахло капустой и поэтому она производила такое впечатление — скорее наоборот, запах капусты содержал сведения об этой женщине, она как бы овеществляла собой идею квашения и воплощала ту угнетающую волю, которой Номера 13 и 14 были обязаны своим настоящим.

Номер XII задумался, а люди между тем говорили:

— Ну что, полки снять — и хорошо, хорошо...

— Сарай — первый сорт, — отзывался хозяин, выкатывая наружу велосипеды, — не протекает, ничего. А цвет-то какой!

Выкатив велосипеды и прислонив их к стене, он начал беспорядочно собирать с полок все, что там лежало. Тогда Номеру XII стало не по себе.

Конечно, и раньше велосипеды часто исчезали на какой-то срок, и он умел закрывать возникавшую пустоту своей памятью — потом, когда велосипеды ставили на место, он удивлялся несовершенству созданных ею образов по сравнению с действительной красотой велосипедов, запросто излучаемой ими в пространство, — так вот, пропав, велосипеды всегда возвращались, и эти недолгие расставания с главным в собственной душе сообщали жизни Номеру XII прелесть непредсказуемости завтрашнего дня, но сейчас все было по-другому. Велосипеды забирали навсегда.

Он понял это по полному и бесцеремонному опустошению, которое производил в нем носитель красных штанов — такое было впервые. Женщина в белом халате давно уже ушла куда-то, а хозяин все копался, сгребая инструменты в сумку, снимая со стен жестянки и старые клееные камеры. Потом почти к двери подъехал грузовик, и оба велосипеда вслед за набитыми до отказа сумками покорно нырнули в его разверстый брезентовый зад.

Номер XII был пуст, а его дверь открыта настежь.

Но, несмотря ни на что, он продолжал быть самим собой. В нем продолжали жить души всего того, чего его лишила жизнь: и хоть они стали подобны теням, они по-прежнему сливались вместе, чтобы образовать его, Номера XII, вот только для сохранения индивидуальности требовалась вся сила воли, которую он мог собрать.

Утром он заметил в себе перемену — его не интересовал больше окружающий мир, а все, что его занимало, находилось в прошлом, перемещаясь кругами по памяти. Он знал, как это объяснить: хозяин, уезжая, забыл обруч, оставшийся единственной реальной частью его нынешней призрачной души, — и поэтому Номер XII теперь сильно напоминал себе замкнутую окружность. Но у него не было сил как-то к этому отнестись и подумать: хорошо ли это? Плохо ли? Все заливала и обесцвечивала тоска. Так прошел месяц.

Однажды появились рабочие, вошли в беззащитно раскрытую дверь и за несколько минут выломали полки. Не успел Номер XII почувствовать свое новое состояние, как волна

ужаса обдала его, показав, кстати, сколько в нем еще оставалось жизненной силы, нужной, чтобы испытывать страх.

По двору к нему катили бочку. Именно к нему. Даже на самом дне ностальгии, когда ему казалось, что ничего хуже случившегося с ним не может и присниться, он не думал о такой возможности.

Бочка была страшной. Она была огромной и выпуклой, она была очень старой, и ее бока, пропитанные чем-то чудовищным, издавали вонь такого спектра, что даже привычные к изнанке жизни работяги, катившие ее на ребре, отворачивались и матерились. При этом Номер XII видел нечто незаметное рабочим: в бочке холодело внимание и она мокрым подобием глаза воспринимала мир. Как ее вкатывали внутрь и крутили на полу, ставя в самый центр, потерявший сознание Номер XII не видел.

Страдание увечит. Прошло два дня, и к Номеру XII стали понемногу возвращаться мысли и чувства. Теперь он был другим, и все в нем было по-другому. В самом центре его души, там, где когда-то покоились омытые ветром рамы, теперь пульсировала живая смерть, сгущавшаяся в бочку, которая медленно существовала и думала, мысли эти теперь были и мыслями Номера XII. Он ощущал брожение гнилого рассола, и это в нем поднимались пузыри, чтобы лопнуть на поверхности, образовав лунку на слое плесени, это в нем перемещались под действием газа разбухшие трупные огурцы, и это в нем напрягались пропитанные слизью доски, стянутые ржавым железом. Все это было им.

Номера 13 и 14 теперь не пугали его — наоборот, между ними быстро установилось полубессознательное товарищество. Но прошлое не исчезло полностью - оно просто было оттеснено и смято. Поэтому новая жизнь Номера XII была двойной. С одной стороны, он участвовал во всем на равных правах с Номерами 13 и 14, а с другой — где-то в нем скрывались чувства — сознание ужасной несправедливости того, что с ним произошло. Но центр тяжести его нового существа лежал, конечно, в бочке, которая издавала постоянное бульканье и потрескивание, пришедшее на смену воображаемому шелесту шин.

Номера 13 и 14 объясняли ему, что все случившееся — элементарный возрастной перелом.

— Вхождение в реальный мир с его заботами и тревогами всегда сопряжено с некоторыми трудностями, — говорил Номер 13, — совсем новые проблемы наполняют душу.

И добавлял ободряюще:

— Ничего, привыкнешь. Тяжело только сперва.

Четырнадцатый был сараем скорее философского склада (не в смысле хранилища), часто говорил о духовном и скоро убедил нового товарища, что раз прекрасное заключено в гармонии («Это раз», — говорил он), а внутри — и это объективно — находятся огурцы или капуста («Это два»), то прекрасное в жизни заключено в достижении гармонии с содержимым бочки и в устранении всего, что этому препятствует. Под край его собственной бочки, чтоб не вытекало, был подложен старый философский словарь,

который он часто цитировал, он же помогал ему объяснять Номеру XII, как надо жить. Все же Номер 14 до конца не доверял новичку, чувствуя в нем что-то такое, чего сам Номер XII в себе уже не замечал.

Постепенно Номер XII и вправду привык. Иногда он даже чувствовал специфическое вдохновение, новую волю к своей новой жизни. Но все-таки недоверие новых друзей было оправданным: несколько раз Номер XII ловил быстрый, как луч из замочной скважины, проблеск чего-то забытого и погружался тогда в сосредоточенное презрение к себе — чего уж говорить о других, которых он в эти минуты просто ненавидел.

Все это, конечно, подавлялось непобедимым мироощущением бочки с огурцами, и скоро Номер XII начинал недоумевать, чего это его так занесло. Постепенно он становился проще и прошлое все реже тревожило его, потому что трудно стало догонять слишком мимолетные вспышки памяти. Зато бочка все чаще казалась залогом устойчивости и покоя, как балласт на корабле, и иногда Номер XII так и представлял себя — в виде теплохода, всплывающего в завтра.

Он стал чувствовать присущую своей бочке своеобразную доброту — но только с тех пор, как окончательно открыл ей что-то в себе. Огурцы теперь казались ему чем-то вроде детей.

Номера 13 и 14 были неплохими товарищами, и главное — в них он находил опору своему новому. Бывало, вечером они втроем молча классифицировали предметы мира, наполняя все вокруг общим пониманием, и когда какая-нибудь недавно построенная рядом будка содрогалась, он думал, глядя на нее: «Глупость... Ничего, перебесится — поймет...» Несколько подобных трансформаций произошло на его глазах, и это лишний раз подтвердило его правоту. Испытывал он и ненависть - когда в мире появлялось что-то ненужное, слава Богу, такое случалось редко. Шли дни и годы, и казалось, уже ничего не изменится.

Как-то летним вечером, оглядывая свое нутро, Номер XII натолкнулся на непонятный предмет: пластмассовый обруч, обросший паутиной. Сначала он не мог взять в толк, что это и зачем, — и вдруг вспомнил: ведь столько было когда-то связано с этой штукой! Бочка в нем дремала, и какая-то другая его часть осторожно перебирала нити памяти, но все они были давно оборваны и никуда не приводили. Однако ведь было же что-то? Или не было? Сосредоточенно пытаюсь понять, о чем же это он не помнит, он на секунду перестал чувствовать бочку и как-то отделился от нее.

В этот самый момент во двор въехал велосипед, и ездок без всякой причины дважды прозвонил звоночком на руле. И этого хватило — Номер XII вдруг все вспомнил.

Велосипед.

Шоссе.

Закат.

Мост над рекой.

Он вспомнил, кто он на самом деле, и стал наконец собой — действительно собой. Все связанное с бочкой отпало, как сухая корка, он почувствовал отвратительную вонь рассола и увидел своих вчерашних товарищей, Номеров 13 и 14, такими, какими они были. Но думать об этом не было времени — надо было спешить, потому что он знал, что проклятая бочка, если он не успеет сделать того, что задумал, опять подчинит его и сделает собой.

Бочка между тем проснулась, поняла, и Номер XII ощутил знакомую волну холодного отупения: раньше он думал, что это его отупение. Проснувшись, бочка стала заполнять его, и он ничем не мог ответить на это, кроме одного.

Под выступом крыши шли два электрических провода. Когда-то они проходили через вырез в доске, но уже давно выбились из него и теперь врезались оголенной медью в дерево на палец друг от друга. Пока бочка приходила в себя и выясняла, в чем дело, он сделал единственное, что мог: изо всех сил надавил на эти провода, используя какую-то новую возможность, появившуюся у него от отчаяния. В следующий момент его смела непреодолимая сила, исшедшая из бочки с огурцами, и на какое-то время он просто перестал существовать. Но дело было сделано - провода, оказавшись в воздухе, коснулись друг друга, и на месте их встречи вспыхнуло лилово-белое пламя. Через секунду где-то выгорела пробка и ток в проводах пропал, но по сухой доске вверх уже подымалась узкая ленточка дыма, потом появился огонь и, не встречая на своем пути никакого препятствия, стал расти и подползать к крыше.

Номер XII очнулся после удара и понял, что бочка решила уничтожить его. Он сжал все свое существо в одной из верхних досок крыши и почувствовал, что бочка не одна — ей помогали Номера 13 и 14, которые давили на него снаружи.

«Очевидно, — со странной отрешенностью подумал Номер XII, — для них сейчас происходит что-то вроде обуздания помешанного, а может — прорезавшегося врага, который так ловко притворялся своим...» Додумать не удалось, потому что бочка, всей своей гнилью навалившись на границу его существования, удвоила усилия. Он выдержал, но понял, что следующий удар будет для него последним, и приготовился к смерти. Однако шло время, а нового удара не было. Тогда он несколько расширил свои границы и почувствовал две вещи. Первой был страх, принадлежавший бочке, — такой же холодный и медленный, как все ее проявления. Второй вещью был огонь, полыхавший вокруг и уже подбирившийся к одушевляемой Номером XII части потолка. Пылали стены, огненными слезами рыдал толь на крыше, а внизу горели пластмассовые бутылки с подсолнечным маслом. Некоторые из них лопались, рассол в бочке кипел, и она, несмотря на все свое могущество, погибала. Номер XII расширил себя по всей части крыши, которая еще существовала, и вызвал в своей памяти тот день, когда его покрасили, а главное — ту ночь: он хотел умереть с этой мыслью. Сбоку уже горел Номер 13, и это было последним, что он заметил. Но смерть не шла, а когда его последнюю щепку охватил огонь, случилось неожиданное.

Завхоз семнадцатого овощного, та самая женщина, шла домой в поганом настроении. Вечером, часов в шесть, неожиданно загорелась подсобка, где стояли масло и огурцы. Масло разлилось, и огонь перекинулся на соседние сараи — в общем, выгорело все что

могло. От двенадцатого сарая остались только ключи, а от тринадцатого и четырнадцатого — по несколько обгорелых досок.

Пока составляли акты и объяснялись с пожарными, стемнело, и идти было страшно, так как дорога была пустынной и деревья по бокам стояли как бандиты. Завхоз остановилась и поглядела назад — не увязался ли кто следом. Вроде было пусто. Она сделала еще несколько шагов и оглянулась: кажется, вдали что-то мигало. На всякий случай она отошла в сторону, за дерево, и стала напряженно вглядываться в темноту, ожидая, пока ситуация прояснится.

В самой дальней видимой точке дороги появилось светящееся пятнышко. «Мотоцикл!» — подумала завхоз и крепче вжалась в дерево. Однако шума мотора слышно не было. Светлое пятно приближалось, и стало видно, что оно не движется по дороге, а летит над ней. Еще секунда, и пятно превратилось в совершенно нереальную вещь — велосипед без велосипедиста, летящий на высоте трех или четырех метров. Странной была его конструкция — он выглядел как-то грубо, будто был сколочен из досок, — но самым странным было то, что он светился и мерцал, меняя цвета, становясь то прозрачным, то зажигаясь до нестерпимой яркости. Не помня себя, завхоз вышла на середину дороги, и велосипед явным образом отреагировал на ее появление. Он снизился, сбавил скорость и описал над головой одуревшей женщины несколько кругов, потом поднялся вверх, застыл на месте и строго, как флюгер, повернул над дорогой. Провисев так мгновение или два, он тронулся наконец с места, разогнался до невероятной скорости и превратился в сверкающую точку в небе. Потом она исчезла.

Придя в себя, завхоз заметила, что сидит на середине дороги. Она встала, отряхнулась и, совсем забыв... Впрочем, Бог с ней.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. К каким размышлениям побуждает В. Пелевин читателя, начиная свое произведение строками из «Нового Завета»: «Вначале было слово...»?
2. В рассказе «чувство себя» свойственно различным строениям (сараям, гаражу)? Как вы думаете, в чем смысл использования такого приема?
3. Проследите, как переплетаются в произведении конкретные детали материального мира и мистические темы преодоления внеземного пространства. Чего добивается, по-вашему, автор, создавая такие переплетения?
4. Найдите кульминацию рассказа. В чем ее смысл?
5. Какие ассоциации с другими прочитанными вами произведениями русской классической и зарубежной литературы вызывает у вас гибель главного героя?
6. Подготовлен ли читатель к появлению «велосипедиста без велосипеда» в финале произведения?

Как вы понимаете последние строки рассказа: «Придя в себя, директор заметила, что сидит на середине дороги. Она встала, отряхнулась и, совсем позабыв... Впрочем, Бог с ней»? Почему писатель не считает нужным объяснить, о чем совсем позабыла директор? Какие чувства вкладывает, по-вашему, В. Пелевин в слова «Впрочем, Бог с ней»?

7. Согласились бы вы с мнением критика и писателя А. Гениса, что В. Пелевин пишет в жанре басни, «мораль» из которой должен извлекать сам читатель?

Дополнительные вопросы

1. Сравните «Жизнь и приключения сарая Номер XII» В. Пелевина с рассказом В. Набокова «Пильграм». Какая мысль объединяет эти произведения?

2. Прочитайте другие произведения В. Пелевина: «Принц Госплана», «Синий фонарь», «Гарзанка», «Онтология детства» (сб. «Встроенный напоминатель». М., 2002). Закономерно ли, что автора называют постмодернистом? Определение постмодернизма вы найдете в [Справочнике понятий и терминов](#):

Постмодернизм — философско-культурологическое течение, особое умонастроение. Постмодернизм возник во Франции в 60-е годы XX века в атмосфере сопротивления интеллектуалов тотальному наступлению массовой культуры на сознание человека. В России, когда рухнул марксизм как идеология, обеспечивающая разумный подход к жизни, ушло рациональное объяснение и наступило осознание иррациональности. Постмодернизм сосредоточил внимание на феномене раздробленности, расколотости сознания индивида. Постмодернизм не дает советов, а описывает состояние сознания. Искусство постмодернизма иронично, саркастично, гротескно (по И. П. Ильину).

3. Прочитайте рецензию ученика на рассказ «Принц Госплана» найдите в ней компоненты рецензии как жанра.

Повесть «Принц Госплана» написана в 1990 году одним из самых моих любимых писателей Виктором Олеговичем Пелевиным. Это произведение вошло во многие сборники научной фантастики, изданные как в нашей стране, так и за рубежом. Я начал читать Пелевина недавно, но мне сразу понравились его книги, написанные оригинальным языком, полные юмора и иронии. Они содержат глубокие мысли о современных читателю проблемах. Чтение его произведений позволило увидеть нашу сегодняшнюю жизнь и особенно недавнее прошлое совершенно в ином свете.

Чтобы понять творчество Пелевина, необходимо сказать несколько слов о стиле автора. Он относится к представителям постмодернизма. В чем же отличие этого течения от других литературных направлений?

Постмодернисты не стремятся отразить действительность адекватно, полагая, что реальная жизнь искусственна и в некотором роде является лишь нашей иллюзией. Цель постмодернизма не буквальное отражение жизни, как это было характерно, например, для

реалистических произведений, а создание собственной модели бытия, с одной стороны, несуществующей и невозможной, с другой — отражающей глубинную суть предметов и явлений.

Постмодернизм можно также назвать и типично игровым течением. Выдающийся нидерландский историк и философ Йохан Хейзинга в своих трудах (наиболее известна книга «Играющий человек») утверждает, что игра может спасти человека от творящегося вокруг него ужаса и что единственное средство противостоять эпидемии жестокости, стремительно поражающей нас, — смех и игра. Это и есть своеобразный способ обретения человеком внутренней свободы.

«Принц Госплана» — произведение, позволяющее увидеть и понять особенности стиля Пелевина и найти в нем многие черты постмодернизма. Жанр его однозначно определить трудно. Мне все же кажется, что это повесть, а не рассказ, несмотря на небольшие размеры. В произведении множество переплетенных сюжетных линий, разнообразных персонажей, противоположных друг другу и живущих по своим законам. В книге ощущаются и приключенческие, и философские мотивы.

Название выглядит странно. Какой принц может существовать в такой солидной организации, как «Госплан», для автора же символа бюрократической государственной системы. Но выбрано это название автором не случайно и заимствовано из названия весьма популярной в то время компьютерной игры «Prince of Persia», известной у нас под названием «Принц».

Главное действующее лицо этой игры — фигурка, изображающая принца. Игрок ведет ее через бесконечные игровые лабиринты, полные опасности, чтобы в конце спасти прекрасную принцессу. Игра достаточно сложна: она состоит из множества этапов, каждый из которых сложнее предыдущего. Проходя очередной этап, игрок приближается к заветной цели и на ступеньку повышает свое мастерство, но и его игроки становятся изощреннее и сильнее. Однако азартный игрок не просто управляет фигуркой — он сам как бы превращается в принца и устремляется по темным коридорам навстречу опасности. И только таким способом можно достичь успеха в игре. Сам писатель пишет об этом так: «Собственно говоря, чтобы добиться в игре успеха, надо забыть, что нажимаешь кнопки, и стать фигуркой самому».

Как я уже сказал, повесть была написана в 1990 году, в переломное для страны время. Повествование начинается детальным изложением той самой компьютерной игры. Главный герой произведения — Саша Лапин, работник Госснаба, занимающий там незначительный пост, заядлый игрок в «Принца». Все служащие этой организации не обременены ничем другим, кроме увлечения различными компьютерными играми. У читателя складывается впечатление, что вся эта огромная система создана лишь для того, чтобы узнавать секреты компьютерных игр. Зачастую Пелевин иронизирует, описывая отношения начальников и их подчиненных и показывая разветвленность бюрократического аппарата. Ярким примером служит эпизод, когда Сашу посылают в министерство устанавливать игру на компьютер замминистра. Почему они не работают, а играют? Потому что работы нет. Плановая система изжила себя, дойдя до абсурда и полного безделья тех, кто должен планировать. Но человек — существо

интеллектуальное и живое, и поэтому в недрах живой системы у него есть только два выхода: погубить себя или уйти в игру.

Невозможно без улыбки читать о взрослых людях, занимающихся игрой вместо того, чтобы работать. Но это произведение нельзя назвать и чисто сатирическим. Будучи весьма ироничным, Пелевин все-таки не высмеивает ни Госплан, ни другие реалии той эпохи. Писатель лишь создает смешные, а подчас грустные ситуации, и читателю самому предоставляется возможность оценить это со своих позиций.

Жизнь — иллюзия, ее цели — иллюзия. В чем же тогда смысл жизни? В избавлении от иллюзий или в поиске своей собственной, подходящей и устраивающей именно тебя иллюзии, которую можно назвать счастьем? Нет ответа. Слишком глубок вопрос. И в этом трагедия и смысл бесконечного и многообразного жизненного потока. Произведение привлекательно для меня как раз тем, что в нем нет готовых рецептов и ответов.

Повесть написана совсем не простым языком, но, читая ее, невозможно оторваться. Иногда встречаются словесные штампы. Например, «Саше в душу закралось нехорошее предчувствие». Такое предложение может быть сразу «забраковано» редактором. Но автор пишет так не из-за бедности языка. Повествование ведется от лица одного из героев, поэтому Пелевин и соотносит речь персонажа с уровнем его развития. Становится понятно, почему в тексте иногда появляются и нецензурные выражения. Как и в произведениях М. М. Зощенко, автор прячется за фигуру спародированного им повествователя.

Интересны и другие приемы, которыми пользуется Пелевин. Описывая возникшее у Саши чувство «Deja vu» (когда вам кажется, что то, что вы видите явно впервые, встречалось вами ранее), он нарочно повторяет целый набор фраз по ходу повествования, чтобы создать у читателя такое же ощущение. Я просто решил, что случайно перевернул несколько страниц назад, но, поняв, в чем дело, восхитился выдумкой писателя.

В стиле Пелевина обращают на себя внимание и некоторые другие особенности; тщательность, с которой автор передает нереальные сцены. «Сложенная из каменных плит лежанка, накрытая для мягкости ворохом истлевшего тряпья, чья-то берцовая кость, из которой Саша начал было долбить мундштук, да забросил, пара узких медных кувшинов, в одном из которых еще что-то оставалось, и лежащий на полу госснабовский бланк с планом первого уровня, успевший покрыться густым слоем пыли», создают у читателя картину, очень напоминающую живописные произведения великого Сальвадора Дали. Как и на полотнах этого знаменитого художника, в пелевинском повествовании самые абсурдные вещи получают детальное описание.

Обращает на себя внимание и кольцевая композиция произведения. В повести описан всего лишь один день, проведенный Сашей, начавшийся и закончившийся одним и тем же, — игрой на компьютере. Несмотря на множество прошедших событий, ничего реального и полезного никем сделано не было. А сколько еще будет вот таких дней в жизни героев Пелевина?

Этот писатель стал одним из моих любимых. Я уверен, что произведения, созданные им, нравятся как моим сверстникам, так и людям старшего поколения — всем тем, кто помнит, как «это все было». Рассказ изобилует компьютерными терминами, о которых теперь вспоминаешь с улыбкой; «четырёхмегабайтная “суперэйти” с цветным VGA-монитором». Но дело даже не в том, что эти слова могут показаться многим непонятными. Просто всю их прелесть ощутит только тот, кто сам видел и пережил начало компьютерной эпохи.

«Принц Госплана» не единственное произведение Пелевина... Мне очень понравилась повесть «Омон РА», рассказ «Жизнь и приключения сарая Номер XII». Самой нашумевшей книгой с уверенностью можно считать роман «Чапаев и Пустота», с которым автор выдвигался на соискание премии «Букер» в 1997 году. Тогда он не победил, но все же получил «Малого Букера», что, несомненно, говорит о признании таланта писателя.

Дмитрий В.

Рамиль Халиков (1969)

Халиков (Бесермен) Рамиль Бакирович родился в 1969 году в Киргизской ССР. Потомок поволжских крестьян, сбежавших от сталинских репрессий 30-х годов в Среднюю Азию. После окончания школы учился в Московском историко-архивном институте. Литературная деятельность началась в Воронеже (1988). Был одним из основателей местной литературной группы «Зинзивер». В 1995 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького по отделению прозы. Член Союза писателей Москвы (1996).

Рассказы публиковались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Традиции & Авангард», газете «Московский комсомолец» и других изданиях. Лауреат премии имени Платонова (1994) от издательства ПИК. Отрывок из романа "Остаток ночи" был опубликован в сборнике прозы "Пролог" (изд. "Вагриус", 2001). Полностью роман был издан издательством АСТ (2003).

Живет в Москве.

Сайт писателя: <https://rkhalikov.wordpress.com>

Желтое платье

Каждый год, в один и тот же день, двенадцатого мая, он относил это платье в стирку. Почему именно двенадцатого? Десятого, обыкновенно, бывал какой-нибудь перенесенный вперед выходной. Одиннадцатого, сразу после праздников, стирка работала безобразно — приемщицы грубили, рано закрывались на обед, и заканчивали работу, обычно, на целый час раньше положенного. Нет, только двенадцатого.

Нельзя сказать, чтобы это был какой-то особый для него день. С утра все начиналось как обычно, можно даже сказать, слишком обыденно, разве что вставал он в этот день почему-то на час раньше. Дверцу шкафа старик с вечера оставлял приоткрытой: еще с давних времен он специально установил это правило, чтобы не забыть в этот день о прачечной. Но бывало, взглянув на нее, он вспоминал не столько о необходимости сходить в прачечную, сколько казалось, что в комнате еще одна дверь: ведущая прямо в прошлое.

В этот день почти всегда стояла особенно весенняя погода, хотя, несколькими днями раньше, на праздники, совсем не в редкость бывали дожди — и солнце, мнилось, тоже старалось заглянуть в самую глубину шкафа.

Что там было? Просто старая одежда. Он давно не покупал себе ничего нового, потому что старое, на его взгляд, было вполне добротно, и не нуждалось в замене. Он знал наизусть, что может нащупать в шкафу назойливый солнечный луч, и ему совсем не нравилось, что он лезет туда вот так нахально. Шкаф тоже был старым. Он был у него так давно, что старик и ощущал его почти как часть себя, и когда там появлялся солнечный луч, начиная высвечивать вешалки, одежду, запах — все эти благословенные уголки прошлого, во всем мире доступные теперь только ему одному — ему становилось неуютно, будто этот утренний луч, стараясь вовсю, лезет сейчас прямо в глаза.

Но почему-то он его не прогонял. Старик находил кресло, сдвигал его к окну, напротив раскрытой дверцы, и мог сидеть так два и три часа, наблюдая за передвижениями молодого луча, чаще мысленно протестуя, но другой раз, бывало и так, одобрительно кивая ему головой. Он смотрел, как балансирует тот на вешалках, как играет пылинками, и почти насквозь пронзает какую-то розовую пуговицу; и вот этот луч стоит уже над целой пропастью его воспоминаний, над которой сам старик пройти не отваживался уже давно.

Он почти вздрагивал, когда в глубине шкафа обнаруживалось это желтое платье: впрочем, конечно же, этого было не избежать.

Оно висело в темноте, тесно сжатое какими-то молодцеватыми пиджаками, и когда луч падал на плечико, оно будто вспыхивало. Нежно начинало желтеть, вначале скромно, смущенно, но постепенно все более разгораясь: будто молодея под этим самым лучом.

И если солнце останавливалось в зените, луч, бывало, задерживался на желтой материи надолго.

Ближе к этому дню это платье обязательно ему снилось. Каждый раз по-разному, но общий сюжет бывал обычно таков: снилось, что выходной, и как это обычно по субботам, он делает в квартире уборку. И конечно же — ярко светит в комнатах желтое солнце.

Он почему-то долго возился с веником, затем тщательно мыл полы. Убирал все ненужное: во сне для этого достаточно взять вещь в руки, и она тут же исчезнет.

Он любил доводить все до полного блеска, даже там, в своих снах, потому что та, чье платье ему снилось, тоже это любила. И когда все уже было почти готово, вдруг — это был тоже обычный поворот в сюжете любого из таких снов — он обнаруживал это платье совсем не там, где ему полагалось. Оно должно было находиться в шкафу, на особых своих плечиках, там, где, пока не наступило двенадцатое мая, обычно, и хранится оно целый год. И, пожалуй, только во снах оно обнаруживалось в самых неожиданных местах.

Чаще всего он находил его вдруг на спинке стула, рядом с кроватью. Надо сказать, что и стул-то находился в этом случае совсем не там, где ему надлежало бы быть. Он стоял как-то нелепо, так, что обязательно на него налетишь, где-нибудь в солнечных комнатах сна — и тогда даже там долго могло звенеть колено, старик вздыхал, переворачивался на другой бок, освобождая неловко подвернутую ногу, и вот здесь то, как правило, просыпался. Открывал глаза, и скосив их, тут же припоминал — только что платье висело на этом стуле. Здесь ему не требовался даже календарь — он понимал, что наступило двенадцатое мая, и пора относить его в стирку.

Ему казалось, что в гардеробе у каждой женщины обязательно должно быть хотя бы одно желтое платье — иначе какая же это женщина — самого пусть простого кроя, и лучше, немного коротковатое: будто она из него выросла.

Трудно уже подсчитать, сколько лет назад он купил ей это платье. То были особые, благословенные времена, он помнит только, что долго шел по весенней улице, заглядывая во все магазины подряд, на нем была военная форма, к которой он слишком привык, чтобы снять вот так сразу, гремели праздничной музыкой на улице репродукторы, и светило солнце: почти такое же, как и сейчас. Просто так улыбались ему люди, и он улыбался им в ответ.

Не то чтобы ему тогда хотелось приобрести обязательно желтое платье, нет, скорее наоборот: это оно захотело, чтобы он его купил. Он просто увидел его в витрине, и понял сразу, что именно сейчас ему нужно.

Он даже не знал, что такие бывают. Оно висело в витрине на своих невидимых плечиках, легкомысленно был загнут ввысь рукав, и дышал им какой-то легчайший сквозняк. Платье завернули, и когда он вышел из магазина, ему показалось, сквозь серую бумагу, что оно сейчас как живое, и даже слегка дышит.

Это было, кажется, единственное желтое платье в магазинах города. Он помнит, как невероятно, уже забыто было ему хорошо, когда на следующий день гуляли по улице, и в платье этом Лена была, пожалуй, самой красивой. Он помнит, как легко сквозило на душе, как светло одурманен он был, и хотелось орать в небо: с той минуты в его голове всю жизнь уже стояло, не рассеиваясь, легкое облачко желтого тумана.

Вечером они сидели вдвоем за бутылкою вина, ели какой-то торт — всего этого не бывало на столах уже целую вечность — и когда в неугасающем порыве, он в который уже за этот вечер раз, потянулся к ней губами, они и посадили на рукав пятно от варенья. Она отстранилась на минуту, рассмотрела пятно, рассмеялась, и сказала — просто так, чтобы что-то сказать: “Завтра сам понесешь его в стирку”.

Здесь его знали уже хорошо. Он приходил сюда каждый год, в один и тот же день, двенадцатое мая. Ему казалось, что если приходиться в один и тот же день много лет подряд тебя обязательно запомнят, и, может быть, даже будут ждать. Дорогу к прачечной он мог бы пройти и с закрытыми глазами: оно находилось кварталом выше, затем надо было свернуть в узкий переулок — здесь сердце его уже начинало учащено биться — и, наконец, он подходил к небольшому желтому зданию. Ему нравилось, что здание прачечной тоже желтое — такого же цвета, как и платье. Всегда было утро, когда он появлялся здесь со своим небольшим сверточком, и когда приходишь сюда в течение многих уже лет, можно заранее знать, как это будет.

Приемщиц белья было три, можно было попасть на любую и у каждой здесь был свой характер. Самой любимой была пожилая, невысокая женщина, в синем стиранном халате, она первым делом поздравляла с прошедшим праздником — еще прежде, чем успевал это делать он. “Желтое платье, — говорил он, — в простую стирку” — “Выгладить,

накрахмалить?” — спрашивала приемщица. — “Да-да, все как обычно” — “Оно у вас почти совсем не заносилось, — с удовольствием говорила приемщица, — его будет легко стирать” — “Да, — говорил он, — вот только вишневое пятно на рукаве” — “Где?” — переспрашивала она. “На рукаве”. Она внимательно осматривала рукав. Затем задумчиво смотрела на него. “Это от варенья, — объяснял старик, — мы с женой засиделись на этот раз немного дольше обычного”. “Да-да, — соглашалась приемщица, странно глядя на него, словно что-то припоминая, — теперь я вижу”

Вторая была подслеповата, но почему-то не носила очков. Она сразу стремительно начинала, близко поднеся к глазам, искать нашитый на платье номер, и он подсказывал, где. “Какое же это оно желтое, — спокойно говорила она ему в ответ, — может когда-нибудь давно оно было желтым”. Старик виновато замалкивал. “Вот, пятно на рукаве” — пытался было он снова разговориться, но та перебивала его: — “Вы думаете, наверное, что я слепая. Я все вижу”. Хотя, как замечал старик, эта никогда не осматривала платья.

Третья, молодая, была самая несносная. Она швыряла платье на прилавок, быстро осматривала его по швам, заглядывала в подмышки, и если бывала не в духе, заявляла: “Не примем”. — “Но почему, — начинал волноваться старик, — вы же всегда принимали”. — “Оно очень старое, расползется, — возвышала голос приемщица, — а вы потом будете говорить, что его испортили”. — “Это очень хорошее платье, с ним ничего не может случиться” — умоляюще говорил старик. “И претензий не будем предъявлять?” — “Нет, конечно же, нет” — “У нас пошли очень сильные химикаты” — наконец смилостивившись, говорила она. “Там пятно” — успокоено в ответ объяснял старик. “Что ж, посмотрим”, — отвечала молодая, выписывая ему квитанцию.

Платье было единственной вещью, которую все эти годы он носил в прачечную — все остальное, после смерти жены, он давно уже стирал себе сам.

Это бывало уже похоже на ритуал. Вот и этим утром он, как обычно, достал платье из шкафа, разгладил ладонями на столе, и привычно сделал из него небольшой сверток: почти такой же, какой он когда-то, в майское утро, принес из магазина.

Это платье всегда было особенно удобно сворачивать в сверток. Оно казалось, само уютно перекрещивало свои рукава, и несколько раз складывалось пополам. Старик не торопился, и бывало, возникало у него ощущение, что сейчас он сворачивает в сверток всю свою долгую жизнь.

Конечно, он знал, что Лена давно уже умерла. Он всегда об этом прекрасно помнил — и все же раньше, пожалуй, память его работала куда лучше.

Она не должна была умереть раньше его. Когда умирает жена, чувствуешь в себе то же, что ощущает, наверное, и родитель, когда на его глазах угасает собственный ребенок.

Он помнит, хорошо помнит, как она умирала. Казалось, болезнь совсем ее не мучила, она уютно лежала под одеялом, была оживлена, блестели глаза. Много говорила, все

вспоминала о прошлом, и совсем не верилось, что где-то рядом, в считанных шагах, затаилась, перед последним броском на ее одеяло, смерть.

Это случилось перед праздниками. Они оба до последнего момента верили, что встретят их вместе, Лена попросила показать ей желтое платье, подрагивающими руками разглаживала его на одеяле, и, не выдержав, он выбежал в другую комнату. Когда вернулся, она ненадолго забылась — обитая сейчас далеко, и только подрагивало лицо — он боялся, что она уже не вернется к нему из этого полета, но Лена все же открыла глаза, и находясь в каком-то своем пространстве, где смешалось все, прошлое, будущее и настоящее, легко и весело сказала ему, сразу помолодев лицом: “Завтра сам понесешь его в стирку”.

Он запомнил о ней многое. Он помнил, как берегла в молодости она это платье, и как редко поэтому его надевала. Потом, когда платье этому было уже немало лет, она доставала его из шкафа только под особое настроение, когда, наконец, они могли остаться наедине. “Раньше эти пуговицы слушались тебя лучше” — улыбаясь, говорила тогда ему она.

Он помнит бледные губы, ее шею, которую она всегда запрокидывала особенно высоко, он помнит, как открыто, щедро лежали перед ним на подушке ее голова и плечи. Он запомнил эти два ее молока с угасшими чуть сосками, то, как с силой она прижимала к себе его голову, и какие-то редкие, грубовато-нежные, взятые оттуда, из молодости, отрывистые в эти минуты ее слова, повторить которые он не в силах, иначе сейчас заплачет.

Он помнит нежные руслица морщинок у ее близких глаз, гнев ее и восторг, когда он бывал грубоват с ней в постели, потому что именно так она любила.

Впрочем, старческая память не самое все же надежное, что есть в этом мире. Иногда он мог ненадолго даже забыть, что ее уже нет, особенно если память его взбудоражено концентрировалась на чем-нибудь совершенно отвлеченном — например, на том, что платье пора нести в стирку опять — именно в такие моменты мысль о ее смерти сдвигалась в нем где-то на самые края сознания: и тогда она как будто и не умирала.

Он всегда подходил к этому месту, внутренне улыбаясь. Всегда как-то теплело на душе, если вдали, среди тополей, вдруг начиналась в воздухе желтая стена прачечной, и старик, сокращая путь, обычно сворачивал здесь на газон.

Он ее не увидел. Давно должен был мелькнуть, среди стволов деревьев, желтый клочок стены, но вместо этого там неясно маячило что-то другое, и вначале ему подумалось, что верно, просто перекрасили здание.

Это не понравилось сразу. Было такое ощущение, будто вторглись в его память, и быстро, наспех, украдкой от него, перекрасили там что-то очень для него важное. Это стена всегда была желтой, с того самого момента, когда он, в военной еще форме, появился здесь в

первый раз. Она была желтой, сухой и теплой под солнцем, краска могла блекнуть, но затем вновь, кем-то невидимым, обновлялась, и стена прачечной все эти годы оставалась такой же, какой он увидел ее и в первый раз. Казалось, так будет вечно, что это тайная, важная, пусть и мало кому доступная деталь бытия. Если бы его спросили о краеугольных камнях этого мира, он, не задумываясь бы, ответил — там, в переулке, есть прачечная, у нее желтая стена. И это было так же неизбежно для него, как и праздник в календаре, вслед за числами которых он в прачечную и отправлялся.

Он вернулся вечером, поплутав по переулкам, и так и не решившись отдать платье в другую прачечную. “Ну что, они его приняли?” — спросила она.

— Нет, — сокрушенно ответил он, — знаешь, нашу прачечную закрыли.

“Что ж, — сказала она, — когда-нибудь это должно было случиться”

— Нет, нет, ты не думай — воскликнул он, — я все равно его выстираю!

Он налил в таз горячей воды, и окунул в нее платье. Материя потемнела — как темнеет с годами и в памяти — вода освежает цвета, и, во всяком случае, вряд ли кто теперь усомнится, что оно ничуть за эти годы не постарело.

Он принялся за него осторожно — так осторожно, как мог только старик, все в жизни повидавший, как осторожной могла быть сейчас только его неуверенная, слабеющая память, и казалось, стоит сейчас за спиной Лена, и следит за ним влажными глазами: как глядела все на него, в последние свои дни, с больничной подушки. Никто в мире не смог бы выстирать это платье осторожнее его, и он не сразу даже заметил, как оно расплзлось в слабом месте, где-то на спине.

— Господи, — сказал он, и стараясь, чтобы это выглядело буднично, боясь какого-нибудь скандала, что опрокинется сейчас на него, как таз с горячей водой, память, крикнул в гостиную, как о самом обычном: — Лена! Оно порвалось.

Она промолчала. Он вышел из ванной, сел рядом с кроватью, на стул, опустошенно огляделся.

— Ничего, — сказал он, и голос, ему показалось, прозвучал вполне убедительно и гулко, — я куплю тебе точно такое же. Оно было там не последним. Сейчас же и схожу. Только бы успеть к закрытию магазина! — повысил он голос, окончательно не понимая ее затянувшегося молчания: — Только вот адрес?

Он ясно увидел вдруг тот магазин, сходящиеся углы каких-то двух улиц, но это было так давно, что уже и не вспомнишь где. Нет, не вспомнить.

— Ты не помнишь, где-то была бумажка, я записывал? — слабым голосом спросил он в пустоте комнаты.

И ахнув, снова кинулся в ванную, зная, что, конечно же, это глупо: он вдруг ясно вспомнил, как много лет назад сам положил ту бумажку в желтый карман, — в один из тех желтых карманов своей все не сдающейся, упрямой старческой памяти.

Рыжая Вера

В воскресенье отец носил показывать его рисунки знакомому художнику. Вернулся он вечером, и был явно в хорошем расположении духа. “Ну, — сказал он, — будь готов: ты будешь заниматься в изостудии.” Это слово и получилось у него как-то раздельно: вначале “изо”, и потом, через легкую паузу, “студия”. Будто подклеил, к первой части давно вожделенного слова, вторую, такую же для Максима значительную.

В их краях такая была только одна — именно ею город был обязан своей, по всей стране, известности — и устроиться туда считалось большой удачей.

Внутренне Максим был к этому уже готов. В его комнате, над диваном, давно уже висела картина: ослепительное белое солнце, заштрихованная тенью береговая полоса, наконец, охотник, привычно, с колена влет бьющий свою утку. Черное его ружье, поднятое ввысь, штришками обозначенная вода. И если бы в этот момент — пока смотришь на картину — к его ногам упала утка, наверняка из нее засочилась бы и черная кровь.

Автора той литографии Максим мысленно представлял себе так: черный, над белым листом бумаги, силуэт, мечтательно покусывающий карандашик.

Это была первая картина в его жизни, которую довелось рассмотреть в таких подробностях, и ему здесь нравилось все — и эта вот, по углам ее, темень, будто взятая напрокат из платяного шкафа, и ночная трава, и наполненное отборными чернилами озеро. Уже тогда Максим примерял к этой картине и самого себя. Максиму хотелось бы быть в ней и этим вот охотником, он готов был бы стать даже и черной уткой, если бы она все же упала к ногам — он себе это живо представлял — но, конечно, больше всего хотелось быть художником, которому в этом мире теней подвластно все.

Когда он и сам стал рисовать, то вначале у него получилось именно это озеро. Впрочем, это было нетрудным: достаточно было нарисовать чуть неровный овал и тщательно заштриховать его карандашом.

Конечно, чёрным: с самого начала он признавал только этот цвет. Потом у него понемногу стала получаться утка. Вначале он срисовывал её из зоологических книг — и больше всего ему нравилась одна старая энциклопедия, где утка была изображена, как ему и хотелось, в одних только черно-белых тонах. Потом стал бывать в зоопарке: мог целый день просидеть у пруда на скамейке.

После того как у него, наконец, вполне сносно стал получаться и охотник, отец, собственно, и отправился к знакомому художнику, который, кажется, чуть ли не единственный в этом городе мог дать решающую рекомендацию для принятия студию. Максима он с собой брать почему-то отказался — и только много позже, повзрослев, он

узнал семейную тайну, причину маминых страданий: тот знакомый оказался на самом деле художницей.

Но так или иначе, слово было произнесено — солнечным днем его отвели в студию. И уже в коридоре Максим обрадовано встретил утку, чуть ли не ту же самую: её чучело, с подставки, молчаливо приветствовало всех при входе.

Это было время, когда мир для него стремительно и ежедневно расширялся. Его сознание торопливо поглощало, как бы открывая по-новому, все что было вокруг него — улицу вдали, коленкой уходящую вправо, школу, которую он ненавидел до изнеможения, и конечно, студию, которая как-то особенно хорошо, уютно вписалась в его мирок. Он с удовольствием, медленно втянул ее в себя, и вот уже привычно, как будто прошло уже несколько лет, вбегал в нее, по ступенькам, три раза в неделю.

Рыжую младую студию Максим, по своей рассеянности, обнаружил только на третий день. Точнее, вначале он обнаружил в чьей-то руке изумительно черный уголь карандаша, точно такой же, какой был и у него: сам, вместе с родителями, выбирал себе весь тот набор, что положен каждому студийцу. Он перевел взгляд выше и обнаружил — наглый, оценивающий взгляд сторожила этих мест, веснушки, влажный капризный рот — в общем, весь тот набор, который часто бывает присущ всем рыжим.

— Максим, — растерянно сказал он.

— Вера, — растягивая гласные — чего, разумеется, он тоже терпеть не мог — ответила рыжая.

На том занятии — все рисовали огромную, с лошадиную голову, глыбу мрамора — он рассматривал ее с особым интересом.

В те времена все происходило так быстро, что казалось, он мчит по жизни, в солнечный день, в огромном белом громящем трамвае. Их знакомство началось в день, когда ее отсадили от окна подальше — и так уж получилось, ближе к нему — потому что проходила зима, и в студии стали открывать форточку. Только оттого, что за окном весна, Вера казалась старше, толстый грифель в ее руке смотрелся грациознее, и он замирал, когда, тряхнув волосами, она к нему оборачивалась. Они как-то сразу и легко сблизилась, в их дружбе вела за собой она, Максим сжимал в руке потеющий грифель, и, кажется, избавлялся от него, словно очнувшись, только придя домой.

После школы по дороге в студию он любил сделать остановку в сквере, и, кинув портфель на скамейку, что-нибудь зарисовать: одинокий дежурный бюст, голое дерево или все ветви бьющего из черной весенней земли куста. Кроме того, помнится, все приносил в студию наброски огромного затихшего в сумерках города. Темнота надувает его как громадный из черной блестящей материи шар, под которым подвешена корзина, полная светящихся домов. Максим любил этот его, особенный, без фальши вид, когда те старые, что в центре города, особняки, хотя бы только и на ночь проваливаются в свои помятые,

истинные, только черно-белые фотографии: вот-вот грянут копыта по мостовой, у подъезда встанет карета, опираясь на лакея, медленно сойдет дама в вуали...

В этой женщине он безуспешно все пытался представить рыжую Веру. У нее была холодная, весенняя, вся в веснушках рука, долгий взгляд, когда рисовала, она красиво отставляла в сторону ногу, и главное — к нему в те дни она сидела ближе всех.

Каждую весну случается ночь, которую потом вспоминаешь чаще других. Ему не спалось, он встал, включил лампу и взял свой блокнот. Точнее, вначале взял свой блокнот — в последние дни он всегда бывал где-то рядом — и потом только включил свет. Грифель. Вера держала сегодня его в руке, наверное, целый час. У нее меняются руки, когда она берет в руки грифель — эта мысль, почему-то, весь день всплывала в его голове. Он кажется толстоватым в ее руках, она держит его, кажется, по особому цепко, как-то хищно обтягивая его пальцами. У нее холодные, тонкие, цыплячьи руки, и даже сейчас, вместо грифеля, он чувствовал, кажется, вечную прохладу ее пальцев.

Он дорисовал, как она сидит, запрокинув непринужденно ногу на ногу, словно ей все семнадцать лет — здесь она кажется нагловатой — и задумался только на мгновение. Затем он вывел ее из студии, они оказались одни, и он, легко сломив сопротивление, овладел ею — у себя в блокноте, на сереющих, в утреннем свете, листках бумаги. Быстро, страстно переворачивая листки, знакомым ей грифелем, который она только сегодня увлеченно держала в руках.

Ему казалось, что он верно себе представляет, какая она есть — там, в глубине своих платиц. Ей тринадцать лет, у нее крупные колени, но когда она сидит, прижав их к груди, они кажутся еще крупнее. Когда она приподнимется, станут видны соски, рыжие, как и она сама. Она уже успела надеть трусики, она ничуть не расстроена, это от наглости. Завтра он снова увидит ее в студии, возможно, Вера снова спокойно возьмет у него на минуту карандаш, будто этой ночью — или чуть раньше, когда она взяла его у Максима впервые — между ними так ничего и не произошло.

В конце концов, во всем была виновата весна — зачем ее тогда пересадили — виноват был его грифель, уютно почувствовавший себя в ее руках, виновата была утка, — в то утро ее внесли из коридора в класс. Она сразу одним своим глазом уставилась на Максима. Далеко уже отсюда осталось то чернильное озеро, в котором, не слишком опасаясь художника, она плавала, пока из камышей не выглянуло добротное выведенное карандашом ружье. Максим был единственный, кто знал ее грустную, в вечерних тонах, историю. «Когда мы ездили с отцом на охоту, такую я подстрелил,» — шепотом сказал он Вере. «Что, точно вот такую же?» — изумилась Вера. «Вообще-то, две, — приободрился он, — но вторая упала в озеро, и ее не смогла достать наша собака» — «О! Ты покажешь мне свою собаку?».

Максим с тоской вспомнил, что, вообще-то, на картинке над диваном не было собаки. Блокнот — в нем этой ночью она была только его — обжигая память, лежал, закрытый на

столе, стояла тишина, все рисовали, и ее лицо в эти минуты казалось особенно вдохновенным.

Конечно, этих рисунков в блокноте не увидит никто — даже странно, что он не избавился от них утром. Кажется, все дело было в ее коленях — в ту ночь ему удавалось абсолютно все. Он понял, что главное — даже когда трусики уже нарисованы брошенными на стул — это поработать над ее коленями. Он поглядывал сейчас на нее — вот так же, как и сейчас, чуть согнуты, чуть подраزدвинуты они на рисунках.

К ее визиту ему предстоит нарисовать хорошего пса, какого верно забыл охотник с той картинке, дома, над диваном. “Знаешь, я не хотел тогда говорить, но наш пес погиб, — скажет он ей, — когда мы охотились, на Лене, на медведей. Но на этом рисунке он как живой”.

Дома у них есть ружье, оно стоит, незаряженное, в шкафу, пусть и не такое длинное, как на том рисунке: но Вере он обязательно его покажет. И лучше будет к ее визиту повесить это ружье над постелью — той постелью, которую так легко можно узнать по рисункам в блокноте. Покрывало на них было смято так яростно, что можно было удивляться, что оставался таким же гладким под ним лист. И когда Вера появится у него в гостях, ружье будет угрожающе висеть над постелью, как у настоящего охотника — она не узнает, что из него, кажется, так никто по-настоящему и не стрелял — и возможно, ступив своей волнующей коленкой на покрывало, она уважительно тронет его прохладной рукой.

Обдумывая ее неясно наметившийся визит, Максим одним из первых закончил рисунок — только он, да его молчаливая утка, глядящая на него с листа знают, что для нее приготовлено. Времени до перемены оставалось достаточно, и он попросился выйти. Он успел заметить, что она увидела его пернатый рисунок, и восхищенно покачала головой.

Максим отсутствовал совсем недолго. Место утки на подставке в коридоре занял оцетинившийся еж, и он неприятно этому удивился: как если б охотник узнал, что охота не состоится. Значит, возвращать ее на это место не собираются. Он остановился у окна, зачем-то глядел бездумно целую минуту. Эту минуту, возможно все решившую, он вспомнит потом не раз. Когда он вошел обратно в класс, его заметили не сразу. Во всем виноват был он только сам — выходя, он задел свой ночной блокнот, и тот упал, раскрывшись прямо на изрисованных страницах. Не сразу, но его подняли, кто-то тихонечко хихикнул, подошел мастер, и вот уже все толпились вокруг его стола. Вера с заплаканными глазами сидела в одиночестве в углу. Максим сразу все понял. Как ни странно, но именно в этот момент он впервые в своей жизни почувствовал, что такое быть хорошим художником.

— Во-он, — невообразимо растянув единственную гласную, сказал мастер.

В этой тишине Максим почувствовал даже, как разваливается сложное это слово: как от “изо”, по-прежнему остающегося еще у него, отваливается “студия”.

Рыжая Вера по одному из самых скверных сюжетов жизни оказалась единственной дочерью мастера.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Прочитайте рассказ Р. Халикова «Желтое платье». Какова связь между вещами и людьми в этом произведении?
2. Какое место занимает в рассказе желтый цвет? Почему, с вашей точки зрения, писатель использовал именно его?
3. Автор называет стену прочной «деталью быта». Как развивается в рассказе тема быта и бытия?
4. Какова, по-вашему, общая интонация произведения? Как она создается? Выражает ли она позицию автора?
5. Прочитайте высказывание критика:

«В активе современной "малой" прозы и небольшая повесть, и притча, и лирическая миниатюра, и сказание, и сказки, и легенды (Л.Улицкая, Л.Петрушевская и др.). Но рассказ - самый массовый жанр прозы, в которой есть блестящие удачи. Ю. Нагибин считал, что именно рассказу - этому "летучему, динамическому жанру" - положено быть впереди. Одной из удач, несомненно, стал рассказ Рамиля Халикова "Желтое платье", который развивает традиции русского, бунинского рассказа. В его повествовании, говоря словами А. Твардовского, нет строгой "оконтуренности сюжетом". Сюжет образуется нанизыванием отдельных сценок, являющихся свободно льющимся потоком ассоциативных воспоминаний героя, его внутренним "монологом", раскрывающим движение его мысли и чувства. Это по сути новеллистический, романтический принцип, хотя и лишен острого "внешнего" конфликта: острота его - внутренняя, в смене не только настроений, но и глубинного постижения основ жизни человека, его "вечных" проблем - рождения, смерти, ухода из жизни. Рассказ Р. Халикова "Желтое платье" философский, хотя в нем нет философских абстракций, вся его мысль и переливы чувств, и метафорический подтекст как бы непосредственно вытекают из жизненного явления и характера».

Какими приемами пользуется автор для раскрытия внутреннего состояния героя? Какова авторская позиция и способы ее выражения?

6. Писатель Александр Рекемчук, характеризуя прозу Р. Халикова, сказал, что он «утонченный стилист, вкусно пишет». Как вы понимаете эти слова? Согласны ли вы с такой оценкой? Вы можете написать об этом в финале рецензии на рассказ.

Дополнительные вопросы

1. Сравните позицию повествователя в рассказах «Желтое платье» и «Рыжая Вера». Насколько убедительной кажется вам психологическая характеристика людей разного возраста?
2. По каким признакам мы можем определить, что и «Желтое платье», и «Рыжая Вера» принадлежат перу одного автора?
3. Прочитайте высказывание рецензента Дарьи Рудановской:

«В рассказе «Рыжая Вера» мальчик точно воспроизводит свои мечты на бумаге. Но какие это мечты? Более чем реальные — завладеть девушкой, в которую влюблен. Он изображает ее в различных позах, и Халиков с наслаждением прописывает малейшие детали рисунка. Все это во многом напоминает глупые школьные рисунки бурно развивающихся подростков. Но мальчику из «Рыжей Веры» удастся почти с фотографической точностью нарисовать то, чего он никогда не видел. В его картинках оживает не отвлеченная, далекая мечта, а реальная, плотская, и тем не менее мечта остается мечтой, нетронутой и прекрасной. Это удивительное соединение порочного с далеким и недостижимым делает произведение искусства прекрасным. К тому же слиянию стремится и Халиков на страницах своей прозы».

Как вы относитесь к высказыванию критика о том, что делает произведение искусства прекрасным? Что думаете об оценке данного рассказа?

Андрей Геласимов (1966)

Андрей Валерьевич Геласимов родился в 1966 году. По образованию филолог (кандидат филологических наук), в 1987 году окончил Якутский государственный университет. В 1992 получил второе высшее образование по специальности театральный режиссёр, окончив режиссёрский факультет ГИТИСа (мастерская Анатолия Васильева). В 1996—97 годах стажировался в Халльском университете в Великобритании. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию по английской литературе в Московском педагогическом государственном университете по теме «Ориентальные мотивы в творчестве Оскара Уайльда». Работал доцентом кафедры английской филологии Якутского университета, преподавал стилистику английского языка и анализ художественного текста.

Первой публикацией Геласимова стал перевод американского писателя Робина Кука «Сфинкс», опубликованный в журнале «Смена» в начале 90-х. В 2001 году была издана повесть о первой любви «Фокс Малдер похож на свинью», которая вошла в шорт-лист премии Ивана Петровича Белкина за 2001 год, в 2002 году повесть «Жажда» о молодых ребятах, прошедших Чеченскую войну, опубликованная в журнале «Октябрь», также вошла в сокращённый список премии Белкина и была отмечена премией имени Аполлона Григорьева, а также ежегодной премией журнала «Октябрь». В 2003 году в издательстве «О.Г.И.» вышел роман «Год обмана», в основе сюжета которого классический «любовный треугольник», ставший самой распродаваемой книгой Геласимова на сегодняшний момент. В сентябре 2003 вновь журнал «Октябрь» публикует роман «Рахиль» о немолодом уже профессоре-филологе Святославе Койфмане, еврее-полукровке, типичном неудачнике. В 2004 году за этот роман Геласимов удостоился премии «Студенческий Букер».

В 2008 в издательстве ЭКСМО вышел роман Геласимова «Степные боги». В основе сюжета книги лежит история дружбы забайкальского подростка Петьки и пленного японца — врача Хиротаро. Действие романа происходит в вымышленном селе Разгуляевка летом 1945 года, накануне вторжения советских войск в Японию и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, откуда происходит родом сам Хиротаро. Помимо романа в книгу включены рассказы о предвоенной жизни Разгуляевки, сюжетно с ним связанные.

В 2009 году Андрей Геласимов стал лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер» за роман «Степные боги».

В конце 2009 года вышел роман «Дом на Озёрной» — современная история о представителях многочисленной семьи, потерявших все свои накопления в эпоху кризиса.

В конце 2010-го вышла книга «Кольцо Белого Волка», написанная Геласимовым для своих троих детей, когда писатель жил в Англии. Геласимов писал историю по главе и отсылал домой по почте в конвертах. Книга оформлена рисунками художницы Кэти Тренд.

Среди своих литературных учителей Геласимов называет Уильяма Фолкнера, Иосифа Бродского и Эрнеста Хемингуэя.

Нежный возраст

14 марта 1995 года. 16 часов 05 минут (время московское).

Сегодня проснулся оттого, что за стеной играли на фортепиано. Там живет старушка, которая дает уроки. Играли дерьмово, но мне понравилось. Решил научиться. Завтра начну. Теннисом заниматься больше не буду.

15 марта 1995 года.

И плаванием заниматься не буду. Надоело. Все равно пацаны ходят только для того, чтобы за девчонками подглядывать. В женской душевой есть специальная дырка.

Ходил к старухе насчет фортепиано. Согласилась. Деньги, сказала, вперед. Она раньше была директором музыкальной школы. Потом то ли выгнали, то ли сама ушла. Рок-н-ролл играть не умеет. В квартире воняет дерьмом. Книжек много.

Посмотрим.

17 марта 1995 года.

Как меня все достали. В школе одни дебилы. Что учителя, что одноклассники. Гидроцефалы. Фракийские племена. Буйный расцвет дебилизма. Семенов лезет со своей дружбой. Может, попросить, чтобы меня перевели в обычную школу?

18 марта 1995 года.

Отец не дает денег на музыкальную старуху. Говорит, что я ничего не довожу до конца. Жмот несчастный. Говорит, что тренер по теннису стоил ему целое состояние. А может, я будущий Рихтер? Старухе надо-то на гречневую крупу. Жмот. Но он говорит — дело принципа. Сначала надо разобраться в себе.

Было бы в чем разбираться.

“А ты сам в себе разобрался?” — хотел я его спросить.

Но не спросил. Побоялся, наверное.

19 марта 1995 года.

Опять не дали уснуть всю ночь. Ругались. Сначала у себя в спальне, потом в столовой. Мама кричала как сумасшедшая. Может, они думают, что я глухой?

20 марта 1995 года.

Старуха дала какой-то древний черно-белый фильм. Сказала, что я должен посмотреть. Без денег учить отказывается.

В школе полный мрак.

Да будет свет, сказал монтер

И яйца фосфором натер.

Яйца, разумеется, были куриные. Тихо лежали в углу и светились во мраке системы просвещения.

Учителей надо разгонять палкой. Пусть работают на огородах. Достали.

23 марта 1995 года.

Интересно, сколько стоит хороший автомат? Мне бы в нашей школе он пригодился. Ненавижу девчонок. Тупые дуры. Распустят волосы и сидят. Каким надо быть дураком, чтобы в них влюбиться? Воображают фиг знает что.

Дома тоже автомат бы не помешал. Опять орала всю ночь. Они что, плохо слышат друг друга?

24 марта 1995 года.

В школу приходил тренер по теннису. Сказал, что я, конечно, могу не ходить, но денег он не вернет. Козел. Я спросил, не научит ли он меня играть на пианино.

Берешь автомат и стреляешь ему в лоб. Одиночным выстрелом.

25 марта 1995 года.

Антон Стрельников сказал, что влюбился в новую училку по истории. Лучше бы он крысиного яду наелся. Такая же тупая, как все.

Переводишь автомат на стрельбу очередями и начинаешь их всех поливать. Привет вам от Папы Карло.

25 марта — вечер.

Прикол. Снова приходил Семенов. Уговорил меня выйти во двор. Предложил закурить, но я отказался. Сказал, что теннисом занимаюсь. Он начал спрашивать, где и когда. Я сказал, что ему денег не хватит. Тогда он уронил свою сигарету, а я взял и поднял. Он подошел очень близко и поцеловал меня в щеку. Я не знал, что мне делать. Постоял, а потом треснул его по морде. Он упал и заплакал. Я сказал, что я его убью. У меня есть автомат. Не знаю, почему так сказал. Просто сказал — и все. Достал он меня. Тогда он сказал, чтобы я не пересаживался от него в школе. Сидел с ним, как раньше, за одной партой. А он мне за это денег даст. Я спросил его — сколько, и он сказал — пятьдесят. У него откуда-то взялись пятьдесят баксов. И я сказал — покажи. У него, правда, было пятьдесят баксов. Я их взял и снова треснул его по морде. У него пошла кровь, и он сказал, что я все равно теперь с ним сидеть буду. Я врезал ему еще раз.

26 марта 1995 года.

Старуха взяла деньги Семенова и сказала, что ее зовут Октябрина Михайловна. Ну и имечко. В квартире воняет кошачьим дерьмом. Как она это терпит? Спросила: посмотрел ли я фильм?

А я даже не помню, куда засунул кассету. Не дай бог мама ее куда-нибудь зашвырнула. Она вчера много всего об стенку расколошматила. Может быть, ей купить автомат?

28 марта 1995 года.

Достали меня все. И этот дневник меня тоже достал. А не пойдешь ли ты к черту, дневник? А?

30 марта 1995 года.

Нашел кассету Октябрины Михайловны. Валялась под креслом у меня в комнате. Вроде бы целая. Неужели придется ее смотреть?

1 апреля 1995 года.

Сказал родителям, что меня выгоняют из школы. Они позабыли, что не разговаривают друг с другом почти неделю, и тут же начали между собой орать. Потом, когда успокоились, папа спросил: за что? Я сказал — за гомосексуализм. Он повернулся и врезал мне в ухо. Изо всех сил. Наверное, на маму так разозлился. Она опять закричала, а я сказал — дураки, сегодня первое апреля, ха-ха-ха.

2 апреля 1995 года.

Водил на улицу котов Октябрины Михайловны. Ей самой трудно. Они рвутся в разные стороны как сумасшедшие. Мяукают, кошек зовут. Я думал — у них это только в марте бывает. Пять сумасшедших котов на поводочках — и я. Соседние пацаны во дворе ржали как лошади.

Ухо еще болит.

Октябрина Михайловна опять спросила про фильм. Его, наверняка, снимали в эпоху немого кино. Все-таки придется смотреть. Жалко ее обманывать.

3 апреля 1995 года — почти ночь.

Пацаны во дворе помогли мне поймать котов. Я запутался в поводках, упал, и они разбежались. Один залез на дерево. Двое сидели на гараже и орали. Остальные носились по всему двору. Пацаны спросили меня — чьи это кошки, а потом помогли их поймать. Они сказали, что Октябрина Михайловна классная старуха. Она раньше давала им деньги, чтобы они не охотились на бродячих котов. А потом просто давала им деньги. Даже когда они перестали охотиться. На мороженое — вообще на всякую ерунду. Когда еще спускалась во двор. Но теперь давно уже не выходит. Пацаны спросили — как она там, и я ответил, что все нормально. Только в квартире немного воняет. И тогда они мне сказали, что если хочу, то я могу поиграть с ними в баскетбол.

Вечером в комнату приходил отец. Сидел, молчал. Потом спросил про уроки. Они опять с мамой не разговаривают.

Может, он хотел извиниться?

4 апреля 1995 года.

Вот это да! Просто нет слов. Я кассету наконец посмотрел. Называется “Римские каникулы”. Надо переписать себе обязательно.

5 апреля 1995 года.

Октябрина Михайловна говорит, что актрису зовут Одри Хепберн. Она была знаменитой лет сорок назад. Я не понимаю: почему она вообще перестала быть знаменитой? Никогда не видел таких... даже не знаю как назвать... женщин. Нет, женщин таких не бывает. У нас в классе учатся женщины.

Одри Хепберн — красивое имя. Она совсем другая. Не такая, как у нас в классе. Я не понимаю, в чем дело.

6 апреля 1995 года.

Снова смотрел “Каникулы”. Невероятно. Откуда она взялась? Таких не бывает.

Сегодня играл с пацанами во дворе в баскетбол. Высокий Андрей толкнул меня, и я свалился в большую лужу. Он подошел, извинился и помог мне встать. А потом сказал, что не хотел бить меня два года назад, когда все пацаны собрались, чтобы поймать меня возле подъезда. Они хотели сломать мой велосипед. Отец привез из Арабских Эмиратов. Андрей сказал, что не хотел бить. Просто все решили, а он подчинился. Я ему сказал, что не помню об этом.

Мне тогда зашивали бровь. Бровь и еще на локте два шрама.

А завтра идем играть против пацанов из другого двора. С нашими я уже со всеми здороваюсь за руку.

Отец приходил. Сказал, что я сам виноват в том, что случилось первого апреля. Не надо было так по-дурацки шутить. Я сказал ему — да, конечно.

7 апреля 1995 года.

Мама говорит, что я достал ее со своим черно-белым фильмом. Она не помнит Одри Хепберн. Она мне сказала: ты что, думаешь, я такая старая? Смотрел “Римские каникулы” в седьмой раз. Папа сказал, что он видел еще один фильм с Одри — “Завтрак у Тиффани”. Потом посмотрел на меня и добавил, чтобы я не забивал себе голову ерундой.

А я забиваю. Смотрю на нее. Иногда останавливаю пленку и просто смотрю.

Откуда она взялась? Почему за сорок лет больше таких не было?

Одри.

9 апреля 1995 года.

Октябрина Михайловна показала мне песню “Moon River”. Из фильма “Завтрак у Тиффани”. Кассеты у нее нет. Когда пела — несколько раз останавливалась.

Отворачивалась к окну. Я тоже туда смотрел. Ничего там такого не было, за окном. Потом сказала, что они ровесницы. Она и Одри. Я чуть не свалился со стула. 1929 год. Лучше бы она этого не говорила. Еще сказала, что Одри Хепберн умерла два года назад в Швейцарии. В возрасте 63 лет.

Какая-то ерунда. Ей не может быть шестьдесят три года. Никому не может быть столько лет.

А Октябрина Михайловна сказала: “Значит, мне тоже пора. Все кончилось. Больше ничего не будет”.

Потом мы сидели молча, и я не знал, как оттуда уйти.

12 апреля 1995 года.

Я рассказал Октябрине Михайловне про Семенова. Не про то, конечно, откуда у меня взялись для нее деньги, а так — вообще. В принципе про Семенова. Она дала мне книжку Оскара Уайльда. Про какой-то портрет. Завтра прочитаю.

Через две недели у меня день рождения. Думаю позвать пацанов из двора. Интересно, что скажет папа?

Он приходил сегодня ночью. Я уже спал. Вошел и включил свет. Потом сказал: “Не прикидывайся. Я знаю, что ты не спишь”.

Я посмотрел на часы — было двадцать минут четвертого. Еле глаза открыл. А он говорит: “Вот видишь”. И я подумал: а что это интересно я должен “вот видеть”?

Он сел к моему компьютеру и стал пить свое виски. Прямо из горлышка. Минут десять, наверное, так сидели. Он у компьютера — я на своей кровати. Я подумал: может, штаны надеть? А он говорит: с кем я хочу остаться, если они с мамой будут жить по отдельности? Я говорю — ни с кем, я хочу спать. А он говорит — у тебя могла быть совсем другая мама. Ее должны были звать Наташа. А я думаю — у меня маму зовут Лена. А он говорит — шлюха она. А я ему говорю — мою маму зовут Лена. Он посмотрел на меня и говорит: а ты уроки приготовил на завтра?

15 апреля 1995 года.

Вчера ходили с нашими пацанами драться в соседний двор. Те проиграли нам в баскетбол и не хотят отдавать деньги. Уговор был на двадцать баксов. Наши пацаны дней пять собирали свою двадцатку. Трясли по всему району шпану. Тех, у кого есть бабки. Раньше бы и меня трясли. Короче, высокий Андрей сказал — надо наказывать. Мне сломали ползуба. Теперь придется вставлять. Пацаны заглядывали мне в рот и хлопали по плечу. Андрей сказал — с боевым крещением.

В школе все по-прежнему. Полный отстой. Антон Стрельников влюбился в другую училку. Алгебра на этот раз. Придурок. Про Одри Хепберн он даже не слышал. Хотел сперва дать ему фильм, но потом передумал. Пусть тащится от своих теток.

16 апреля 1995 года.

Семенов пришел в школу весь в синяках. У меня тоже верхняя губа еще не прошла. Опухла и висит, как большая слива. Нормально смотримся за одной партой. Антон говорит, что Семенова папаша отделал. Примерно догадываюсь за что. Но Антон говорит, что он его постоянно колотит. С детского сада еще. Они вместе в один детский садик ходили. Говорит, что папаша бил Семенова прямо при воспитателях. Даже милиция приезжала. Но он откупился. Раздал бабки ментам и утащил маленького Семенова за воротник в машину. В машине, говорит Антон, еще ему добавил. А Семенов из машины визжал как поросенок. “Нам тогда было лет шесть,— сказал Антон.— Мы стояли вокруг джипа и старались заглянуть внутрь. Окна-то высоко. Слышно только, как он визжит, и посмотреть охота. А воспитательницы все ушли. Семеновский папаша им тоже тогда денег дал. Да и холодно было. Почти Новый год. Чего им на улице делать? Ну да — на следующий день подарки давали — елка там, Дед Мороз”.

17 апреля 1995 года.

Дома больше никто не орет. Они вообще не разговаривают друг с другом. Даже через меня. Мама два раза не ночевала дома. Папа смотрел телевизор, а потом пел. Закрывался в ванной комнате и пел какие-то странные песни. В два часа ночи. Интересно, что подумали соседи?

Октябрина Михайловна говорит, что у детей проблемы с родителями оттого, что дети не успевают застать своих родителей в нормальном возрасте. Пока те еще не стали такими, как сейчас. В этом заключается драма. Так говорит Октябрина Михайловна. А раньше они были нормальные.

Она говорит, что помнит, как мой папа появился в нашем доме.

“Он был такой худой, веселый. И сразу видно, что из провинции”.

Оказывается, у мамы уже был тогда парень, почти жених. Октябрина Михайловна не помнит его имени.

Сегодня специально ходил по улицам и смотрел — сколько женщин походит на Одри Хепберн.

Нисколько.

Промочил ноги и потерял ключи. Жалко брелок. Если свистишь, он отзывается. Посвистел во дворе немного — бесполезно. Где-то в другом месте, видимо, уронил.

18 апреля 1995 года.

Октябрина Михайловна вспомнила, как папа (только он тогда был еще не папа, а просто неизвестно кто) однажды пришел на день рождения к маме в костюме клоуна. Шел в нем прямо по улице, а потом показывал фокусы. В подъезде и во дворе. Все соседи вышли из своих квартир. Она говорит — было ужасно весело. Все смеялись и хлопали.

Дочитал книжку Оскара Уайльда. Круто. Может, позвать Семенова на день рождения?

Ходил свистеть на соседнюю улицу. Губа почти не болит, но из-за сломанного зуба свистеть как-то не так. Брелок не нашелся. Вместо него появились те пацаны, с которыми мы дрались на прошлой неделе.

Еле убежал.

19 апреля 1995 года.

Сегодня приходил милиционер. Оказывается, высокий Андрей сломал одному из тех пацанов ключицу. Теперь его родители подали в суд. Я видел, как Андрей тогда схватил обрезок трубы, но милиционеру ничего не сказал. Я там, говорю, вообще не был. А он смотрит на мое разбитое лицо и говорит: не был? Я говорю — нет.

Пацаны во дворе сказали мне — ты нормальный.

Я не предатель.

Вчера приснилось, что это меня затащил в машину отец. Бьет изо всех сил, а я не могу от него увернуться. Только голову закрываю. Руки маленькие — никак от него не закрыться. Он такой большой, а у меня пальто неудобное. С воротником. И руки в нем плохо поднимаются. Я уже забыл о нем, а теперь вдруг во сне увидел. Бабушка подарила, когда мне было пять лет. А в окно машины заглядывает Антон Стрельников. Но почему-то большой. И целуется с учительницей алгебры.

Потом приснилась Одри.

20 апреля 1995 года.

Я умею играть “Moon River” на пианино. Одним пальцем. Октябрина Михайловна смеется надо мной и говорит, что остальные девять мне не нужны. Со мной и так все ясно.

Посмотрим.

Папа сказал, что костюм клоуна ему одолжил один приятель из циркового училища. Он говорит, что у него не было денег на нормальный подарок тогда.

“Какие подарки? Вообще не было денег. Пришлось корчить из себя дурака. Чуть от стыда не умер. А ты откуда узнал?”

Я говорю — от Октябрины Михайловны. А он говорит: ты где для нее деньги нашел? Я говорю — секрет фирмы.

Мама опять не ночевала дома.

21 апреля 1995 года.

Семенов сказал, что знает настоящее имя Одри. А я ему говорю — я думал, что Одри — настоящее. А он говорит — ни фиги. Ее звали Эдда Кэтлин ван-Хеемстра Хепберн-Рустон. Я ему говорю — напиши. Он написал. Я говорю: а ты-то откуда знаешь? Он говорит — я в детстве любил прикольные имена запоминать. Первого монгольского космонавта звали Жугдэрдемидийн Гуррагча. Я говорю — врешь. А второго? Он говорит — второго не

было. Можешь проверить. А первого звали Гуррагча. Сам посмотри на Интернете. Там и про Одри Хепберн до фига всего есть. Я говорю: например? Он говорит — ну, она дочь голландской баронессы и английского банкира. Снималась в Голливуде в пятидесятых годах. А до этого — в Англии. Я говорю: а ты зачем про нее смотрел?

Он молчит и ничего мне не отвечает. Я ему снова говорю. И он тогда пальцем показывает на мою тетрадь. Там четыре раза на одной странице написано: “Одри Хепберн”.

24 апреля 1995 года.

Снова рассказал Октябрине Михайловне про Семенова. Она сказала — дело в том, что мы все в итоге должны умереть. Это и есть самое главное. Мы умрем. А если это понял, то уже не важно — каков твой друг. Просто его становится жалко. И себя жалко. И родителей. Вообще всех. А все остальное — не важно. Утрясется само собой. Главное, что пока живы. Она говорит, а сама на меня смотрит и потом спрашивает: ты понял? Я говорю — понял. Только Семенов мне как бы не друг. А она говорит — это тоже не важно. Вы оба умрете. Я думаю — спасибо, конечно. Но так-то она права. Она говорит — потрогай свою коленку. Я потрогал. Она говорит — что чувствуешь? Я говорю — коленка. Она говорит — там кость. У тебя внутри твой скелет. Настоящий скелет, понимаешь? Как в ваших дурацких фильмах. Как на кладбище. Он твой. Это твой личный скелет. Когда-нибудь он обнажится. Никто не может этого изменить. Надо жалеть друг друга, пока он внутри. Ты понимаешь? Я говорю — чего непонятного? Скелет внутри — значит, все нормально. Она улыбается и говорит — молодец. А вообще умирать не страшно. Как будто вернулся домой. Как в детстве. Ты в детстве любил куда-нибудь ездить? Я говорю — к бабушке. Она в деревне живет. Она говорит — ну вот, значит, как к бабушке. Ты не бойся. Я говорю — я не боюсь. Она говорит — умирать не страшно.

2 мая 1995 года.

Высокого Андрея арестовали. Не за ключицу. За нее, видимо, будет отдельный срок. Все получилось из-за Семенова. Семенов у меня на дне рождения без конца рассказывал всякую чепуху про черных рэпперов и хип-хоп. А пацаны из двора слушали его с раскрытыми ртами. Папа мне даже потом сказал — он что, из музыкальной тусовки? Я объяснил ему насчет Интернета. Но пацаны про Интернет не в курсе. Только в общих чертах. Они не знали, что Семенов меня заранее спросил — кто будет на дне рождения. Высокий Андрей мне на кухне сказал — классный парень. Он что, типа из Америки приехал? А я говорю — просто читает много. Интересуется. Короче, они ушли вместе с Андреем и потом, видимо, где-то напились. Я не знаю, как у них там все получилось, но к утру джип семеновского папаши сгорел в гараже. Плюс еще две машины какого-то депутата. Он их от проверки там прятал. В Думе теперь шерстят за лишние тачки. Папаша бил Семенова ножкой от стула. Сломал ему несколько ребер и кисть левой руки. Наверное, Семенов этой рукой закрывался. Но от милиции откупил. Арестовали одного Андрея. Пацаны во дворе ходят груженные. В баскетбол перестали играть. Со мной не разговаривают.

11 мая 1995 года.

Приходила мама. Сказала: можно поговорить? Я сказал — можно. Она говорит — ты какой-то странный в последнее время. У тебя все в порядке? Я говорю: это я странный? Она говорит — не хаами. И смотрит на меня. Так, наверное, минут пять молчали. А потом говорит — я, может, уеду скоро. Я говорю — а. Она говорит — может, завтра. Я снова говорю — а. Она говорит: я не могу тебя взять с собой, ты ведь понимаешь? Я говорю — понятно. А она говорит: чего ты заладил со своим “понятно”? А я говорю — я не заладил, я только один раз сказал. Сказал и сам смотрю на нее. А она на меня смотрит. И потом заплакала. Я говорю: а куда? Она говорит — в Швейцарию. Я говорю — там Одри Хелберн жила. Она говорит: это из твоего кино? Я говорю — да. Она смотрит на меня и говорит — красивая? Я молчу. А она говорит: у тебя девочка есть? Я говорю: а у тебя когда самолет? Она говорит — ну и ладно. Потом еще молчали минут пять. В конце она говорит: ты будешь обо мне помнить? Я говорю — наверное. На память пока не жалуясь. Тогда она встала и ушла. Больше уже не плакала.

14 мая 1995 года.

Октябрина Михайловна умерла. Вчера вечером. Больше не буду писать. Не буду.

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Вспомните, что такое дневник и как использовались дневниковые записи в произведениях русских и зарубежных писателей. С размышлений об этом можно начать рецензию.
2. Какие книги, посвященные «нежному возрасту», вы читали? О каких проблемах подросткового возраста удалось сказать автору? Какие нерешенные вопросы взрослой жизни находят отражение в его дневниковых записях?
3. Как взаимодействуют в рассказе гармония и хаос, жизнь и смерть?
4. Какие черты личности героя привлекают внимание писателя? Как можно определить отношение автора к рассказчику?
5. В чем смысл названия рассказа? Соотносится ли заглавие с настроением и мироощущением главного героя?
6. Прочитайте характеристики писательской манеры А. Геласимова. Согласны ли вы с точкой зрения критиков?
«И манера его простая, разговорная, с короткими фразами, легко перенимается». (Д. Быков)
- «...У Геласимова короткое дыхание - его проза написана в ритме всхлипа; короткие предложение, ставшие его фирменным знаком рассчитаны только на вдох».* (Т. Егерева)
7. Проанализируйте рецензию М. Ремизовой на рассказ «Нежный возраст», опубликованную после дебюта А. Геласимова в журнале «Октябрь» в рубрике «Новые имена» (2002).

СВЕЖАЯ КРОВЬ

Рассказ «Нежный возраст» А. Геласимова (который успел после своего дебюта выпустить книжку в «О.Г.И.») демонстрирует редкое мастерство в работе с довольно опасным материалом: текст представляет собой фрагмент дневника подростка, причем автор ни коим образом не отождествляется с «рассказчиком», и это выгодно отличает его от бесчисленных публикаций в духе «воспоминаний о детстве», наполненных сентиментальной ностальгией по предметам личного обихода и стариковской жалостью к себе (что примечательно вне всякой зависимости от реального возраста «мемуариста»).

Но повторимся: «Нежный возраст» — это о другом.

О другом — в обоих смыслах. Ничего особенного в жизни подростка не происходит. Без конца ссорятся родители — это в его восприятии обычный ход вещей, не стоящий большого внимания. Зато необыкновенное впечатление на него производит случайно увиденный фильм «Римские каникулы». Одри Хепберн становится для него чем-то вроде символа инобытия, в которое он бессознательно хочет вырваться из надоевшей, из кажущейся бесконечности и ненарушимой обыденности. Эту тягу он по малолетству формулирует для себя как «влюбленность», противопоставляя свою грезу «тупому», как ему представляется бытию.

Между тем столь раздражающая его устойчивость окружающего мира как раз и оказывается иллюзорна. Он не знает и не предчувствует, что «нежный возраст» практически закончен — мир вокруг него шаток и неустойчив, отчасти потому, что он неизбежно прорывается из кокона детства в гораздо более сложный, «взрослый» мир. Первым сигналом, коснувшимся периферии сознания, становится пьянка, окончившаяся поджогом трех машин, уголовным делом для одного из приятелей и увечьями для другого, — отец-депутат переломал тому несколько ребер, но от милиции откупил.

Второй сигнал, и это финал рассказа, — грянувший развод родителей и скоропалительное бегство матери не куда-нибудь, а за границу. Финал сделан особенно сильно, в очень скупых и точных словах, с каким-то чеховско-хемингуэевским лаконизмом. «А она говорит: У тебя девчонка есть? Я говорю: а у тебя когда самолет? Она говорит — ну и ладно. Потом еще молчали минут пять. В конце она говорит: ты будешь обо мне помнить? Я говорю — наверное. На память пока не жалуюсь. Тогда она встала и ушла. Больше уж не плакала».

Этот жесткий финал приподнимает текст с плоскости полубытовых пустяков в пространство настоящей драмы. Автор намеренно исключает все драматизирующие эффекты, вычищая текст до полной внешней бесстрастности. Эмоциональный накал достигается здесь через противоречие со скупой, почти до полной «скелетной обнаженности», речью. Не произнесенное ни автором, ни рассказчиком оказывается гораздо значимей слов. Рассказ как бы пробует на себе версию о значимости умолчания, когда затекстовый смысл воплощается через отказ от слов. Для современной литературы, умудрившейся благодаря своему неумеренному речеизвержению, во многом девальвировать слово вообще, этот опыт представляется весьма продуктивным.

К какому аспекту рецензируемого произведения обращается критик во вступлении?

Покажите, как рецензент, не пересказывая подробно содержания, раскрывает проблематику рассказа.

Найдите строки, где анализируется повествовательная манера А. Геласимова и определяется место произведения в общем литературном процессе.

8. Какими размышлениями вы бы дополнили рецензию критика? Состоялся ли дебют А. Геласимова в современной литературе?

Роман Сенчин (1971)

Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 в республике Тыва. Позже семья переехала в Красноярский край.

Литературная карьера Романа Сенчина началась в середине 1990-х, когда в региональных печатных изданиях стали публиковаться его рассказы. Параллельно с творческой деятельностью Роман получал высшее образование в Литературном институте им. А. М. Горького (окончил в 2001 году). После окончания института работал там же преподавателем прозы на протяжении двух лет, а также писал для таких печатных изданий, как «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Дружба народов».

В большую литературу писатель пришел в 2001 году, когда был опубликован сборник его повестей и рассказов «Афинские ночи». За ним последовали повесть «Минус» и роман «Нубук», вышедшие в издательстве «Эксмо».

После пятилетнего перерыва в 2008 увидел свет роман писателя «Вперед и вверх на севиных батарейках». Спустя год был издан роман «Ёлтышевы», вошедший в список финалистов «Национального бестселлера — 2010» и шорт-лист «Большой книги — 2010».

В обратную сторону

Торговля сегодня получилась удачнее, чем во вторник. Погода помогла - не жарило, но и пугающих дождем туч ветерок не нагнал. Серовато-белесая хмарь расстелилась по небу, словно кисейная занавеска. Редкий для июля денек - тут в основном или настоящее пекло, или, наоборот, гроза и обложной дождь на неделю; да к тому же впереди выходные, их хочется провести ни о чем не заботясь, не покидая родных квартир. И люди повалили на рынок с сумками и пакетами - продуктами запастись.

К трем часам у Натальи Сергеевны осталось на прилавке несколько пучков укропа и батуна, лук головками и килограмма два не слишком-то аппетитных, с желтоватыми попками, огурцов. Огурцы поменяла у соседки-конфетницы на пригоршню барбарисок (лучше б шоколадных, конечно, конфет, только съедятся они в минуту, а эти сосательные ребятишки с ними повозятся, хоть просить будут реже). Упаковав весы, Наталья Сергеевна пробежалась по рядам, купила макарон, чаю, бараньих ребрышек, трусики для Юры за семнадцать рублей. Пора и на автобус.

По городу вместо вместительных желтых "ЛиАЗов" бегают маленькие, шустные "ПАЗы", еще какие-то кособокие, остроносые коротышки; на боковых и лобовых стеклах у них у всех объявления большими буквами: "Без льгот!"

Несколько уж лет назад закрылся местный автобусный парк, старые, изломанные "ЛиАЗы" ржавеют на его территории, зато расплодились вот эти, коммерческие, с крепкими парнями-кондукторами у входа. Три рубля проезд для всех категорий - инвалиды, не инвалид, ветеран не ветеран. Зато причаливают к остановкам, грех жаловаться, один за другим. Прибыльное, видно, дело, и люди, хоть и ворчат, что дорого, пешком не ходят. Да и как тут походишь - город все-таки не в один километр, и весь день можно потратить, чтоб с одного конца до другого добраться, тем более если здоровье худое.

В начале семидесятых, когда автовокзал поставили, город вроде расстраивался рядом с ним, а потом вдруг перевернулся на противоположный край. Закипело там что-то большое, шумное, и вскоре поползли вверх девятиэтажки из белых панелей. Между ними, конечно, нашел себе место и рынок (старый, "колхозный", давно уже захирел, всеми забылся, а недавно вдобавок сгорел почти целиком)... Наталье Сергеевне нужно с рынка на автовокзал, ей без этого коммерческого, за три рубля, не обойтись.

Вон, едет. Народ на остановке заволновался, старики стали подступать ближе к проезжей части, чтоб первыми оказаться в салоне, занять сиденья. Наталья Сергеевна покрепче сжала ручки трех своих сумок, с которыми, туго набитыми, утром приехала торговать.

На пути в салон ледяной глыбищей - не улыбочивый парень. Обилечивает при входе. Это новый метод у них, научены скандалами, когда какой-нибудь пенсионер или молодой наглец, приехав, куда ему надо, вырывался на улицу не заплатив. А вот так, если подумать, даже удобнее: взяли с тебя деньги - и спокойно ездай хоть до конечной.

Слава богу, есть сиденья свободные. Наталья Сергеевна устроилась недалеко от выхода, облегченно вздохнула, расслабилась. Но здесь бы можно и постоять, главное - чтоб с деревенским повезло...

За окном длиннющие, буквами "п" и "г", жилые дома нового микрорайона, пестрой лентой бегут-спешат куда-то "Жигули", "Москвичи", "Ауди", веселят взгляд рекламные вывески. А в автобусе тихо и неудобно, люди молчаливые, хмурые, даже мужья с женами ведут себя как чужие. Да и о чем говорить?.. Едут и едут.

Перебрались через мост над широкой, но сонной, словно отдыхающей после долгого путешествия по саянским ущельям, рекой Оей и оказались в старой части города. Вот Соборная площадь, вот сам собор, большой, белый, с пятью золочеными куполами,

напротив него - двухэтажное здание бывшей городской управы, а ныне музей... Город некогда был центром большого пограничного уезда, потом, уж в тридцатые годы, территорию уезда разрезали на пять районов и понизили его столицу до простого райцентра. Но город - он город и есть, особенно если один на несколько сот километров... А вот старинный каменный дом с полуосыпавшимися лепными цветами на стенах собес. Надо зайти бы, опять справиться насчет пенсии, но сегодня уже не успеть, да и заходила две недели назад, сказали - как обрубил: "Ничего в обход закона сделать не можем. Будет живой - получите, нет - так что делать... Не имеем права". Вообще-то так, но если, не дай бог, умрет, на что ж хоронить...

Автовокзал с виду - прямо дворец. Даже две колонны перед центральным входом держат бетонную плиту-козырек, а на козырьке тесной рощицей крепкие стволья полыни.

Да, грандиозное здание, а вот оказалось ненужным. Буфет прикрыли сперва на ремонт, но теперь, кажется, навсегда; туалет как сломался, так заколотили дверь гвоздями, вместо него построили деревянный сортир на улице. А прошлой осенью и кассы упразднили, и с тех пор три полукруглых окошечка вечно зашторены. Плату собирают сами водители, набивают автобусы до отказа. Раньше как было строго - только на сиденья продавали билеты, всё контролеров боялись, ссылались на технику безопасности, но зато автобус давали большой - "ЛАЗ" или даже "Икарус" (ох, настоящей автобусной специалисткой с этими поездками стала), теперь же неизменно - крошечный "пазик".

При посадке случаются ссоры, крик, бывают и потасовки среди мужиков; едут, как кильки в томате, обязательно кому-то плохо становится, детишек от тесноты и тряски тошнит... Писали, говорят, жалобы, к главе администрации даже пытались сходить. Везде вместо помощи дают понять, что, наоборот, благодарить должны, что вообще рейс этот не упразднен, как другие многие. "Убыточно", - говорят. А что значит убыточно? Билет до Большой Коя двадцать три рубля, а ехать пятьдесят с небольшим километов. Десять пассажиров - вот и окупается и бензин, и остальное. Но с начальниками особенно ведь не поспоришь: дадут от ворот поворот - и гуляй...

С городского рысцой к деревенскому. "Пазик" уже на положенном месте - под указателем "Большая Коя". Шофер у двери собирает плату, запуская по одному. У Натальи Сергеевны деньги наготове - восемнадцать рублей в кулаке. Ей до села Малая Коя, оно к городу ближе.

Пока бежала, все вглядывалась в окна автобуса - есть ли просвет, есть ли места свободные. Дал бы бог... Как раз бывшая соседка по улице с шофером рассчитывается, попросить ее, чтоб заняла место. Но за соседкой две старушки, еле на ногах держатся, еще сзади - парень лет тридцати пяти, крепкий и ладный на вид, только вот вместо рук слишком розовые и гладкие для живой кожи протезы. Как тут попросишь... Наталья Сергеевна пристроилась за инвалидом, вынула из кармана кофты часики с порванным ремешком. Три двадцать. До отхода еще почти полчаса. И эти полчаса придется провести в тесном и душном салоне. Сходить куда-нибудь время-то есть - по магазинам бы пробежаться, обязательно попадется, что необходимо купить, - но потом и вообще не втиснешься. Бывает так "пазик" забит, что и дверца не может закрыться.

- Здесь деньги, возьми, - слегка приподнимает парень своими протезами висящую на шее сумку. - До Большой Кои...

Шофер заглянул в сумку, достал скрученные в трубку купюры, пересчитал, разрешил:

- Заходи. - И потянулся к деньгам Натальи Сергеевны: - Куда едем?

На эти рейсы тоже никаких льгот, кроме двух бесплатных поездок в месяц инвалидам первой и второй групп. Но талончики достать - целая проблема, их почему-то вечно не хватает, а ведь должны носить вместе с пенсией... Наталья Сергеевна инвалидности не удостоилась, хотя астма у нее, бывают страшные приступы; несколько раз пыталась пройти комиссию, но безрезультатно. Мужу талоны положены, только какой ездок из него... Год почти лежит без движения, от мертвого не отличишь... Тоже ходила, просила, чтоб самой по его талончикам ездить: "Лекарства купить, с врачами посоветоваться". - "Нельзя, - в ответ каждый раз, - так не положено. И удостоверение инвалида к талону необходимо. Без удостоверения на лицо, предъявляющее талон, он недействителен". И точка.

Сиденья не хватило. Придется стоять. Пробралась, здороваясь по пути со знакомыми, в конец салона, где давка всегда несколько меньше. Положила сумки к гудящим, отяжелевшим ногам. Полчаса до отъезда, потом минут сорок трястись. О дальнейшем лучше пока что не думать - там-то, дальше, самое будет тяжелое.

- Что, Сергеевна, с базара? - встретившись с ней глазами, спрашивает малознакомая женщина с другого края села, имя-отчества которой Наталья Сергеевна не знает.

- Да, съездила вот, - без особого желания отвечает она.

- И как - расторговались?

Наталье Сергеевне не хочется говорить об этом, тем более когда вокруг столько людей, и она лишь отмахивается: неважно, мол.

Женщина как-то одновременно и сочувствующе, и укоризненно кивает, покачивая колечками завитых рыжих волос, и достает из пакета красочный журнальчик "Сторожевая башня".

Постепенно "пазик" забивается все плотней. Впереди выходные, многие едут к родне в деревню, все с сумками, рюкзаками, ведрами. А один вот, будто не знает, что тут и людям не уместиться, притащил на горбу обернутый мешковиной рулон толя.

- Живым бы уехать, а он еще толь этот вонючий! - заворчала немолодая полная женщина с лицом начальницы; Наталья Сергеевна определила ее бухгалтершей или завучем в школе.

- И не пускать! Еще чего!.. Пускай машину нанимает, барон! - поддержали другие. - И так вон впритык, задыхаемся!..

Выступали в основном пожилые, молодежь же, особенно те, кому посчастливилось урвать место на сиденьях, даже не интересовалась, отчего шум. Одни доедали мороженое, другие щелкали семечки или шептались между собой; щуплый темноволосый паренек, сын

бывших учителей Сазоновых, увлеченно - или делая вид, что увлеченно, чтоб не поднимать глаз, не видеть стоящих стариков, - читал книгу.

Возмущение пассажиров не помогло - водитель все-таки пустил мужичка. Сам и помог уложить рулон в проходе. Люди все еще поругивались, но теперь без азарта, поняв, что бесполезно.

Водитель, примирительно улыбаясь, прогудел:

- Хорош ворчать. Надо человеку срочно, до циклона, зачинить избу. Должны ж соображать...

- Всем надо чинить, так не лезут же с досками, с шифером, совесть имеют, - плеснулась последняя волна недовольства, и снова тяжелое молчание; все ждут одного - когда поедут.

- Шофер, да поехали! - не выдержав, вскричал старик с орденом. - Чего еще ждать?

Тут же многоголосая поддержка с разных сторон:

- Действительно! Кому надо - давно здесь! Заводи!

- Аха, - в ответ ухмылка водителя, - чтоб мне влетело потом.

- Да от кого...

- От кого... У меня, что ль, начальства нет?

- А-а, какое начальство! Набил автобус, деньги собрал, потом отдал хозяевам, сколько надо. И все.

- Ух ты. - Водитель снова ухмыльнулся, но на этот раз совсем уж недобродушно. - Эт кто там такой образованный? Покажись-ка! - Никто не показался. - То-то, ждите тогда. - И подчеркнуто не спеша стал разминать сигарету.

Люки в потолке подняты, окна открыты, а духота все равно страшная. Наталья Сергеевна кое-как сняла шерстяную кофту, свернула, положила в сумку, из сумки же достала ингалятор-пшикалку астмопена, предчувствуя скорый приступ... Старается не касаться соседей: тела их горячие, одежда пропитана потом. Как в парилке все...

Наконец-то долгожданный хлопок водительской дверцы. Завелся мотор, с шипением стала распрямляться гармошка двери салона, по пути придавливая стоящего на ступеньках парня в бейсболке. Закрылась, парень тут же навалился на нее спиной, облегченно крякнул.

Тронулись. Лица людей посветлели, будто в самом деле какое-то чудо свершилось; свежий ветерок потек в окна и люки, вымывая спертый, выдыханный воздух... Да, сначала ветерок приятен, но вот "ПАЗ" набрал скорость, ветер окреп и похолодал. Наталья Сергеевна чувствует, что поспешила снять кофту, - простыть после такой парилки можно запросто. А просить, чтоб окна прикрыли, бесполезно - молодежь взбунтуется. Стала вынимать кофту обратно.

- Чего не стоится-то? - в ответ на случайный толчок пихнул ее стоящий сзади мужчина, еще, конечно, поворчал: - И возьтятся, и возьтятся...

Миновали двухэтажные, обшитые почерневшей вагонкой бараки, какие-то безлюдные, давно умолкшие заводики, и начался загородный пустырь. По пустырю, меж курганчиков мусора, бродят скучные, серенькие коровенки, выискивая подходящую траву. Следом за ними тащится пацаненок-пастух лет двенадцати, помахивает скакалкой... "Не много же молока они здесь нагуляют", - подумала Наталья Сергеевна, и вспомнилась ее Доча, гладкая и всегда спокойная, степенно радостная; с выпаса возвращалась царицей, нет, какой царицей... матерью скорее, кормилицей. Прошлой осенью пришлось продать за полторы тысячи, когда муж слег. Деньги испарились в мгновение ока: ушли на еду, на лекарства, на поездки в город за лекарствами...

Скучный пейзаж пустыря сменяет дачный городок - строящиеся коттеджи из красного кирпича. Сперва они, помнится, раздражали народ, обязательно кто-нибудь цедил презрительно и угрожающе: "У-у, буржуины, лепят замки себе. Ничего, их и здесь достанут! Как раз все в одном месте - легче будет..." Но шелкает год за годом, а коттеджи все никак не достроятся, некоторые, наоборот, разрушаться начали - видно, и буржуйам не очень-то сыто живется. Да к тому же участки у них соток по десять - двенадцать, один дом половину земли занимает. Пародия какая-то, а не дачи.

...Почти вся жизнь Натальи Сергеевны прошла в небольшом, но столичном городе, в четырехстах километрах отсюда, по ту сторону Саянских гор... Еще в середине девятнадцатого века пробрались туда, за границу Российской империи, русские и основали поселения, распахали утоптанную овечьими отарами землю, засеяли хлебом. Худо-бедно уживались с местным народцем - тувинцами, перенимая друг у друга полезное в быту, культуре. В сорок четвертом году Тува присоединилась к Союзу - стала последним приростом СССР; через горы, по извилистому Усинскому тракту, поползли караваны грузовиков; вместо кочевых юрт поднялись благоустроенные дома-многоэтажки, Дома культуры, кинотеатры, задымили заводские трубы. А в девяносто первом обожгла терпимую вроде жизнь цепь погромов и убийств. Из сел в столицу республики и самый русский по населению город стали съезжаться дети и внуки тех, кто эту республику "поднимал и окультуривал". А из города вскоре поехали дальше, за Саяны, "в Россию". Были дни, что по мосту через Енисей проходило по десятку "КамАЗов" с контейнерами. Наталья Сергеевна провожала их, глядя из окон своей трехкомнатной квартиры с видом на реку, на далекие горы, за которыми Красноярский край - русская земля...

По семейному преданию, их род, Шаталовых, появился в Туве - тогда еще Урянхае - чуть ли не одновременно с первопроходцами-казаками. И бабушка, и мать Натальи Сергеевны лежали в этой земле, уцелела и избенка, где Наталья Сергеевна родилась. Но вот пришло время уехать... Дети, а их было трое тогда, выросли, старшие дочь и сын - давно уже устроились от Тувы подальше, муж, электромеханик, родом из-под Новосибирска, тоже все уговаривал переехать, да и возраст подходил к пенсионному - потянуло в сельскую местность, к земле, к животине... "Чего тут ждать? - спрашивали друг друга, а скорей самих себя "некоренные" и отвечали-предполагали: - Вот протянем, может, придется и

пешкодралом через Саяны чесать. Даже староверы обратно в Россию стекаются, а у них-то нюх - о-го-го!..."

Покружив по югу Красноярского края, муж Натальи Сергеевны выбрал для переезда Малую Кою - село довольно большое, места вокруг живописные: рядом сосновый бор, пруд рыбный, километрах в двадцати Енисей, и от райцентра не слишком-то далеко... Продали квартиру, ухоженный садовый участок с домиком и тепличками, гараж бетонный, в селе же купили трехкомнатную избу, огород при ней в пятнадцать соток. Перевезли вещи, стали обустраиваться на новом месте.

Многие переехавшие, кого встречает теперь Наталья Сергеевна, жалуются, что не могут прижиться, что преследуют их напасти и неудачи. То одно, то другое, словно бы какие-то силы за что-то мстят. И природа, и люди, и земля - все не то, все не так...

Не обошли беды и ее семью. Во-первых, обворовали в первые же дни, как переехали, - ночью, прямо в ограде, вытащили из "Москвича" аккумулятор, запасное колесо, детали, какие в багажнике были, домкрат, еще по мелочам... Собаку тогда завести не успели, да и не думали, что так воруют. А оказалось - постоянно начеку нужно быть, спать вполглаза, курятник, летнюю кухню, сарай запирать надежными замками... Конечно, вызвали тогда участкового, в милицию городскую звонили, но те ошарашили ответом: "А, это каждую неделю бывает. Сторожить надо лучше. Сами разбирайтесь".

Потом выяснилось, что огородом здесь заниматься - дело сложное. С водой проблемы, напорная башня не действует, и пришлось забивать скважину; полмесяца муж с сыном Юрой каждый день с утра до ночи кувалдой по трубе стучали, по сантиметру сквозь скальный пласт ее двигали. К тому же накрывают село выбросы алюминиевого завода (он километрах в семидесяти от Малой Кой, но все равно достает, да и направление ветров способствует). После этих выбросов - черными туманами их здесь называют - даже картофельная ботва словно бы обугливается, не говоря уже о помидорах, огурцах, перце - они только под целлофаном... А на огород в смысле зарабатывания денег очень рассчитывали. Три теплицы поставили, но выращивать столько, чтобы всерьез торговать, все равно не получилось. И спрос на овощи в этих краях не такой, как в Туве, - здесь каждый в общем-то имеет свой клочок земли, еще со времен декабристов земледелием занимаются...

Много, да, много проблем, неприятностей, бед было за последние годы, но все они тускнеют, все отступают перед одной... Смерть Юры застигает остальное... Начал учиться в педагогическом училище в городе, двадцать три было ему, как раз за год до переезда вернулся из армии. И вот однажды во время сильного ветра возвращался он в общежитие... а перед тем перестилали шифер на крыше и не закрепили несколько листов... Сорвались, и один ребром прямо на Юру... Говорят, наказали кого-то за халатность, похороны-то РСУ на себя взяло, которое ремонт крыши осуществляло... Теперь лежит сынок на новом кладбище, что растет за северным концом города в бесплодной каменистой степи. Добраться туда без машины - эпопея целая: от ближайшей автобусной остановки километра три пешком, петляя меж предприятий, складов, очистных сооружений...

На похороны приезжали старшие - сын Андрей из Новосибирска и Ольга, дочь, из Кемерово. Нехорошо они себя повели, не напрямую, но дали понять, что родители виноваты - переехали, мол, в какую-то глухомань, деньги профукали (а за квартиру, дачу, гараж удалось выручить копейки - многие тогда продавали), и Юре пришлось в общежитии ютиться... Пять лет с тех пор прошло, и вот только этой весной кое-как отношения с Ольгой стали налаживаться, но благодаря тоже печальным обстоятельствам. Разводится она с супругом, делят двухкомнатку, судятся, и пока что Ольга привезла сыновей - шестилетнего Вадика и двухлетнего Юру - родителям. В апреле привезла, второпях, как сказала, на пару недель, почти без сменной одежки, а уже июль кончается, до холодов недалеко... Конечно, радость, что рядом внучата, а с другой стороны... Как вот их оставлять без пригляда, когда торговать уезжаешь? Муж-то лежит.

Много лет она была воспитателем в детском саду, в Доме пионеров кружки вела, а в деревне пришлось последние три года до пенсии работать уборщицей в школе, и это было везением - работы почти нет, совхоз, в который входила Малая Коя, развалился; люди кормятся, как кто может, - одни огородом и животиной, другие воровством. Муж Натальи Сергеевны, электромеханик, так места и не нашел, да и заболел после Юриной смерти: два инфаркта, потом отнялись ноги; оформили первую группу инвалидности...

Как-то страшно быстро и неожиданно постарели они, обессилели. Сюда переезжали еще бодрыми, крепкими, планы новой жизни строили, а тут словно в мышеловку попали. Прищелкнуло - и не освободиться, не дернуться, кости переломаны. Узнали деревню, поняли, что совсем это не садово-огородный кооператив, а страшный, жестокий мирок, что не найти им здесь друзей; каждое семейство живет особняком, и чем работающей семья, тем сильнее враждует с окружающими, никого не подпускает к себе, - может, напуганы жуликами, ворами, алкашами, в каждом их подозревают... Да, кто что-то имеет, постоянно живет с чувством страха, что в любой момент (только слабину дай) запросто лишится этого немногого; дошло до такого: гусей и уток перестали на пруд выпускать - вечером и половины из стада можно недосчитаться. Отправляя корову на выпас, дрожишь - вернется она или нет. Пастух на самом деле никакой ответственности не несет, может и отмахнуться запросто: "Забрела куда-нибудь. Что я, стоглазый, что ли?!" И бегай всю ночь по бору, по заброшенным, заросшим колючим осотом полям, зови свою Дочку, а от нее - бывали в Малой Кое такие случаи - лишь кишки да окровавленная шкура тебе остались...

В позапрошлом году, словно вдобавок к прочему, пришла новость: скоро село вполне может ухнуть под землю.

Давно всем было известно, что километрах в пятнадцати от Малой Кои еще с дореволюционных времен остались угольные шахты. Почти без всяких наземных сооружений, просто ямы и вокруг кучи незарастающей кустарником и травой глубинной почвы... Старики пугали детишек историями про призраков, что бродят ночами вокруг шахт, а на головах у них горят свечи, и кого поймают живого, утаскивают в холодные, бездонные норы... Но в действительности происходит куда страшнее: подземная река нашла шахты и затопила их, стала размывать породу, пробиваясь к реке наземной, Енисею, кратчайшим путем. И на пути у нее оказалась Малая Коя. И уже в трех-четыре километрах от села появились провалы.

Приезжали геологи, топографы и в конце концов объявили официально, что провалы рано или поздно дойдут до села и утянут в бездну, сожрут дома, речку Кою, пруд, все остальное. Скальный пласт, что лежит под селом, не спасет - вода сильнее...

Началось переселение. Раскатывали срубы, метили каждое бревно и везли подальше от страшного места. За два года село в триста почти дворов уменьшилось наполовину. Закрыли клуб, фельдшерский пункт, магазин; из средней школы сделали начальную (почти все учителя разъехались, а другие, как вот родители этого паренька Сазонова, спиваются потихоньку); почта еще работает, электричество, кажется, до первого урагана или аварии - ремонтировать, ходят слухи, не станут. А как без света? - вот и еще причина покинуть дичающую Малую Кою... Продукты и хлеб привозят в автолавке, да и то время от времени.

В общем, на новых картах добавится к названию "Малая Коя" сокращенное слово в скобках - (нежил.).

Остались лишь старики, совсем уж бедные, кому переезжать не на что и некуда, ну и алкашня. Наверно, как-нибудь эвакуировать будут, когда совсем прижмет. А может быть, и не будут...

Когда муж Натальи Сергеевны выбирал место, Малая Коя вроде бы возродилась после разрухи перестроечных лет. Акционерное общество организовали, стали коровники ремонтировать, дорогу начинали асфальтовую строить - завезли камень, завалили старую грунтовку, да так и бросили. Теперь ездят рядом по ухабистому проселку, и автобус отказался в Малую Кою заруливать: "Тут в полмесяца любой вездеход расхряпает. Ходите пешком". А пешком с трассы до села - без малого пять километров. Напрямик короче, но там другие сложности...

Проблемы, сложности, беды и ожидание новых бед. Вот так и встретила Наталья Сергеевна свою старость, неизлечимую немощь мужа. Действительно, как в мышеловку попали...

Загородный сосновый бор резко, будто по линейке обрезанный, кончился, и - поля, поля с уже пожелтевшей, дозревающей пшеницей. Если смотреть вдаль, очень красиво: желтые прямоугольники чередуются с зелеными, уходят к самому горизонту. Точно лоскутное одеяло набросили на неряшливо заправленную постель - бугры, морщины, складки... Слегка наклонившись к окну, Наталья Сергеевна засмотрелась, забылась, даже невеселые мысли пропали, растворившись в бездумном, очищающем каком-то созерцании...

- Насеять-то дело нехитрое, - проскрипел над ухом ворчливый голос, - а как убирать... Наш глава опять по радио плакался: горючего нет, техника вся на приколе...

- Да-да, я слышала, буквально позавчера, кажется, - еще не опомнившись, по привычке поддержала Наталья Сергеевна, и тут же ее взгляд потускнел, краски стали бледнеть, превращаясь в серое одноцветие, короткий, свободный полет кончился.

А ворчливый сосед, получив поддержку, заскрипел уверенней:

- Дождемся, ох дождемся, что скоро обратно косами и серпами придется. Как при царе Горохе...

- Ага, как же! - ввязался старик с юбилейным орденом на затаканном пиджаке. - Косами и серпами - это адский труд, понимаете? А народ-то разучился трудиться. Не к царям Горохам, а сразу в первобытность провалимся, чего уж там! Собьемся в стаю, дубин наломаем - и на соседнюю стаю. Вот так!..

Автобус тряхнуло, и все как-то дружно умолкли, будто поприкусывали языки. А потом интерес пассажиров переключился с глобальных проблем на другое: "пазик" приближается к первой остановке - селу Знаменское.

Наталья Сергеевна гадает, сколько выйдет народу. Сесть бы не сесть - много здесь никогда не выходит (через Знаменское следуют еще с десятков автобусов), но хоть встать поудобнее, никого не касаться...

Село большое и богатое; это их поля проезжали только что, самые плодородные и ухоженные по всему району. Да тут и грех чахнуть - Знаменское находится на Усинском тракте (участок трассы федерального значения Красноярск - Госграница), и в селе большая дорожная мастерская, рабочие места, техника. К тому же функционируют пеньковый и спиртовой заводы, а это тоже рабочие места, деньги, жизнь... Вот сюда бы, частенько мечтает Наталья Сергеевна, перебраться, какую-нибудь работенку найти. В детском саду или где еще... Но поселиться в Знаменском трудно: власти села, как всякого благополучного региончика, не приветствуют увеличение населения со стороны. Места под строительство дборюги, а чтоб кто-то дом в Знаменском продавал - настоящее чудо. Дураков нет из рая бежать.

"Пазик" остановился возле теремка-столовой, где обычно обедают перед многочасовым путешествием через Саяны дальнобойщики. Дверца с шипеньем стала сжиматься; парень в бейсболке вновь скорчил страдальческую гримасу, подался вглубь салона, влип лицом в чью-то спину.

- Ну-ну, господа, сокращаемся! - весело крикнул водитель.

Потихоньку, кое-как дверца открылась, и парень вывалился на улицу. За ним еще человек десять. Но почти все тут же заспешили обратно - просто выпускали других, из глубины салона. Вдобавок подсело и несколько знаменских...

Снова бор за окном, прямые, золотистые стволы сосен, пестрое разнотравье у обочины... Год обещают нынче грибным, да и ягоды, говорят, бери не хочу. На рынке завались клубники, ведро - пятьдесят рублей всего-навсего, желающих купить нет почти. Многие сами за город едут, собирают. Конечно, если время есть - чего не ездить... Наталья Сергеевна за весь июль только раз сбежала к ближайшим кустам жимолости, нацарапала по оборкам литров пять. С сахаром перетерла, да ребятишки почти всё сразу съели. Был бы Вадик чуть повзрослее, его бы можно отправлять, но шесть лет ему - страшновато... Да и вряд ли согласился бы он по косограм лазать, собирать клубнику по яголке - не то воспитание, городской мальчик... Сложно Наталье Сергеевне с внуками, внутренне сложно. Вот почти всю жизнь вроде с детьми, и они к ней тянутся, а внуки наоборот.

Бывает, начнет рассказывать им что-нибудь интересное или книжку вечером возьмется читать и вдруг поймает взгляд Вадика: смотрит он как-то по-взрослому, закостенело так, как на дурочку смотрит. Играть не любит, с Юрой держится холодно, не по-братски, может и оттолкнуть, если тот слишком к нему пристаёт с каким-нибудь своим детским вопросом; если тот есть просит, сунет хлеб или печенку, а суп из кастрюли ни в какую налить не заставишь. Чаще всего сидит перед телевизором, смотрит без разбора все передачи, смотрит тупо, без всяких эмоций, не двигаясь по полчаса. И младший, Юра, на него глядя, похожим становится...

Свернули с тракта на узкую, давно не подновляемую, но тоже асфальтовую дорогу. Автобусик затрясся, запрыгал - увилывать от выбоин бесполезно, они тут на каждом метре.

- В Малой выходит кто? - окликают со стороны водителя.

- А как же! Выходят, ясно! - В ответ дружные восклицания. - У оврага остановите, у оврага!..

Если считать по недостроенной дороге - до села пять километров, а напрямую, через овраг, чуть больше двух. Конечно, через овраг удобнее, только вот... Дело в том, что за оврагом есть полоса хорошей земли, и Makeев, знаменский предприниматель (некоторые из зависти, наверное, называют его кулаком) засаживает ее картошкой. Не сам, конечно, людей нанимает, чтобы сажали, отяпывали, сторожили. И перейти эту двухсотметровую - по ширине - деляну получается не всегда...

Сегодня у оврага сошло четверо. Сама Наталья Сергеевна, тот паренек Сазонов, что всю дорогу просидел, уткнувшись в книгу, рыжеволосая неприятная женщина, заведшая было расспросы о торговле, и намятый автобусной дверцей парень в бейсболке.

Гуськом, словно стародавние пилигримы, побрели вверх по склону холма. Места вокруг безлесье, открытые; вот сейчас поднимутся на верхушку - и слева вдалеке можно увидеть Большую Кою, а за ней совсем узенькую отсюда ленточку Енисея. За Енисеем крутые и синие хребты Саян, несколько гряд, одна за другой, все выше и светлее, и наконец уже не поймешь, горы это или облака. Если же смотреть с холма вперед, через овраг, видна окраина Малой Кои, дальше пруд и еще дальше - сосновый бор.

Молча, лишь побряхтывая да шурша комками засохшей в камень глины, стали спускаться на дно оврага, хранящее следы промчавшегося здесь в апреле потока снеговой воды. Спустились, постояли с минуту, передохнули и так же молча, не помогая друг другу, потянулись наверх.

Наталья Сергеевна позади. Она тут самая больная и пожилая, дотелепается в хвосте как-нибудь... А паренек Сазонов вообще-то мог бы помочь, хоть сумки взять, видит же... Ох, свалится, и никто ведь внимания не обратит, молча уйдут - и все... Теряя равновесие, ухватила за куст карагатника, уколола пальцы, но с радостью поняла в тот же момент, что не свалится обратно на дно, чуть-чуть еще - и выберется...

Выбралась, света не видя, бросила сумки, хватанула ртом черный воздух, но не продыхнулось. Из кармана кофты вытащила баллончик, судорожно сняла крышку, сунула пластмассовый хоботок ингалятора меж зубов. Прыснула в глубину горла горьковато-леденящую струйку, долгую секунду ждала, пока та доберется до груди, до забитых душасей мокротой бронхов. И, почувствовав еле уловимую лазейку для воздуха, стала расширять ее кашлем. Сплюнула вязкий комок, кое-как продышалась.

И вот снова заблестело летнее солнце, уши наполнил энергичный стрекот кузнечиков, жалобные, протяжные зовы кружащего в небе коршуна... Наталья Сергеевна подняла сумки, пошла догонять остальных.

Да, спору нет, картошка у Макеева точно на опытном поле. Даже черные туманы ботву не берут. То ли сорт какой-то особенный, то ли действительно возятся с ней, как с ребеночком, удобрений на нее не жалеют, или Макеев из той породы, кому всегда, при любых обстоятельствах, везет, все у таких получается, все идет как по маслу... В деревне на огородах картошка уж давно чахлая, поцвести как следует не смогла, а на этой ягоды что виноградины. Дело понятное: хочешь урожай получить - силы вложи. Если не свои, так вот как Макеев: найми работников, пригоняй раз в две недели водовозку на поле... Осенью сплавит в Дудинку и Норильск эту картошечку - и сытая жизнь у кулака. А тут бьешься, бьешься за копейку несчастную - и ни здоровья, ни мозгов, ни средств, чтоб из нищеты выбраться.

- Ну и куда?! - издали резкий, воинственный окрик.

Наталья Сергеевна вздрогнула, уставилась на остановившихся попутчиков, а от них перевела взгляд дальше.

Навстречу торопливо и в то же время старательно переступая через картофельные гнезда шагают двое мужиков. В руках вилы.

- Всё не научитесь. А? - Голос ближе. - Сколько ведь раз!..

Оба они знакомы Наталье Сергеевне. Братья Тишины, здоровые, кряжистые ребята, немолодые уже. Раньше работали трактористами, а теперь вот у Макеева. Следят за картошкой.

Забредшие на картошку мнутя в нерешительности. И обратно поворачивать, ясное дело, не хочется, и вперед, напролом, шагать опасно. Пырнуть вилами Тишины вряд ли пырнут, но бока намять могут. Хозяин им, народ говорит, щедро платит, а они стараются отработать на совесть.

- Заворачивай давай, - велит старший Тишин, Борька. - Чего ждете-то?

Парень в бейсболке - первый раз, что ли, идет здесь - решил посопротивляться:

- А в чем дело? Что по картошке? Так ведь аккуратно же...

- Да уж ты аккуратно! - перебивает Борька. - Гля, в самом гнезде стоишь, умник!

- Ты бы поосторожней, - подсобрался, набычился парень.

- Ты, хе-хе, тоже... Давай, короче, заворачивай. Все равно не пропустим.

- Ребята, Боря, Саша! - тоненько, жалобно заговорила та рыжеволосая, неприятная Наталья Сергеевне женщина. - Зачем вы так? Зачем же мучить друг друга? Ради чего, ребятки? Все ведь это ничтожно, все наши кусанья, грызня эта. О другом нам думать нужно, не о прахе, ребятки, заботиться!..

- Ай, тетя Шур, хорош! - отмахнулся, сморщившись, Борька. - Не агитируй. У меня спиногрызы каждый день жрать просят, а кормлю я их вот этим, - обвел рукой деляну, - этим прахом вот денежку добываю. Ступай в обход лучше и думай там о вечном своем.

- Е-ех, ребятки, ребятки, - жалобный тон сменился на скрыто-угрожающий, - пожалеете ведь, когда великая битва начнется. Ведь кто в стадо Господне не вольтется, тому мучиться страшными муками во веки веков...

Тут вступил паренек Сазонов - выпалил нервно, срывающимся голосом:

- Сами ведь ходите, а нам осталось каких-то сто метров!..

- Нам, уважаемый, положено здесь ходить, - хмыкнул Борька, - таких вот гонять. Чужая это территория, ясно, нет?

- Так огородите ее и псов притащите! Кретины...

Паренек развернулся, зашагал назад, специально давя, ломая картофельную ботву.

- Э-э! - зарычал вслед Борька Тишин. - Догоню ведь, мордой натыкаю! - И, взяв наперевес вилы, двинулся на остальных. - Заворачивайте, не доводите...

По заросшей пыреем и колючим осотом пахоте потащились вдоль картофельной полосы. Все так же гуськом, так же молча. Лишь парень в бейсболке что-то злобно бурчал, оглядываясь на Тишиных. А те шагали метрах в двадцати, следя, чтоб кто не ринулся опять через поле...

У села вид такой теперь, будто по нему ураган свирепый промчался или, точнее сказать, будто обстреляли его из тяжелых пушек. Хорошая половина дворов разрушена, вместо домов - лишь кучи досок с висящими на них кусками штукатурки, битые кирпичи, ржавая, никуда не годная жесьть. Заборы полуповалены, более-менее добрые доски или увезли хозяева на новое место, или же растащены соседями.

Всегда, как идет по улице Наталья Сергеевна, одна мысль приходит в голову: "А когда мы?.. Ведь надо куда-нибудь, надо,ждемся..." А куда?! Как? Где деньги? Где силы?..

Дом Натальи Сергеевны на другом краю села от того, где они вышли, огибая картофельную деляну. А это еще с километр топать на очугуневших ногах, вдобавок вот любоваться разрухой...

Возле бывшего сельмага (от него, собственно, за полгода бесхозности сохранился лишь сруб - вагонку со стен, оконные рамы, шифер забрали какие-то приезжие люди, увезли на грузовике), возле остатков магазина - хлебовозка. Из кабины далеко вокруг разносится

оптимистическая магнитофонная хрипотца: "Я-а замерзаю, вшей кормлю, на голых нарах сплю! Но-о не желаю поменять профессию свою!.." Снова сегодня поздно приехал - раньше строго привозили хлеб в час дня, а теперь могут и в три, в четыре или, например, как сейчас - почти что в пять.

Орудует в забитой лотками будке Геннадий, мясистый, кучерявый мужичина, добродушный и нагловатый. Его знают все в Малой Кое, он одновременно и шофер, и продавец, три раза в неделю привозящий в село необходимый каждому хлебушек... Если уж такое дело - машина на пути, - Наталья Сергеевна решила прикупить буханку-другую. Есть вообще-то дома, но запас, как говорится, лишним не бывает...

Перед дверцей будки людской ручеек. Все уставились на Геннадия, в руках давно готовые деньги, пакеты, сумки. И каждый, дождавшись очереди, обязательно пожалуется:

- Вот весь день просидели здесь, прождали... Приезжал бы пораньше... ведь дома тоже дела...

В ответ Геннадий то ли шутя, то ли всерьез басит:

- Спасибо сказали б, что еще езжу! Задарма, считай, трястись к чертям на кулички... Машина вон, мля, рассыпается. А чего мне без нее? Новую-то хрен дадут. В скотники, что ль, наниматься?

- Ох, Гена, езд, езд, ради Христа. Как нам без хлеба?..

Поблизости от машины крутится ребятня, мечтая о булочке с повидлом, что имеются у дядь Гены в ассортименте товаров. Взрослые редко их покупают - "тут бы где на хлеб наскрести!" - а дядь Гена, бывает, выдаст на всю ораву пару штучек и веселится, глядя, как их делят, рвут из рук в руки, ругаясь и чуть не дерясь.

Да, надо подкупить хлебушка - можно сухарей засушить. Действительно - все на волоске висит, может, больше и не появится здесь Геннадий, и как тогда... Муки есть у Натальи Сергеевны килограммов десять, но разве это надолго?

Протянула четырнадцать рублей Геннадию:

- Две белого, пожалуйста, и две черного.

Пока тот возился с лотками, пересчитала деньги в кошельке. После всех покупок, платы за автобусы от торговли осталось всего-то тридцать восемь рублей. А до пенсии - больше недели. Если к воскресенью огурцы нарастут, надо будет опять ехать в город; к тому же цветная капуста подходит, и она как раз сейчас на рынке в цене. Что ж делать, поедет. Опять весь день на ногах ради сотни рублей, которые тут же испарятся, потратятся на незаметные, но необходимые мелочи... А если в воскресенье дождь проливной, или жарыща, или у мужа ухудшение (о самом плохом думать нельзя), или что с внуками... В общем, лучше уж не загадывать - как бог даст...

Сложила буханки в сумку, где утром был белокожий, длинный, натертый растительным маслом, чтоб блестел и выглядел пособлазнительней, кабачок (продать его,

двухкилограммового, удалось за десяточку), пошла дальше. Навстречу - Татьяна Дмитриевна.

- Здравствуйте, моя дорогая!

- Добрый день, добрый день, Сергеевна!

Сразу как-то легче стало, потеплело и отмякло в груди... С этой женщиной у Натальи Сергеевны по-настоящему хорошие отношения. С одной, пожалуй, из всех жителей Малой Кой. Беды их подружили... До гибели Юры в основном здоровались только, фразами о погоде перебрасывались, о чем-то еще, что сразу же вылетало из памяти. Но вот когда с Юрой случилось... неожиданно совсем, и единственной, кто помог тогда, оказалась Татьяна Дмитриевна. И словом душевным, и делом - поддержала. Моталась по разным конторам с бумагами, поселила Наталью Сергеевну и ее мужа в городе у своей сестры, на похоронах что-то делала, поминки были на ее плечах. Мало что видела и соображала, конечно, в те дни Наталья Сергеевна, но все-таки заботу всегда почувствуешь.

Старая и такая верная истина: кто сам несладко живет, тот к чужому горю отзывчивей... У Татьяны Дмитриевны вся жизнь несладкая. Единственная дочь - дочери уже под сорок - с рождения очень больна психически. Почти все время ее держат в пансионате для неизлечимых; мать берет ее иногда - долго перед тем просит медицинских начальников, - но после какой-нибудь выходки (уровень развития у нее, как у ребенка трех лет) приходится сдавать ее обратно врачам...

За чашкой чая посидеть, не спеша побеседовать подругам удастся редко - все дела, суета, заботы. Обычно встречаются вот так, посреди улицы, делятся новостями, жалуются, горюют, а потом, спохватившись, бегут дальше, куда кому надо.

- Как у вас? - осторожно спрашивает Татьяна Дмитриевна. - Как супруг?

- Все лежит, все лежит. - Наталья Сергеевна покачивает головой. - Уж, наверно, теперь к одному концу...

- Не надо так, ведь бывали случаи...

- Надеюсь, на это только и стоит надеяться. Что ж... Вот с рынка еду, - говорит Наталья Сергеевна более живым голосом. - Вроде расторговалась, а денег снова тридцать рублей. И не купила особенно ничего.

Татьяна Дмитриевна соглашается:

- Да, деньги летят сумасшедше. Тоже пенсии жду не дожусь. Настюшу взять хочу хоть на неделю. Лето кончается, а она там, в четырех стенах, бедняжка. Тут съездила к ней... Ох, худая, желтая вся, плачет, домой просится...

- Конечно, родной дом есть родной дом. Все легче. - Но против воли вспоминается Наталье Сергеевне случай из прошлого лета: Насте вдруг разонравилось ее платье, и она при чужих людях - а это у магазина произошло - стала его снимать; Татьяна Дмитриевна

бросилась к ней, но отлетела, получив от дочери локтем в грудь, какие-то парни заготовили; с трудом удалось завести ненормальную за калитку, успокоить.

- Вам-то дочь пишет? - спрашивает Татьяна Дмитриевна.

- Телеграммы шлет, писать не любит. Да и что писать... Телеграммой легче... Просит, чтоб ребята еще побыли здесь, пока разводится, работу ищет. Все собираюсь ей написать - у них ведь и одежки нет почти, обуви самое главное... Да чем она... тоже сама без денег.

- Ну а муж ее? - напоминает Татьяна Дмитриевна. - Отец их? Должен же помогать.

Наталья Сергеевна снова вздыхает и совсем по-старушечьи - сама это чувствует - поджимает губы:

- Ох, не знаю, не знаю... Пускай сами решают. Что мне ввязываться... только лишний повод для ссор. - И переводит разговор на другую, менее болезненную тему: - Вы с переездом-то как, не надумали?

- Да куда мне? - отмахнулась подруга. - Если им надо, перевезут, а у меня ни сил, ничего... И ради кого трепыхаться? Настюша там, в больнице, больше у меня нет никого. Ради кого?.. Плохо вот, если свет отключат, продукты совсем перестанут возить. А так... Доскриплю и здесь как-нибудь. Господь не оставит, не допустит, чтоб провалилась под землю...

- Я тоже надеюсь, - согласилась Наталья Сергеевна. - Странно только, что никак спасти нельзя. Вот по телевизору показывают - чего-чего только не изобретают, каких чудес уже нет. Как в сказке какой-то, а мы, глядишь, при лучине доживать будем...

- Чудеса, Сергеевна, для тех, кто заплатить может. А мы... зачем им нас-то спасать? Одно только, что Господь не оставит...

И тут как толкнул кто Наталью Сергеевну - надо же скорее домой! Всю поездку прятала, гасила страх, старалась не думать о грядущих делах, какие необходимо сделать до ночи, а теперь вот прорвалось, потянуло...

- Побегу я, Дмитриевна, извините! Ведь целый день ребяташки одни, Павел лежит, может, не кормленный... Старшего-то, Вадю, не допросишься, а сам уж давно не сообразит стакан воды принести. Побегу!

- Да-да, дорогая, бегите, и мне надо тут... - Татьяна Дмитриевна запнулась, кашлянула, а потом закончила как бы стыдящимся голосом: - Шура Громова должна сегодня новый журнал привезти... новый номер. Не видали, была она в автобусе? Рыженькая такая?

А, рыженькая, да... Это та неприятная...

- Была, - ответила Наталья Сергеевна и увидела, как вспыхнул какой-то новый, жадный огонечек в глазах подруги. Неужели и она подалась к этим свидетелям Иеговы? Спрашивать неудобно и боязно. Да и что? Каждый свободен выбирать, хуже, наверное, вот так, как сама она, Наталья Сергеевна, ни в какие силы такие не верить. Может, потому так и идет жизнь, точно под откос, и - никаких зацепок...

Прощаются, как всегда, тепло, ободря друг друга:

- Все хорошо будет, Сергеевна, не отчаивайтесь!

- Надеюсь, увидим еще светлые дни. Еще порадуемся, Татьяна Дмитриевна! Заходите к нам, не забывайте.

С центральной улицы сворачивает в малоприметный переулочек, идет меж двух рядов высоченной, сочной крапивы, лучше любого забора защищающей огорода от пакостников. Сейчас переулочек кончится, будет Садовая улица, пыльная, кривая, короткая, совсем непохожая на свое название. Наталья Сергеевна повернет направо, и третий дом по левую руку будет ее. Изломанная, полусухая черемуха в палисаднике, окрашенные зеленой краской ворота, скамейка возле калитки. Перед калиткой, конечно, гуляют выбравшиеся из ограды курицы. Их пятнадцать вместе с петухом быть должно, если какую уже алкаши не утащили или собака не задавила... Наталья Сергеевна загонит кур, переложит, подмоет, оботрет мужа, накормит ребятишек, потом надо огурцы полить (остальное уж завтра), запарит дробленки свинье, может, помидоры подвяжет, какие совсем повалились; уложит ребятишек спать, приготовит еды на завтра (бараньи ребрышки с картошкой потушит), заштопает Ваде футболку - обязательно! - другой чистой нет. И надо бы пораньше спать лечь сегодня. Устала.

Что-то заставило поднять голову. По светло-синему, чистому небу серебристой капсулкой ползет самолет. Медленно, но упорно. За ним остается густая белая полоса; постепенно она расплывается, и небо теряет свою чистоту, становится затуманенным, низким каким-то...

Но, может быть, сложится вечер совсем не так. Может - тьфу, тьфу, тьфу - случилось страшное. Или с мужем, или с ребятишками, или... Нет, не надо гадать, а то... не надо. Сейчас дойдет и сама все увидит. Дойти бы только...

Читаем, анализируем, рецензируем

1. Напишите вступление к рецензии на рассказ Р. Сенчина «В обратную сторону». В нем вы можете определить общее впечатление, произведенное на вас этим произведением.
2. Рассказ Р. Сенчина назван «В обратную сторону». Когда и почему героям приходится идти в обратную сторону? Как вы думаете, только ли о частной человеческой жизни говорит писатель?
3. «На героиню рушатся несчастья и угрозы со всех сторон. И нет никакого спасения», — пишет один из критиков о жизни Натальи Сергеевны. Согласны ли вы с такой позицией?
4. Выскажите свое отношение к репликам различных критиков о писательской манере Р. Сенчина:

- «автор не вторгается в повествование»:

- «энергичность и скупость слога»;
- «объективность и даже натурализм»;
- «иллюзия документальной точности в передаче событий»;
- «нет никаких особенных событий»;
- «обилие кратких диалогов»;
- «вопросы без ответов, как всегда, у Р. Сенчина»;
- «неожиданно просверкивающая сквозь плоскость обыденности глубина».

«В обратную сторону» называют «редким рассказом», где описанию современной деревни — веришь. Что бы вы добавили к сказанному?

5. Р. Сенчина считают «вторым Хургиным». Согласны ли вы с таким определением? Каких людей эти писатели делают своими героями? Каков их социальный статус? О каком периоде их жизни говорится в произведении? Близка ли позиция авторов в изображении реальной жизни?

Дополнительные вопросы

1. Почему Р. Сенчина причисляют к литературному направлению, получившему название «новый реализм» (или «неореализм»)? Прочитайте справку о неореализме в [Справочнике понятий и терминов](#). Сопоставьте рассказы Р. Сенчина и В. Пелевина «Жизнь и приключения сарая Номер XII». Определите творческие методы писателей.
2. Сравните рассказ Р. Сенчина с произведением М. Шолохова «Судьба человека». Как мотив дороги перекликается с мотивом испытания в этих произведениях?
3. О прозе Р. Сенчина существуют различные точки зрения. Одни критики (И. Роднянская и М. Кучерская) положительно отзываются о его произведениях, считая, что они «успешно воздействуют на читательскую душу», хвалят за «углубленность в “плоский” житейский материал, когда под верхним утопанным слоем открывается неожиданное пространство» (И. Роднянская). Другие (как, например, А. Агеев), напротив, видят в произведениях Сенчина «чернуху второго поколения». Вы можете познакомиться с рецензиями разных литературных критиков, размещенными в сети Интернет. Определите свое отношение к их позициям.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

СБОРНИКИ ПРОЗЫ

1. Проза новой России: В 4 т. — М.: Вагриус, 2003.
2. Проза «Резонанс». Антология рассказов молодых писателей России (Серия «Россия Молодая»). М.: ИТРК, 2002.
3. Пролог: Сборник прозы, поэзии, критики и публицистики. — М.: Вагриус, 2003.
4. Современная русская проза. М.: Захаров, 2003.

КНИГИ О СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1. Белокурова С. П., Друговейко С. В. Русская литература. Конец XX века. — СПб.: Паритет, 2001.
2. Иванова Н. Ностальгическое. Собрание наблюдений. — М., 2002.
3. Иванова Н. Скрытый сюжет. Русская литература на переходе через век. — СПб., 2003.
4. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950—1990 годы: Учебное пособие. В 2 т. — М.: Издательский центр Академия, 2003.
5. Немзер А. Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е. М., 1998.
6. Русские писатели 20 века: Биографический словарь. Научное издательство «Большая российская энциклопедия», М., 2000.
7. Чупринин С. Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник. В 2 т. М.: «Рипол классик»: СПб., ЗАО «Пропаганда», 2003.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ САЙТЫ

1. Интернет-журнал молодых писателей России «Пролог» (<http://ijp.ru/>).
2. Вавилон. Современная русская литература (<http://www.vavilon.ru>).
3. Современная русская литература с Вячеславом Курицыным (<http://old.guelman.ru/slava/>).

СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ

Абсурд — бессмыслица, нелепость. Термин интеллектуальной традиции обозначающий нелепость феномена или явления.

Аллегория — иносказание. Аллегорическими называют образы, в которых отвлеченные понятия или признаки действительности выражены через конкретные предметы или явления.

Аллюзия — тонкий намек, шутка.

Архетип — 1) прообраз, прототип; 2) основа связи образов, переходящих из поколения в поколение; совокупность универсальных форм человеческого воображения.

Бестселлер — книга, пользующаяся большим спросом.

Бытие - философская категория, обозначающая реальность, существующую объективно, вне и независимо от сознания.

«**Деревенская проза**» - в 60-70-е годы XX века такие писатели как В. Астафьев, В. Белов, С. Залыгин, Е. Носов, В. Распутин, В. Шукшин и др. возвратили в литературу темы русского крестьянина, природы и мотив памяти. Они были выходцами из деревни, и деревенская жизнь стала материалом для их творчества. Появился термин «деревенщики».

Житийный рассказ — рассказ-судьба, рассказ-исповедь, эпически спокойное повествование, композиционными признаками которого являются: протяженный во времени и пространстве сюжет, мотив дороги и мотив испытания, случайности и судьбы.

Житие — это жанр древнерусской литературы, повествование о жизни которое ведется от рождения. XI веком датируются первые русские жития (князей Бориса и Глеба и др.). Первые авторы - духовные лица, которые записывали легенды о святых и адресовали широкому кругу читателей. В XVII веке появляется в большей степени реальное писание «Житие протопопа Аввакума». В житийных произведениях формировался национальный нравственный идеал.

Житье (разг.) - в одном из значений обитание, проживание; в другом — существование.

Концепт - идея, присоединенная к такой реальности, которой она не может соответствовать, и вызывающая этой несообразностью отчуждающий, иронический или гротескный эффект (по М. Эпштейну)

Кредо - убеждения, взгляды, принципы.

Кульминация (верх, вершина) - точка наивысшего развития чего-нибудь "напряженный момент, предвещающий развязку действия в художественном произведении.

Мейнстрим — основное направление.

Неореализм (новый реализм) - творческий метод, который опирается на традиции и в то же время может использовать достижения других творческих методов, сочетая в себе реальность и фантазмагорию.

Новелла - разновидность рассказа с остро развивающимся сюжетом и неожиданной концовкой.

Новый сентиментализм (неосентиментализм) - литературное течение, которое возвращает, актуализирует память культурных архетипов.

Номинация (от лат. nominatio) - категория произведений, выдвинутых на соискание одной из премий в рамках творческого конкурса, фестиваля и т. п.

Non/fiction — 1) мемуары, письма, дневники, воспоминания; 2) название традиционной книжной ярмарки.

Постмодернизм — философско-культурологическое течение, особое умонастроение. Постмодернизм возник во Франции в 60-е годы XX века в атмосфере сопротивления интеллектуалов тотальному наступлению массовой культуры на сознание человека. В России, когда рухнул марксизм как идеология, обеспечивающая разумный подход к жизни, ушло рациональное объяснение и наступило осознание иррациональности. Постмодернизм сосредоточил внимание на феномене раздробленности, расколотости сознания индивида. Постмодернизм не дает советов, а описывает состояние сознания. Искусство постмодернизма иронично, саркастично, гротескно (по И. П. Ильину).

Постреализм (или метареализм) — литературное направление, попытка восстановить целостность, приобщить вещь к смыслу, идею — к реальности; поиск истины, подлинных ценностей, обращение к вечным темам или вечным прообразам современных тем, насыщение архетипами: любовь, смерть, слово, свет, земля, ветер, ночь. Материалом служат история, природа, высокая культура (по М. Эпштейну).

Притча — жанр литературы, имеющий аллегорично-дидактический смысл, в нем наблюдается двучленность структуры (текст и пояснение). Притча требует от читателя разгалки, сопоставления, сопереживания, интеллектуально-нравственной работы. Притча соединяет вечное и временное, абстрактное и конкретное, служит способом авторского обобщения.

Ремейк - переделка известных сюжетов на современный лад.

Ретроспекция (от лат. retro - обратно, назад, spectare - смотреть) - обращенность, взгляд в прошлое.

Сказовая манера повествования - отчетливо передает социально-психологические, интеллектуальные и речевые особенности героев.

Соц-арт - вариант концептуализма, апеллирующий к языку ближайшей — советской — культуры.

Фантасмагория (от греч. phantasma — призрак и agoгею - говорю) — нечто нереальное, причудливое видение, необыкновенное сочетание обстоятельств, событий, иллюзий.

Фэнтези — литературный жанр, который родился в XX веке, его основатель — Дж. Р. Р. Толкиен («Властелин колец»). Это не фантастика, а фантазийность, способ познать мир возможный, параллельный нашему сознанию.

Шорт-лист — окончательный список отобранных и наиболее вероятных кандидатов или работ на главный приз.